РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

3

МАЙ-ИЮНЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Е.А. Гришина (Москва). Указания рукой как система (по данным Мультимедийного русского корпуса) 3

В.В. Глебкин (Москва). Метафора механизма и теория концептуальной метафоры Лакоффа – Джонсона 51

Д.В. Савова (София). Предикативная структура высказывания в болгарском языке 69

К.В. Бабаев (Москва). Реконструкция личных местоимений в языках гур 91

И.А. Бахмутова (Санкт-Петербург). Лингвистические и социолингвистические особенности литературного немецкого языка российских немцев-меннонитов Омской области 122

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Н.Н. Запольская (Москва). *E. Bláhová* (red.). Řecko-staroslověnský index. Index verborum graeco-palacoslovenicus. Praha: Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, 2008–2010 145

М.А. Косогорова (Москва). *Ch. Seydou.* L'épopée peule de Boûbou Ardo Galo: Héros et rebelle. Paris: Éditions Karthala, 2010 147

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркина (Москва). Международный этимологический симпозиум. Брно 2011. Теория и практика в славянском диахроническом языкознании 150

О.А. Старовойтова (Санкт-Петербург). IV Всероссийская конференция «Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе» 153

Р.В. Гайдамашко, А.А. Малышев (Санкт-Петербург). Академическая школа-семинар для молодых ученых «Современная русская лексикография» 158

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.И. Подлесская, В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *А.С. Кулева, М.М. Маковский, О.А. Шарыкина, М.В. Шкапа*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© Российская академия наук, 2012 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2012 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2012

© 2012 г. Е.А. ГРИШИНА

УКАЗАНИЯ РУКОЙ КАК СИСТЕМА (по данным Мультимедийного русского корпуса)*

В статье на материале Мультимедийного русского корпуса (МУРКО) описывается система русских указательных жестов. Основное внимание уделяется описанию базовых указательных жестов – указанию пальцем и рукой (открытой ладонью). На основе статистической обработки корпусного материала определяются основные лингвистические (референциальные и прагматические) факторы, влияющие на выбор жеста говорящим.

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование технических средств фиксации и анализа устной речи, а также бурное развитие корпусной лингвистики в начале XXI в. привели к тому, что исследование невербальных компонентов устной речи, прежде всего жестикуляции, вышло на совершенно новый уровень, ранее недостижимый. С одной стороны, удешевление звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, кратное повышение быстродействия и объемов памяти вычислительной техники и развитие программного обеспечения, предназначенного для анализа устной речи с самых разных точек зрения (это, прежде всего, программы Speech Analyzer, ELAN, ANVIL, PRAAT), теперь позволяют проводить соответствующие исследования не только большим коллективам ученых при поддержке государства, но и маленьким группам и даже отдельным ученым на средства фондов, университетов и научных институтов. Это способствует активному вовлечению в изучение устной речи большого количества исследователей, в том числе и молодых. С другой стороны, развитие корпусной лингвистики, прежде всего массовое создание мультимедийных корпусов, позволяет исследовать невербальные компоненты устной речи на систематической основе, т.е. переходить от отдельных, сколь угодно интересных и многообещающих, но спорадических наблюдений над жестикуляцией, к ее системному изучению.

В России, к сожалению, изучение жестикуляции до сих пор расценивается как область, интересная скорее для психологов, а не для лингвистов. Как следствие, при изучении устной речи сопровождающий ее жестикуляционный ряд просто выводится из рассмотрения и практически не воспринимается как один из источников сведений о том, какие именно лингвистические процессы и события происходят в данном отрезке устного высказывания. Современная русская жестикуляционная лингвистика исчерпывается блестящими, но одинокими работами Г.Е. Крейдлина (см. [Григорьева и др. 2001; Крейдлин 2002; 2005]), в то время как в ряде западных университетов изучение базовых основ жестикуляционного поведения человека входит в обязательный курс для студентов-филологов, проводятся регулярные летние школы по жестикуляции, в результате лингвист уже в самом начале профессиональной карьеры приучен использовать жестикуляционные данные и обладает базовыми навыками чтения жестикуляционного

* Исследование проведено при поддержке программы Президиума РАН «Корпусная лингвистика», программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей», а также грантов РФФИ № 10-06-00151 и № 11-06-00030.

ряда. В России же те или иные жестикуляционные данные все еще рассматриваются как экзотический побочный продукт изучения устной речи, притом что на самом деле сопровождающие речь жесты являются надежнейшим средством анализа семантических, синтаксических, грамматических характеристик высказывания, – не менее, а иногда и более наглядным, доступным и доказательным, чем, например, фонетические или интонационные данные.

Для того чтобы как-то развернуть сложившуюся ситуацию в нужное русло, в рамках Национального корпуса русского языка [НКРЯ] был создан Мультимедийный русский корпус (МУРКО; см. работу [Гришина 2009], а также инструкцию на странице МУРКО). МУРКО построен на принципах выравнивания словесного ряда и соответствующего ему аудио- и видеоряда. Таким образом, пользователь может найти в МУРКО любое интересующее его слово или конструкцию и прослушать / просмотреть, как именно найденный элемент произносится (с фонетической и интонационной точки зрения) и какой жестикуляционный ряд его сопровождает. МУРКО в основном состоит из кинематографического материала, но включает также и «естественную» русскую речь[1]. В этой статье мы будем использовать данные, полученные из МУРКО. Статья ставит перед собой задачу не только исследовать русскую дейктическую жестикуляцию, но и привлечь внимание лингвистов к Мультимедийному русскому корпусу как к новому источнику в высшей степени полезных лингвистических данных. На момент написания статьи МУРКО включал 261 фильм (около 100 тысяч видеоклипов), что позволило автору анализировать материал не только с содержательной, но и со статистической точки зрения. Последнее дает нам возможность формулировать некоторые общие закономерности и правила в использовании указательных жестов.

Статья строится следующим образом. В разделе 1 «Общие замечания» приводятся данные об указательных жестах, объясняются основные термины и понятия, излагается методика рассмотрения материала и ставятся конкретные задачи исследования. В разделе 2 «Указания пальцем и открытой ладонью» рассматриваются основные референциальные, прагматические и социологические факторы, влияющие на конфигурацию указывающей руки, в разделе 3 «Компоненты значения указательного жеста» и в Заключении подводятся итоги исследования.

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1.1. Типы указательных жестов и типы указаний

Прототипическим **указательным жестом** традиционно считается коммуникативное (т. е. предназначенное для передачи информации) движение того или иного органа человеческого тела, обозначающее некоторый вектор, исходной точкой которого является точка местонахождения говорящего[2] (субъекта указания); этот вектор обозначает направление к объекту указания, точку его расположения и сам объект указания; указательный жест производится в интересах слушающего, т. е. направлен на привлечение его внимания; см. [Kita 2003: 1]. Классическими указательными жестами являются указания рукой (пальцем, открытой ладонью (open hand)); кроме того, для указания человек использует движения глаз и движения головы (указания подбородком, боковым кивком головы, поворотом головы; в ряде культур зафиксированы указания губами; ср.,

[1] Мы не намерены в этой статье обсуждать достоверность кинематографической жестикуляции и ее соотношение с реальной повседневной жестикуляцией. Поскольку все наши работы, выполненные на материале МУРКО до настоящего момента, показывали вполне разумные статистические распределения и смысловые закономерности в кинематографическом жестикуляционном поведении, у нас нет оснований сомневаться в достоверности полученных данных: с нашей точки зрения, актерская жестикуляция отличается от повседневной не своим составом и закономерностями, а большей артикуляционной прозрачностью и меньшей редукцией жестового поведения.

[2] В дальнейшем под говорящим мы будем иметь в виду лицо, осуществляющее жест, даже в том случае, если жест не сопровождается звучащей речью.

в частности [Enfield 2001]). По нашим данным, в русской системе указательных жестов движения головы и глаз передают гораздо более обобщенную информацию, чем движения рук, а выбор того или иного движения головы диктуется, по-видимому, существенно более элементарной системой правил, чем выбор того или иного движения и конфигурации руки. Поэтому предметом рассмотрения в данной работе будут только ручные указательные жесты.

Ввиду прозрачности семантики и бросающейся в глаза коммуникативной однозначности указательные жесты очень неплохо изучены с филогенетической (противопоставление человек – примат[3]), онтогенетической (противопоставление взрослый – ребенок[4]) и межкультурной (противопоставление европейская культура – иные культуры[5]) точек зрения. Во всяком случае, если остальные жесты, сопровождающие речь, только становятся предметом систематического изучения и описания[6], то инвентарь и основные функции указательных жестов, казалось бы, уже хорошо известны. Корпусной подход к изучению указательных жестов показал, однако, что выбор между указанием пальцем и открытой ладонью, с одной стороны, и выбор ориентации ладони в указательном жесте, с другой, по-видимому, далеко не случайны и тесно связаны с референциальными и прагматическими характеристиками сопровождающей указательный жест речи. Чрезвычайно показательна в этом отношении прорывная работа [Kendon, Versante 2003], в которой были проанализированы закономерности использования разных видов ручных указательных жестов в неаполитанском диалекте итальянского языка. Это исследование показало, во-первых, что корпусной подход к исследованию жестов, в том числе и указательных, позволяет ставить и решать проблемы, которые раньше можно было исследовать лишь с помощью инсайта (самоотождествления с жестикулирующим субъектом), а во-вторых, что анализ дейктической жестикуляции (как, впрочем, и анализ жестикуляции в целом) представляет собой не только и не столько психологическую, сколько лингвистическую проблему.

Имея в виду вышесказанное, мы предполагаем в данной статье рассмотреть на корпусном материале инвентарь русских ручных указательных жестов и показать, что выбор того или иного варианта ручного указания диктуется в значительной степени лингвистическими причинами.

В статье 1996 г., которая была опубликована в 2003 г. [Clark 2003], Герберт Кларк разделил указательные жесты на две большие группы: ‘направление’ (directing-on) и ‘размещение’ (placing-for). Жесты первого типа стандартно считаются прототипическими (иногда единственными) типами указания: говорящий, совершая акт directing-on, привлекает внимание слушающего к объекту указания. Однако, пишет Г. Кларк, когда покупатель кладет на прилавок магазина выбранные им покупки, он не указывает на них продавцу, но при этом продавец прекрасно понимает, что именно эти предметы покупатель собирается купить. Таким образом, и здесь совершается акт указания, однако субъект указания не указывает при этом на объекты в обычном смысле, а р а с п о л а г а е т их в специально отведенном для покупок месте. Когда некто совершает указательный жест типа directing-on, он создает объект указания, указывая на место его расположения. Когда некто совершает указательный жест типа placing-for, он пользуется тем,

---

[3] См. [Povinelli, Davis 1994; Povinelli et al. 2003] и библиографию при статьях.

[4] См. [Bates 1987; Lock et al. 1990; Butterworth 1995; Petitto 1997; Butterworth 2003; Goldin-Meadow, Butcher 2003; Masataka 2003] и библиографию при статьях.

[5] См. [Saitz, Cervenka 1972; Sherzer 1973; Kendon 1988; Haviland 1993; Ruiter, Wilkins 1998; Havil 2003] и др.

[6] См. обзор соответствующей литературы в [Гришина 2009], где с этой точки зрения были проанализированы работы, представленные на международной конференции по электронным лингвистическим ресурсам LREC’2008. Как показало время, роль мультимедийных корпусов в изучении устной речи и коммуникации в целом только возрастает: конференция LREC’2010, помимо основной программы, связанной с мультимедийными корпусами, включала два специальных научных семинара на эту тему, а что касается конференции LREC’2012, то мультимедийные лингвистические ресурсы и вовсе объявлены ее основной темой; см. [LREC 2008; 2010; 2012].

что окружающее пространство является анизоморфным и анизотропным, т. е. размечено с культурной и гносеологической точки зрения, и осуществляет указание, размещая соответствующий объект в месте, предназначенном для указания на объекты данного класса [Clark 2003: 249]. Таким образом, тип placing-for использует в качестве средства привлечения внимания специально предназначенные для указаний топосы. Этот тип указания выводит нас из области лингвистики в область семиотики цивилизационного пространства[7], и, как таковой, далее нами учитываться не будет.

Существует, однако, еще один тип указательных жестов, который, насколько нам известно, не рассматривается в литературе как самостоятельный, однако при анализе стандартных указательных жестов типа directing-on все время в явном или неявном виде учитывается. Условимся называть этот тип указательный жестов к а с а н и я м и[8]. Несколько примеров:

(1)

Речевой ряд	*А про э т о*	*я сообщу куда следует.*
Жестовый ряд	постукивает пальцем по перевязанной руке собеседника	

Л. Гайдай и др. Бриллиантовая рука, 1968

(2)

Речевой ряд	*Э т о т элегантный движитель*	*дорог тем, что он самый экономичный во всем моем производстве.*
Жестовый ряд	кладет ладонь на модель паровоза	

А. Сурикова и др. Чокнутые, 1991

(3)

Речевой ряд	*Есть холодное пиво.*	*Устроит?*
Жестовый ряд	поднимает кружку с пивом	

А. Сурикова и др. Чокнутые, 1991

(4)

Речевой ряд	*– Принес?*	*– В о т.*
Жестовый ряд		показывает конфету

А. Рогожкин. Операция «С Новым Годом!», 1996

Примеры (1)–(4) иллюстрируют разные типы касаний: постукивание пальцем (1), касание ладонью (2), демонстрацию (3), предъявление (4). Все эти касания выступают как обычные указательные жесты типа directing-on – они привлекают внимание адресата к объекту указания точно так же, как и классические указательные жесты. Принципиальное различие между обычными указательными жестами и касаниями заключается в том, что при касаниях рука субъекта указания имеет в ы н у ж д е н н у ю конфигурацию, а именно зависит от размера и формы объекта указания, а также от расположения объекта указания относительно субъекта указания. Что касается классических указательных жестов, то выбор конфигурации здесь свободен (под свободой выбора понимается свобода от диктата внешних материальных обстоятельств, притом что лингвистическая и, шире, семиотическая свобода выбора конфигурации указующей руки, как мы надеемся показать ниже, весьма ограничена).

---

[7] Аналогией этому типу указаний может послужить идея Блаженного Августина о том, что «Бог говорит языком вещей; вещи составляют ‘второй язык’» (цит. по [Махов 2011: 51]).

[8] Единственная известная нам работа, классифицирующая касания, – это статья [Poggi et al. 2004]. В ней, однако, рассматриваются типы касаний одушевленного лица, но не затрагиваются типы касаний неодушевленных предметов.

Есть основания полагать, что классические указательные жесты и касания связаны между собой, так сказать, «этимологически», т. е. что первые произошли от вторых: в работе [Masataka 2003] продемонстрировано, что указание указательным пальцем восходит к желанию ребенка прикоснуться к заинтересовавшему его объекту, ткнуть его пальцем или поскрести его, и лишь в тот момент, когда у ребенка возникает потребность поделиться с матерью эмоциями, вызванными заинтересовавшим его предметом, вытянутый вперед указательный палец превращается в указательный жест. Но с синхронической точки зрения в жестовой системе (все сказанное касается только русской жестовой системы, хотя автор полагает, что это своего рода универсалия) классические указательные жесты и касания сосуществуют. Это сосуществование приводит к указательным ситуациям, которые проиллюстрированы в примерах (5)–(6), где на один и тот же объект указывает и классическое указание, и касание, что, собственно, и демонстрирует взаимную независимость этих двух систем с синхронической точки зрения:

(5)

Речевой ряд	*– Пионерский сбор? А на какую же тему?*	*– Вот.*	*Карбюратор изучаем.*
Жестовый ряд		поднимает правую руку с карбюратором (демонстрация)	левая рука делает указательный жест на карбюратор открытой ладонью вверх

А. Митта и др. Друг мой, Колька!, 1961

(6)

Речевой ряд	*Это вот*	*пароходный дилижанец.*	*Или сухопутный пароход.*
Жестовый ряд	кладет левую руку на модель паровоза (касание)	правая рука деласт указательный жест на модель паровоза открытой косой ладонью	левая рука продолжаст лежать на модели паровоза, правая рука повторяет предыдущий указательный жест

Я. Лапшин и др. Приваловские миллионы, 1972

Таким образом, система жестов (если оставить в стороне жесты типа placing-for) состоит из двух самостоятельных, но этимологически связанных подсистем – конкретной (касания) и абстрактной (классические указательные жесты)[9].

1.2. Касание как основа метафорического переноса

Абстракция, лежащая в основе классического указательного жеста, основана на метафоре, которая имеет своим базисом тот или иной тип касания.

1.2.1. 'Ладонь вверх'[10]

Как было показано в работе [Müller 2004] (написанной существенно раньше даты публикации) и подтверждено работами [Kendon, Versante 2003; Kendon 2004], указательные жесты открытой ладонью, развернутой вверх, основаны на одной и той же

[9] В современной литературе по жестикуляции принято разделение на конкретные и абстрактные указательные жесты, восходящее к работе [McNeill et al. 1993], однако они различаются по иному принципу: конкретными считаются те, которые указывают на материальный объект, абстрактными – те, которые указывают на абстрактное понятие. Как ясно из предшествующего изложения, с нашей точки зрения, оба этих типа являются абстрактными указательными жестами, а в качестве конкретных указательных жестов мы рассматриваем только касания.

[10] Далее рассматриваются только жесты, не содержащие компонента 'многократное движение в запястье'.

метафоре, связанной с касанием: такая ладонь символизирует руку, в которой может что-то лежать. Далее эта метафора, в зависимости от лингвистического и ситуационного контекста, может развиваться в разных направлениях. Чрезвычайно важным для данного семейства жестов, как и для семейств, перечисленных ниже, является следующий параметр: производится жест внутри коммуникативного пространства (т. е. в зоне жестикуляции между говорящим и слушающим) или направлен вне коммуникативной зоны.

По данному критерию семейство жестов 'ладонь вверх' делится на три крупных подсемейства.

I. Жестикуляция производится внутри зоны коммуникации, т.е. жест направлен на собеседника.

А. Сценарий 'давать'.

1) Если в ладони находится материальный объект, то имеем дело с дожестовым утилитарным движением 'давать кому-л. что-л.'.
2) Если предмет в ладони нематериален, то имеем дело с метафорой 'в ладони как будто что-то находится' и, соответственно, с жестом.
   2.1) Жест изображает сам процесс 'давать', т. е. говорящий изображает факт передачи чего-либо кому-либо.
   2.2) Говорящий передает слушающему информацию (жесты со значением 'аргумент', 'назидание' – аргумент с элементом поучения):

(7)

Речевой ряд	*– Ты что, с ума сошел?*	*– Но она меня куда-то зовет, что-то случилось.*
Жестовый ряд		ладонь, развернутая вверх, делает движение в сторону собесдника

Л. Гайдай и др. Бриллиантовая рука, 1968

Б. Сценарий 'просить'.

1) Ладонь пуста, говорящий просит в нее положить что-то материальное (жесты со значением 'просьба', 'требование').
2) Ладонь пуста, говорящий как бы просит в нее положить что-то нематериальное:

– жесты со значением 'вопрос' (просьба дать информацию, пример (8))

(8)

Речевой ряд	*-- Сереж! – А?*	*– Ну чего ж теперь делать-то?*
Жестовый ряд		комбинированная ладонь[11] протянута к собесднику

А. Митта и др. Друг мой, Колька!, 1961

– 'побуждение' (просьба совершить действие, пример (9))

(9)

Речевой ряд	*Виноват человек,*	*так скажите в чем!*
Жестовый ряд		ладонь, развернутая вверх, делает быстрое движение к собеседнику

А. Митта и др. Друг мой, Колька!, 1961

– 'призыв к порядку' (просьба прекратить действие, пример (10))

(10)

Речевой ряд	*На голову не лей!*
Жестовый ряд	ладонь, развернутая вверх, движется к собеседнику

А. Сурикова и др. Чокнутые, 1991

[11] См. ниже, раздел 1.5, рис. 14.

– ‘привлечение внимания’ (просьба обратить внимание, пример (11))

(11)

Речевой ряд	*– В доставке помощь не требуется?*	*– Товарищ! Товарищ!*	*Не берите случайных людей! Наш магазин вам доставит, установит.*
Жестовый ряд		ладонь, развернутая вверх, протянута к собеседнику	

Л. Кулиджанов, Н. Фигуровский. Когда деревья были большими, 1961

– ‘критические замечания’ или ‘возмущение’ (просьба дать объяснение чему-либо дурному, пример (12))

(12)

Речевой ряд	*– Ты что, с ума сошел?*	*– Но она меня куда-то зовет, что-то случилось.*
Жестовый ряд	ладонь, развернутая вверх, делает движение в сторону собеседника	

Л. Гайдай и др. Бриллиантовая рука, 1968

II. Жестикуляция производится посредством вывода рук / руки из зоны коммуникации.

В. Сценарий ‘не иметь’.

Открытая развернутая кверху ладонь в этом случае сочетается с выводом руки / рук из коммуникативного пространства и обозначает отсутствие у говорящего каких бы то ни было средств и инструментов для того, чтобы справиться с ситуацией (жест ‘развести руками’, ‘отвести руку в сторону’ с общим значением ‘беспомощность’).

(13)

Речевой ряд	*Да разве в этом государстве возможно что-нибудь?*
Жестовый ряд	говорящий разводит руки в стороны, ладони ориентированы вверх

А. Сурикова и др. Чокнутые, 1991

III. Жест направлен вне зоны коммуникации.

Указательный жест, с помощью которого говорящий дает возможность слушающему увидеть некоторый объект, как бы расположив его в своей ладони.

1.2.2. ‘Ладонь вниз’

Значение жестов, включающих в себя в качестве элемента ладонь, обращенную вниз, возводится к касанию ‘положить руку на кого-л. / что-л.’

I. Жест направлен вне зоны коммуникации.

В случае если ладонь метафорически кладется на некоторый неодушевленный объект, по определению находящийся вне зоны коммуникации, ладонь, обращенная вниз, задает некоторую плоскость, расположенную под ладонью; см. примеры (14)–(15):

(14)

Речевой ряд	*Мы льстим себя надеждой, что если к этому наброску именно вы приложите хоть частицу своего тонкого ума*	*и высокого*	*таланта.*
Жестовый ряд		левая рука поднимается вверх, ладонь ориентирована вниз; значение ‘задать уровень’	

А. Сурикова и др. Чокнутые, 1991

(15)

Речевой ряд	*Местом операции под кодовым названием «Дичь»*
Жестовый ряд	правая рука делает горизонтальный круг над планом, лежащим на столе; ладонь обращена вниз; значение 'указать на плоский объект[12], расположенный под жестикулирующей рукой'

Л. Гайдай и др. Бриллиантовая рука, 1968

II. Жест направлен на собеседника.

В случае если ладонь метафорически кладется на собеседника, ладонь, обращенная вниз, передаст значение 'остановить кого-л.', 'привлечь чье-л. внимание', 'призвать к порядку', 'заставить выслушать', 'подавить чью-л. волю' и т. п. (ср. [Kendon 2004: ch. 13]), примеры (16)–(18):

(16)

Речевой ряд	*Ну-ка стой так!*	*О!*
Жестовый ряд		ладонь обращена вниз; пальцы направлены на собеседника

А. Сурикова и др. Чокнутые, 1991

(17)

Речевой ряд	*– Еще один шаг – стреляю!*	*– Стыдитесь, Родик!*
Жестовый ряд		ладонь обращена вниз; пальцы направлены на собеседника

А. Сурикова и др. Чокнутые, 1991

(18)

Речевой ряд	*Одну минуточку!*	*Мне не все ясно.*
Жестовый ряд	ладонь обращена вниз; пальцы направлены на собеседника	

А. Митта и др. Друг мой, Колька!, 1961

Очевидно, что значения жестов, включающих компонент 'ладонь вниз', связаны между собой: в обоих случаях жест метафорически восходит к касанию 'положить руку на что-л.'. Но если в случае неодушевленного объекта это приводит лишь к фиксации его верхней плоскости под нижней плоскостью ладони или к указанию на эту плоскость, то в случае одушевленного объекта предполагается, что, положив руку на собеседника, говорящий тем самым прекращает самостоятельное функционирование и движение собеседника и как бы подчиняет его своей воле, т. е. этот жест, будучи адресован собеседнику, имеет иллокутивную силу императива; в случае же, если он обращен на неодушевленный объект, жест выполняет дейктическую функцию.

1.2.3. 'Ладонь вертикально'

Жестикуляционный компонент 'ладонь вертикально' характеризуется несамостоятельностью. Он либо совпадает по значению с жестами семейства 'ладонь вверх' (осуществляя их, так сказать, в редуцированном, «недопровернутом» вверх варианте), либо для выражения смысла должен сочетаться с каким-либо движением (например, движением кисти, которое, напомним, мы в этой статье не рассматриваем, – жест 'махнуть рукой', 'отмахнуться' в разных значениях; либо определенным движением в пространстве, например, движением снизу вверх, которое задает жест 'вскинуть руку' в разных значениях). Но раз для передачи смысла ориентация ладони должна обязательно сочетаться с каким-либо движением, то в качестве смыслообразующего компонента жеста

[12] В значительном количестве случаев компонент 'ладонь вниз' в аналогичных употреблениях сопровождается горизонтальным движением ладони, которое задает размер указываемой плоскости, однако такое движение не является обязательным.

следует рассматривать именно движение, а не ориентацию ладони – последняя в этом случае выполняет служебные, подчиненные функции. Активным образом ориентация ладони 'вертикально' используется в указательных жестах ('показать рукой / пальцем'), а также в разного рода изобразительных жестах (например, в жестах, включающих в себя рубящее движение вертикальной ладонью сверху вниз, или в жестах, где вертикально оринтированные ладони, обращенные друг к другу, изображают стенки контейнера, размер чего-либо и т. п.). Таким образом, вертикальная ориентация ладони в указательных жестах, судя по нашим данным, в отличие от ориентации ладони вверх и вниз, не опирается на какой-то четкий класс неуказательных жестов, и это, как покажет дальнейшее изложение, будет иметь существенное значение для описания системы русских указательных жестов.

1.2.4. 'Указательный палец'[13]

Семейство жестов 'указательный палец' возводится к касанию, которое можно назвать 'фиксацией точки в континууме': прикосновение к объекту кончиком указательного пальца, во-первых, приравнивает этот объект, вне зависимости от его размеров, к точке, а во-вторых, вычленяет этот объект из какого-либо континуума (пространственного, временного, предметного, событийного, смыслового). При этом, однако, 'фиксация точки в континууме' может происходить двумя способами: а) нейтральным, который не включает в себя активного движения указательного пальца вперед, и б) агрессивным, когда палец фиксирует некоторую точку в континууме, не касаясь, а пронзая ее.

Как и семейства жестов 'ладонь вверх / вниз', семейство жестов 'указательный палец' делится на две большие группы в зависимости от того, куда указательный палец направлен.

I. Жест направлен вне зоны коммуникации.

В случае если указательный палец направлен вне зоны коммуникации, он выполняет функции классического указательного жеста, а также имеет значения, которые в конечном счете восходят к указанию:

(19)

Речевой ряд	*– Сегодня ваша жизнь*	*как и весь наш проект, уже принадлежат... – Российской империи!*
Жестовый ряд	указательный палец поднят вверх в значении 'назидание', как бы указывая на нечто объективно важное[14]	

А. Сурикова и др. Чокнутые, 1991

Аналогичную этимологию имеет этот же жест в значении 'призыв к порядку' (указание на то, что 'я сейчас сказал тебе нечто важное, прислушайся'):

---

[13] Как и в случае ориентации ладони, мы рассматриваем семейство жестов 'указательный палец', исключая из него жесты, сочетающие указание пальцем с движением (например, 'качать пальцем' в значении угрозы, запрета или назидания). Однако из рассмотрения выводятся только такие жесты указательным пальцем, где двигается сам палец. Если палец движется вместе с кистью, то мы считаем, что относительно кисти палец остается неподвижным, и рассматриваем такие жесты как принадлежащие к семейству 'указательный палец'. Тем самым, в случае если палец неподвижен относительно кисти, в наше рассмотрение включаются и так называемые характеризующие жесты (см. [Крейдлин 2007: 322]), в которых дейктический компонент значения принадлежит пальцу, а движения кисти передают некоторые дополнительные характеристики объекта указания, например, траекторию его движения (см. об этом также [Kendon, Versante 2003: 112–113]).

[14] Объективно важное обычно расположено вверху, ср. [Calbris 2008].

(20)

Речевой ряд	*– Федя! Дичь! – Дичь!*	*– Тсс!*
Жестовый ряд		говорящий поднимаст палец вверх, призывая слушающего к порядку

Л. Гайдай и др. Бриллиантовая рука, 1968

II. Жест направлен на собеседника.

В случае если указательный палец направлен на собесседника, важным является разделение на нейтральную и агрессивную фиксацию объекта. В случае **нейтральной** фиксации указание пальцем, направленное на собеседника, выполняет референциальную привязку речи к данному слушающему:

(21)

Речевой ряд	*А мы*	*хорошо с вами сделали,*	*что выбрали именно эту арию.*
Жестовый ряд		указательный палец направлен на слушающего	

А. Ивановский и др. Антон Иванович ссрдится, 1941

В таких случаях, как и в случаях, когда говорящий указывает на себя, указательная функция жеста отходит на второй план, а на первый план выходят иные свойства указательного жеста (коммуникативные и прагматические[15]).

В случае **агрессивной** фиксации (т. е. в случае сочетания указания пальцем с активным движением этого пальца в сторону собеседника) этот жест «сопутствуст агрессивным речевым актам, таким как обвинение, упрек, попрек, то есть актам, в которых адресат рассматривается как виновник в наступлении негативных событий. Кроме того, жест пальцем указывает на лицо или объект в бесцеремонных императивных актах приказа, команды, требования, в выражении модальности долженствования» [Крейдлин 2007: 325].

(22)

Речевой ряд	*Злоупотребляете спиртным, молодой человек!*	*У вас остеомаляция!*
Жестовый ряд		говорящий тычет пальцем в собеседника

А. Рогожкин. Операция «С Новым Годом!», 1996

Агрессивный жест ‘показать пальцем на собеседника’, ‘ткнуть пальцем в собеседника’ может не иметь пейоративного оттенка, однако он в любом случае сохраняет значение императивности, требования. Это, в частности, послужило основой специфической жестикуляционной фразы, сопровождающей речь. В полном варианте эта жестикуляционная фраза содержит указание пальцем на некоторый объект, находящийся вне коммуникативного пространства, которое затем сменяется указанием пальцем на собеседника (в императивном значении ‘посмотри, обрати внимание’), а затем указательный палец возвращастся обратно на исходный объект. Здесь используются оба значения указания пальцем – собственно указание и императивная иллокуция.

(23)

Речевой ряд	*Вот!*	*Признали свою*	*вину!*
Жестовый ряд	направляет указательный палец на третье лицо	переводит указательный палец на собеседника	снова указывает указательным пальцем на третье лицо
Расшифровка	фиксация объекта	‘обрати внимание’	‘на этот объект’

А. Рогожкин. Операция «С Новым Годом!», 1996

[15] Указание на говорящего выполняет не функцию привлечения внимания слушающего к говорящему, поскольку говорящий по самому своему центральному положению в акте речи уже и так находится в зоне внимания собеседника, а проясняет референтную нагрузку, коммуникативную структуру и иллокутивную силу высказывания.

(24)

Речевой ряд	[*Вытирает мороженое с лица, смеется*]	*Хороший мальчик...*
Жестовый ряд	направляет указательный палец на собеседника	переводит указательный палец на третье лицо
Расшифровка	'обрати внимание'	'на этот объект'

Л. Гайдай и др. Бриллиантовая рука, 1968

(25)

Речевой ряд	*Да он это!*	*Он! Он самый!*
Жестовый ряд	направляет указательный палец на собеседника	переводит указательный палец на третье лицо
расшифровка	'обрати внимание'	'на этот объект'

Л. Кулиджанов, Н. Фигуровский. Когда деревья были большими, 1961

В приведенных примерах указание пальцем в значении 'обрати внимание' восходит к агрессивному, императивному указанию на собеседника, а указание пальцем на объект, находящийся вне зоны коммуникации, выполняет функции классического указательного жеста.

Итак, если оставить в стороне жесты, включающие в себя компонент 'ладонь вертикально', которые, по-видимому, не имеют постоянного самостоятельного значения (если не считать изобразительного), то остальные три группы жестов образуют, согласно нашим данным, следующую систему (см. табл. 1).

Таблица 1

<table>
<tr><th>Семейство жестов</th><th colspan="2">1
Тип касания</th><th colspan="2">2
Жест направлен на собеседника</th><th>3
Жест направлен вне зоны коммуникации</th></tr>
<tr><td>ладонь вверх</td><td colspan="2">держать что-л. в руке</td><td colspan="2">сценарий 'просить' (просьба, вопрос и производные)
сценарий 'давать' (аргумент и производные)</td><td>указательный жест</td></tr>
<tr><td>ладонь вниз</td><td colspan="2">положить руку на что-л./ кого-л.</td><td colspan="2">императивный сценарий 'стоп!' (остановись!, подожди!, обрати на меня внимание! и производные)</td><td>указательный жест (на плоскость, расположенную ниже собеседника)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">указательный палец</td><td colspan="2">фиксация точки в континууме</td><td rowspan="2">референциальная привязка высказывания к собеседнику</td><td rowspan="2">пейоративный и императивный сценарий (обрати на меня внимание! и производные)</td><td rowspan="2">указательный жест</td></tr>
<tr><td>нейтральная</td><td>агрессивная</td></tr>
</table>

Основными вопросами, на которые мы попытались найти ответы в нашей статье, являются следующие.

1) Свободен ли указательный жест (столбец 3 табл. 1) от соответствующего прагматического компонента (столбец 2 табл. 1)? Точнее: в случае если жестикулирующая рука покидает зону коммуникации и показывает на нечто третье, не участвующее в данном коммуникативном акте, теряет ли указательный жест иллокутивный компонент значения, имевшийся у этого жеста в н у т р и зоны ком-

муникации? Или иллокутивный компонент постоянно сопровождает указательный жест?

2) Сохраняет ли абстрактный указательный жест (столбец 3) связь с лежащим в его основе типом касания (столбец 1)?

Мы считаем (разумеется, нисколько не настаивая на единственности нашей точки зрения), что указательный жест сохраняет соответствующий прагматический компонент и в том случае, если он направлен не на адресата, а на объект вне зоны коммуникации. Кроме того, мы полагаем, что в указательном жесте сохраняется также апелляция к соответствующему типу касания.

При этом мы хотим подчеркнуть, что на выбор той или иной конфигурации указующей руки в данном конкретном случае одновременно влияет несколько факторов, которые могут как действовать разнонаправленно, так и создавать кумулятивный эффект, накладываясь друг на друга. Именно поэтому проявиться жестикуляционные предпочтения могут только статистически: невозможно найти ситуацию (коммуникативную или лингвистическую), о которой можно точно сказать, что в ней возможен только такой указующий жест, и никакой другой. В каждой конкретной ситуации можно только высказать предположение, какой жест здесь окажется более предпочтительным.

Таким образом, общая схема, по которой будет рассматриваться русская дейктическая жестикуляция в настоящей работе, состоит

1) в выделении параметров, по которым дейктические жесты будут анализироваться (референциальные, прагматические и социологические);
2) в привлечении и статистическом анализе материала, зафиксированного по тем или иным жестам в Мультимедийном русском корпусе;
3) в высказывании гипотез, объясняющих (с нашей точки зрения) обнаруженные статистические предпочтения.

В результате в нашей статье мы предоставим читателю статистические данные и свои объяснения этих статистических данных. Разумеется, читатель вправе как перепроверить данные по корпусу, так и предложить им совершенно иные объяснения.

1.3. Жестовые лигатуры

При исчислении и описании жестикуляции принципиальным является вопрос, до какого минимального уровня может быть расчленен тот или иной жест. К сожалению, в явном виде ответ на этот вопрос дается нечасто, обычно членимость жеста и его минимальные компоненты определяются «по здравому смыслу», «на глазок». В работах круга ученых, которые группируются вокруг К. Мюллер (университет Франкфурта-на-Одере)[16], активно и вполне продуктивно используется понятие воспроизводимого (recurrent) жеста, т. е. жеста, который, не являясь эмблемой (типа жестов ‘OK’ или ‘большой палец вверх’), тем не менее регулярно в сходных условиях воспроизводится в живом общении (собственно, описанные выше жесты с компонентом ‘ладонь вверх / вниз’, ‘указательный палец’ представляют собой примеры воспроизводимых жестов).

Однако само введение понятия воспроизводимых жестов предполагает, что существуют невоспроизводимые жесты, т. е. жесты, возникающие ad hoc и никогда более не могущие быть повторенными, разве только случайно. Если проводить аналогии со звучащей речью, то такое видение приравнивает жест к предложению. Ведь только некоторые предложения являются идиомами (= жесты-эмблемы), и лишь некоторые – устоявшимися формулами (воспроизводимые жесты). Следовательно, остальная масса невоспроизводимых жестов, сопровождающих речь, представляет собой как бы совокупность уникальных и не повторяемых более одного раза предложений свободной структуры, созданных специально для данного конкретного случая.

Нам представляется более оптимистичным сравнение жеста не с предложением, а со словом. Собственно, сама К. Мюллер, используя в отношении жестов с компонентом

[16] Ср. [Bressem, Ladewig (forthcoming)].

‘ладонь вверх’ понятие с е м е й с т в о ж е с т о в (gesture family), подталкивает именно к такому пониманию: семейство жестов в такой трактовке представляет собой как бы семейство однокоренных слов. Нам на данном этапе кажется разумным расценивать каждый жест как совокупность морфем[17], сложенных в слово (в принципе, это слово может быть и одноморфемным). Это позволяет надеяться на создание своего рода лексикона жестообразующих формантов, количество которых, по всей видимости, окажется достаточно большим, но, что главное, – не бесконечным.

Но если трактовать жест как некоторое сочетание жестикуляционных морфов, то всякий жест, включающий в себя больше одного морфа, должен рассматриваться как сочетание элементарных жестикуляционных единиц. Такие сочетания элементарных жестов, составляющих жестикуляционное слово, мы называем далее жестовой лигатурой, или просто **лигатурой**[18]. Типы лигатур можно исчерпывающе описать только в ходе составления упомянутого выше лексикона элементарных жестов, однако предварительные различения можно сделать уже сейчас.

Вертикальной лигатурой мы называем одновременное исполнение двух элементарных жестов одним и тем же активным органом, причем данные жесты должны иметь общий компонент значения. Например, вертикальной лигатурой является одновременное[19] движение головой назад и поднятие бровей вверх – сочетание жестов, которое обозначает ‘дистанцирование’, ‘непонимание’ (жест ‘двинуть головой назад’ имеет внутреннюю форму ‘отодвинуться’ (от чего-то непонятного), поднятые брови в данном контексте имеют значение ‘удивление’, ‘непонимание’). Каждая из составных частей этой вертикальной лигатуры (движение головой назад, поднятые брови) встречается и самостоятельно, и в составе других лигатур, сохраняя при этом более или менее постоянное значение, если, конечно, последнее формулировать достаточно абстрактно.

Горизонтальной лигатурой мы называем два жеста одного и того же активного органа, которые в естественной жестикуляции часто следуют друг за другом. Например, достаточно частотной горизонтальной лигатурой является жест ‘ладонь вверх’ в направлении слушающего (в значении просьбы), сменяемый движением этой же ладони на говорящего (эта горизонтальная лигатура расшифровывается ‘дай мне’). Особым типом горизонтальной лигатуры являются **жесты-portemanteaux**, которые достаточно часто встречаются среди указательных жестов. Жест-portemanteau имеет место в том случае, когда два жеста следуют друг за другом, и при этом в горизонтальную лигатуру от первого жеста попадает компонент *а* (например, активный орган), а из второго жеста – компонент *б* (например, направление движения).

(26)

Речевой ряд	*Ничего, я поссорюсь с соседями.*	*Э т о*	*я умею!*
Жестовый ряд		указательный палец на слове *это* указывает на говорящего	

Н. Кошеверова и др. Золушка, 1947

В примере (26) *это* выделено эмфатически. Как мы будем говорить ниже, дейктический жест, сопровождающий эмфатически выделенное дейктическое выражение, обычно осуществляется указательным пальцем. Таким образом, у к а з а т е л ь н ы й п а л е ц в этой лигатуре-portemanteau относится к местоимению *это*. Однако указательный палец, движущийся в направлении говорящего, может относиться только к местоимению *я*,

---

[17] Понятие жестикуляционной морфемы используется в работе [McNeill 2008], однако там оно относится к эмблемам, т. е. жестикуляционным идиомам.

[18] В работе [Гришина 2011б] мы уже использовали данное понятие, но со времени написания этой статьи наша трактовка лигатуры несколько трансформировалась.

[19] Одновременность здесь означает совпадение по времени ударных частей включенных в лигатуру жестов.

а следовательно, направление движения в этой лигатуре относится к следующему за *это* личному местоимению *я* [20].

Жесты-portemanteaux следует отличать от случаев **аккомодации жестов**. Поскольку жестикуляция представляет собой континуум, то естественным образом жесты приспосабливаются друг к другу, подобно тому как в континууме речи приспосабливаются друг к другу звуки. Например, ретракция первого жеста накладывается на приготовительную стадию второго, или, реже, конфигурация руки, характерная для ударной части первого жеста, сохраняется во втором (пример (27)).

(27)

Речевой ряд	*– Я не вызывал полицию.*	*– В ы не вызывали,*	*вызывала... м а д м у а з е л ь ...*
Жестовый ряд		указательный палец правой руки показывает на собеседника1 (рис. 1)	обе руки показывают на собеседницу2, при этом левая рука указывает открытой ориентированной вверх ладонью, а правая сохраняет указание пальцем, которое сочетается с ориентацией ладони вверх (рис. 2)

А. Сурикова и др. Ищите женщину, 1982



Рис. 1



Рис. 2

Аккомодация жестов отличается от жестов-portemanteaux тем, что имеет две ударные части (первого и второго жеста), в то время как жесты-portemanteaux объединяют два жеста одной ударной частью[21].

1.4. Постановка задачи

В данной статье мы планируем проанализировать жесты, которые в устной русской речи сопровождают указательные частицы, местоимения и наречия *вон*, *вот*, *здесь*, *там*, *тот*, *тут*, *это*[22] и *этот*. Мы априори предполагаем, что сочетание указательного жеста и указательного слова представляет собой мультимодальный кластер (см. [Müller 2008: 236–237; Гришина 2011a]), т. е. жестикуляция в этом сочетании своими средствами отображает значение речевого дейксиса, который она сопровождает. Соответственно, зная значение речевого дейксиса и его контекст, мы можем реконструировать те компоненты жестикуляционного дейксиса, которые им соответствуют. Предложенная

---

[20] Часто имеет место ситуация, когда один указательный жест осуществляется на фоне двух идущих подряд дейктических слов (например, сочетание *вон там* и т. п.), и тогда совершенно невозможно определить, относится ли данный жест к одному из дейктических слов или представляет собой жест-portemanteau. В таких случаях материал приходилось выводить из рассмотрения.

[21] Заметим, что в примере (27) мы формально имеем дело с сочетанием указание пальцем + ориентация ладони вверх, но, поскольку в данном случае такая конфигурация указующей руки в жесте на рис. 2 является результатом аккомодации с предшествующим жестом, рассматривать зависимую конфигурацию руки в качестве самостоятельной не следует, и в дальнейшем анализе случаи очевидной аккомодации не учитывались.

[22] Имеется в виду *это* в значении связки (*Это он*). *Это* в значении свернутой дейктической группы (*мне это не нравится*) рассматривается в составе группы *этот*.

схема анализа выглядит достаточно простой и очевидной, однако в реальности появляются сложности, связанные с тем, что разные компоненты значения речевого дейксиса (например, его референциальное значение и место в коммуникативной структуре фразы) могут передаваться разными компонентами жестикуляционного дейксиса. К примеру, расположение дейксиса в эмфатической зоне фразы может требовать одной конфигурации указующей руки, его референциальное значение – другой, а иллокутивная сила фразы предполагает некоторую третью конфигурацию. Единственной возможностью справиться с этой многофакторностью является статистический анализ материала.

Таким образом, при анализе мы будем выбирать тот или иной параметр значения речевого дейксиса и определять, с какой частотой этот параметр сочетается с теми или иными жестикуляционными компонентами. В случае если по критерию χ-квадрат значение речевого дейксиса и компоненты жеста будут признаны независимыми, мы будем считать, что данная конфигурация указующей руки не передает исследуемое значение. В случае же, если критерий χ-квадрат покажет хотя бы минимальную связь жестикуляционного и речевого компонента дейксиса, мы будем дополнительно использовать критерий нормированной дельты, чтобы показать направление влияния данного параметра и его вес (подробнее о нормированной дельте см. [Гришина 2012а], а также ниже пояснения при табл. 3).

1.5. Инвентарь русских ручных указательных жестов

В упомянутой выше работе [Kendon, Versante 2003] для неаполитанского диалекта итальянского языка был определен следующий инвентарь ручных указательных жестов[23]:

1) указание указательным пальцем (УП) + вертикальная ладонь (рис. 3)



Рис. 3

2) УП + ладонь вниз (рис. 4)



Рис. 4

3) указание открытой ладонью (ОЛ), ладонь вверх (рис. 5)



Рис. 5

4) указание ОЛ, ладонь вертикально (рис. 6)



Рис. 6

[23] Ниже некоторые рисунки, которые в цитированной работе показались нам не вполне отчетливыми, заменены рисунками из нашей коллекции.

5) указанис ОЛ, косая ладонь (рис. 7)



Рис. 7

6) указание большим пальцем (рис. 8)



Рис. 8

Каждый из этих жестов рассматривается в цитируемой работе как самостоятельная единица, т. е. они не разлагаются на составные компоненты и не группируются в более крупные объединсния.

В статье [Wilkins 2003] использован несколько иной принцип группировки указательных жестов, которые фиксируются автором для одного из языков австралийских аборигенов, аренте. В системе этого языка не зафиксированы жесты ОЛ + ‘ладонь вверх’, УП + ‘вертикальная ладонь’, ‘указание косой ладонью’, ‘указанис большим пальцем’, однако выделяется ‘указание широкой ладонью’ (см. рис. 9), которое используется для указания на совокупности.



Рис. 9

При этом с функциональной точки зрсния в языке аренте отождествляются как одна и та же единица достаточно разные, со сторонней точки зрсния, жесты. Так, например, указание пальцем реализуется как минимум в четырех вариантах (рис. 10); еще более неожиданным кажется отождествление в одном жесте двух вариантов указания вертикальной открытой ладонью (рис. 11).



Рис. 10



Рис. 11

Эти две статьи демонстрируют различающиеся подходы к инвентаризации жестов. Сам Дэвид Уилкинс обозначает это различие как расхождение между «этическим» и «эмическим» подходом: с точки зрения Уилкинса, «этический» подход А. Кендона ведет к тому, что как самостоятельные единицы рассматриваются жесты, которые в языке находятся в дополнительном распределении (т. е. выполняют одну и ту же дейктическую функцию, а выбор между тем или иным вариантом полностью определяется внешними условиями коммуникации), а следовательно, должны рассматриваться как «алложесты» одной «жестемы» (формулировка моя. – *Е. Г.*).

Будучи в затруднении, какой из предложенных подходов выбрать для описания русской системы ручных указательных жестов, мы предпочли некий третий путь, для использования которого наш материал, как кажется, предоставляет все возможности.

Совокупность русских ручных указательных жестов, если отвлечься от некоторых частностей, выглядит, по нашим данным, следующим образом (табл. 2а).

Таблица 2а

Орган / Ориентация ладони	УП (указательный палец)	ОЛ (открытая ладонь)	большой палец
вверх	+	+	ориентация ладони не имеет значения ввиду своей вынужденности
вертикально	+	+	
вниз	+	+	
косая ладонь	–	+	
комбинированная ладонь	–	+	

Затемнением выделены те сочетания органа и ориентации ладони, которые не были проиллюстрированы выше: указание УП с ладонью, обращенной вверх (рис. 12), указание ОЛ, обращенной вниз (рис. 13), и указание открытой комбинированной ладонью (зона ладони, примыкающая к мизинцу и безымянному пальцу, развернута вверх, зона ладони, примыкающая к большому, указательному и среднему пальцу, развернута вертикально, рис. 14):



Рис. 12



Рис. 13



Рис. 14

Обратим внимание на то, что косая ладонь (рис. 7) и комбинированная ладонь (рис. 14) представляют собой два варианта ориентации ладони, «не довернутой» до конечной позиции вверх: оба жеста включают в себя компонент ‘ладонь вверх’, однако выражен он по-разному – и качественно, и количественно. Косая ладонь образует с поверхностью земли угол, более или менее приближенный к 135°, таким образом, здесь поворот ладони до 180° просто не доведен до конца. Комбинированная ладонь представляет собой либо вертикально ориентированную ладонь, часть которой развернута вверх, либо ладонь, ориентированную вверх, часть которой приподнята до вертикального состояния. Ввиду того, что обе ориентации ладони содержат в себе элемент ‘ладонь вверх’, далее мы будем рассматривать эти две ориентации вместе с ориентацией ладони ‘вверх’.

В поддержку такого решения говорит и тот факт, что ориентация ‘косая ладонь’ и ориентация ‘комбинированная ладонь’ распределены дополнительно. Сравним, как связаны между собой ориентация ладони и степень вытянутости руки говорящего: вытянута она полностью (прямая рука) или находится в полусогнутом состоянии. Данные приведены в табл. 3.

Таблица 3

Рука / Ориентация	прямая	полусогнутая	Λ_N	Δ_E
косая ладонь	29	12	0,41	0,7
комбинированная ладонь	30	96	–0,52	–0,23
$\chi^2 = 29{,}8$, $p \leq 001$; параметры связаны, распределения достоверны				

Примечание. В таблице использованы понятия нормированной дельты (Δ_N) и экстраполированной дельты (Δ_E). Они введены для того, чтобы выразить с помощью чисел направление расхождения двух сравниваемых параметров и его вес. Δ_N вычисляется по формуле

(Я1 – Я2)/(Я1 + Я2),

где Я1 и Я2 – две соседние ячейки, например, 'прямая рука' + 'косая ладонь' = 29 (Я1), 'полусогнутая рука' + 'косая ладонь' = 12 (Я2); $\Delta_N = (29 - 12)/(29 + 12) = 0{,}41$.

Экстраполированная дельта Δ_E выравнивает данные, которые слишком различаются между собой количественно: примеров на вариант 'прямая рука' – 59, примеров на вариант 'полусогнутая рука' – 108, т. е. почти в два раза больше; экстраполированная дельта предполагает, что мы расширяем наш исходный корпус и доводим количество примеров на вариант 'прямая рука' до 108, тем самым выравнивая данные в столбцах; экстраполяция предполагает, что увеличение корпуса приведет к тому, что все новые примеры на вариант 'прямая рука' распределятся в исходной пропорции 29/30; естественно, чем больше исходный корпус, тем надежнее экстраполяция.

Экстраполированная дельта

$$\Delta_E = \Delta_N - \Delta_T,$$

где $\Delta_T = (\sum_1 - \sum_2)/(\sum_1 + \sum_2)$, а $\sum_1$ и $\sum_2$ – суммы первого и второго столбцов; для столбца 'прямая рука' это 59, для столбца 'полусогнутая рука' 108, соответственно, $\Delta_T = (59 - 108)/(59 + 108) = -0{,}29$; следовательно, Δ_E для первой строки $\Delta_E = 0{,}41 - (-0{,}29) = 0{,}7$.

Чем больше значение экстраполированной дельты, взятой по модулю, тем сильнее различительная сила данного параметра. Чем ближе к единице числовая дистанция между двумя значениями Δ_N (сумма модулей их значений), тем важнее данный фактор, т. е. тем выше его вес. Направление влияния показано знаком при дельте (минус показывает, что данный параметр характерен для второго столбца, т. е. $\Delta_E = -0{,}23$ означает, что с комбинированной ориентацией ладони чаще сочетается полусогнутая рука).

Таблица 3 с очевидностью свидетельствует, что полностью выпрямленная, напряженная рука требует косой ладони (экстраполированная дельта 0,7), в то время как расслабленная полусогнутая рука тяготеет к комбинированной ладони (экстраполированная дельта –0,23)[24].

Учитывая названные два обстоятельства (наличие в ориентации 'косая ладонь' и 'комбинированная ладонь' элемента 'ладонь вверх' и тот факт, что эти две ориентации находятся в дополнительном распределении), таблицу 2а можно трансформировать следующим образом (см. табл. 2б).

Таблица 2б

Орган / Ориентация ладони	УП (указательный палец)	ОЛ (открытая ладонь)	большой палец
вверх (+косая/ комбинированная ладонь)	+	+	ориентация ладони не имеет значения ввиду ее вынужденности
вертикально	+	+	
вниз	+	+	

Такая конфигурация таблицы, включающая в себя все возможные комбинации признаков, предполагает, по-видимому, что параметр 'орган' (указательный палец или открытая ладонь) и параметр 'ориентация ладони' в составе классического указательного жеста могут рассматриваться как относительно независимые, а сам указательный жест (если оставить в стороне указание большим пальцем) – как вертикальная лигатура двух самостоятельных жестикуляционных компонентов, каждый из которых в составе ука-

[24] Заметим, что в подсчетах не учитывалось вынужденное положение руки, когда ее полусогнутость диктовалась внешними физическими условиями, например недостатком пространства для жестикуляции, тем фактом, что говорящий опирался на жестикулирующую руку, и т. п.

зательного жеста отвечает за ту или иную смысловую зону. Последующее изложение будет исходить именно из этой базовой посылки.

Выше мы не случайно оговорились, что два названных параметра имеют относительную независимость. Действительно, априори любому носителю русского языка кажется, что указание с помощью указательного пальца и развернутой вверх ладони, а также указание с помощью открытой ладони, обращенной вниз, если и встречаются в русской системе указательных жестов, то чрезвычайно редко. И это ощущение вполне надежно подкрепляется статистическими данными в табл. 4.

Таблица 4

Орган / **Ориентация ладони**	**УП (указательный палец)**	**ОЛ (открытая ладонь)**	Δ_N
вверх (+косая/комбинированная ладонь)	36	382	–0,83
вертикально	264	164	0,23
вниз	284	44	0,73
$\chi^2 = 484{,}4$, $p \leq 001$; параметры связаны, распределения достоверны			

Как видим, указание УП практически со стопроцентной вероятностью требует ориентации ладони вертикально или вниз, в то время как указание открытой ладонью отчетливо предпочитает ориентацию ладони вверх (напомним, что в качестве жестов УП + 'ладонь вверх' мы не рассматривали случаи аккомодации двух последовательных указательных жестов, см. сноску 21). При этом, однако, обратим внимание на то, что количество примеров на указание УП + 'ладонь вверх' и указание ОЛ + 'ладонь вниз' все-таки достаточно заметно, т. е. эти указательные жесты являются редкими, но не уникальными.

Таким образом, в случае если мы беремся рассматривать каждый указательный жест как комбинацию двух параметров ('орган' и 'ориентация ладони'), мы должны будем предложить какое-то объяснение для такой асимметрии в сочетании параметров. Именно в этом и состоит одна из основных задач данной работы. Далее мы рассмотрим группу факторов, которые влияют на выбор жеста, и попытаемся определить меру их влияния. (Указание с помощью большого пальца в статье рассматриваться не будет.)

2. УКАЗАНИЕ ПАЛЬЦЕМ И ОТКРЫТОЙ ЛАДОНЬЮ

2.1. Внутренняя форма жеста

Обычно указание пальцем рассматривается как некоторое жестикуляционное действие, которое в любой ситуации имеет одну и ту же внутреннюю форму. Нам кажется, что это не вполне верно. В указывающем пальце, если сравнивать этот жест с указывающей открытой ладонью, в разных ситуациях могут быть актуализированы разные компоненты. Таких компонентов, по-видимому, три.

1) Кончик указательного пальца (единичный и точечный) противопоставляется отсутствию такой единственной точки при указании открытой ладонью, когда в указании участвуют равноправно все пальцы.

2) Кончик указательного пальца, актуализируя конечный пункт назначения указательного жеста, актуализирует тем самым и исходный пункт указания – точку месторасположения субъекта указания; в результате указательный палец своей длиной символизирует расстояние между двумя этими точками; открытая ладонь, не имея отдельной выделенной точки, не задает и исходную точку указания, а следовательно, не включает в себя и идею длины, расстояния, дистанции (но близкую идею 'территории' включает в себя открытая ладонь, обращенная вниз, см. выше раздел 1.2.2).

3) Указательный палец как целое и его точечный кончик символизируют некоторый протыкающий объект, т. е. указательный палец в сочетании с движением вперед превращается в объект типа копья или стрелы; открытая ладонь не имеет такой внутренней формы.

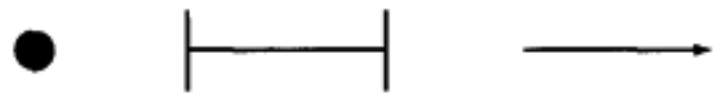


Рис. 15

В разных функциях у указательного жеста УП актуализируются разные компоненты – точка, отрезок или вектор. Далее при объяснении тех или иных статистических закономерностей мы будем оперировать этими тремя образами, условно говоря, схемой «точка», схемой «отрезок» и схемой «вектор».

2.2. Референциальные факторы

2.2.1. Определенность/неопределенность объекта

В этом разделе мы разберем несколько факторов, влияющих на выбор указательного жеста, которые связаны с теми или иными референциальными характеристиками объекта указания.

Как уже было отмечено, указание пальцем, в отличие от указания открытой ладонью, приравнивает объект указания к некоторой отдельной выделенной точке, которую иконически отображает кончик указующего пальца. В указательном жесте открытой ладонью такой выделенной точки заведомо нет. Этот простой факт ведет к целому ряду последствий в использовании указательных жестов УП и ОЛ[25]. В работе [Крейдлин 2007: 325], опираясь на этот же компонент структуры указания УП, автор показал, что «на множестве указательных жестов имеются смысловые противопоставления больше / меньшей ***определенности (индивидуализации)*** и ***единичности/множественности объекта***».

В русском языке, как известно, категория определенности не имеет грамматического выражения, в связи с чем, чтобы узнать, как связан указательный жест с этой категорией, и связан ли вообще, мы рассмотрим некоторые лексические средства, стандартно передающие идею (не)определенности.

Для анализа жестикуляционного сопровождения значения **неопределенности** объекта указания были выбраны конструкции с неопределенными местоимениями *-то* и *-нибудь* серий, конструкции с сочетаниями *то-се*, *так-сяк*, а также несколько специфичесских конструкций, включающих неопределенность в качестве смыслового компонента: перечисления (*эти миди, мини, макси... штаны эти широченные*; *крючочки-поплавочки*; *то охота учиться, то неохота*), обозначение неопределенного промежутка или момента времени (*между десятью и одиннадцатью часами утра*; *так, между делом, скажете ему*; *в ближайшие три года может произойти целая серия цунами*); кроме того, включен один пример, где неопределенность объекта понятна из ситуации (*этому хлюпику Косте* – неопределенность связана с тем, что говорящему неизвестно местонахождение *хлюпика Кости*).

Для анализа контекстов **определенности** было отобрано несколько конструкций со словом *именно* и одна конструкция со словом *конкретный* (*и это при том что мы не ставим себе такой конкретной задачи*; *вот именно!*; *всю жизнь мечтал об этом искусстве гончарном именно*). Результаты соотношения значения определенности / неопределенности и жестикулирующего органа показаны в табл. 5.

---

[25] Несколько таких следствий было подробно описано нами в работе [Гришина 2012а], в которой с опорой на этот факт было сформулировано различие в значениях и жестикуляционном сопровождении синонимичных русских наречий *здесь* и *тут*.

Таблица 5

Определенность / Орган	определенное	неопределенное	Δ_N	Δ_E
УП	18	1	0,89	1,24
ОЛ	4	44	–0,83	–0,49
$\chi^2 = 47{,}7$, $p \leq 001$; параметры связаны, распределения достоверны				

Как видим, для компонента значения 'определенность' в высшей степени характерно указание пальцем, а для компонента 'неопределенность' – указание открытой ладонью. Следует уточнить, что реально значение неопределенности сопровождалось указанием пальцем, а не ладонью не один раз, как показано в табл. 4, а десять раз. Однако в не учтенных в таблице случаях мы имеем дело:

1) с указательными жестами, которые сопровождают сочетания неопределенных местоимений с местоименными наречиями (*где-то здесь, где-нибудь там*, 6 раз), в которых указательный жест скорее всего относится к местоименному наречию, а не к неопределенному местоимению;

2) со случаями аккомодации жестов, т. е. сохранения конфигурации руки, унаследованной от предшествующего жеста (3 раза).

Таким образом, единственным примером, в котором указание УП сопровождает неопределенное местоимение, является пример (28):

(28)

Речевой ряд	*Ты все какую-то ерунду*	*в ушах носишь.*
Жестовый ряд	указание УП, вертикальная ориентация ладони, палец указывает на серьгу в ухе собеседницы	

М. Жаров и др. Анискин и Фантомас, 1973

В этом примере, однако, действуют по крайней мере два фактора, которые требуют указания пальцем, а не рукой. Во-первых, указание пальцем здесь выполняет не только указательную, но и идентифицирующую функцию (*какая-то ерунда* = 'серьги', см. ниже, раздел 2.2.5), а во-вторых и, по-видимому, в главных, указательный палец здесь выбран в связи с указанием на мелкий предмет, серьгу (см. ниже, раздел 2.2.4): в случае, если бы здесь было выбрано указание рукой (в соответствии со значением неопределенного местоимения *какой-то*), возникла бы ситуация двусмысленного указания, поскольку указание ОЛ в сторону адресата воспринимается не как указание на конкретную часть адресата (серьгу в ухе), а как жест, указывающий на адресата как на целостную личность, или как жест, выполняющий ту или иную прагматическую функцию (см. выше, раздел 1.2). Таким образом, наша выборка, пусть и небольшая, демонстрирует фактическую обязательность связи указания ОЛ и значения неопределенности (объект указания 'неизвестно какой' или 'неважно какой') и высокий уровень обязательности указания УП при определенной именной группе.

Эти же данные демонстрируют, что категория неопределенности, вероятнее всего, никак не связана с ориентацией ладони, как показано в табл. 6.

Таблица 6

Определенность / Ориентация	определенное	неопределенное[26]
вверх	3	14
вертикально	7	7
вниз	9	9
$\chi^2 = 4{,}89$; параметры не связаны, распределения недостоверны		

Итак, указание УП предпочтительнее в ситуации, когда референт указания определен, указание ОЛ – когда, напротив, не определен, и при этом ориентация ладони с категорией определенности, по-видимому, не связана.

2.2.2. Противопоставление объекта и ситуации

Указательные слова, послужившие материалом для нашей работы (*вон*, *вот*, *здесь*, *там*, *тот*, *тут*, *это*, *этот*), все являются определенными, поэтому значения дельт, полученные ниже, будут заметно менее контрастными, чем значения дельт, связанных с (не)определенностью. Тем не менее в случае если значения χ-квадрата по той или иной таблице будут показывать достоверные распределения частот, мы будем считать возможным оперировать и такими недостаточно контрастными дельтами, которые, напомним, показывают направления жестикуляционных предпочтений и их вес.

В качестве одного из референциальных факторов, влияющих на выбор конфигурации указующей руки, мы рассмотрим тип объектов указания. Как показало наше исследование местоименных наречий *здесь* и *тут* и сопровождающих их жестов [Гришина 2012а], значимым для выбора указательного жеста может оказаться различие между объектом и ситуа́цией. Мы считаем, что рука указывает на объект в том случае, если объекты указания представляют собой материальные сущности самой разной природы ('человек', 'предмет', 'территория', 'строение', 'поселение', 'животное' и т. п.) или нематериальные сущности стабильной структуры ('мысль', 'высказывание', 'учреждение', 'организация'):

(29)

Речевой ряд	*– Спорим. – На что?*	*– А вот*	*на твою кубанку.*
Жестовый ряд		указание ОЛ на головной убор собеседника, 'ладонь вверх'	

Ю. Чулюкин, Б. Бедный. Девчата, 1962

(30)

Речевой ряд	*Это*	*Бетховен писал по заказу!*
Жестовый ряд	указание УП на рояль, на котором только что было исполнено произведение Бетховена, 'ладонь вертикально'	

А. Ивановский и др. Антон Иванович сердится, 1941

В случае если указательный жест направлен на некоторый событийный объект ('ситуация', 'свойство', 'событие', 'процесс' и т. п.) или на какую-то точку во времени (т. е. на точку в событийном развитии ситуации), мы считаем объектом указания с о б ы т и е, с и т у а ц и ю:

[26] В таблицу не включены случаи, когда ладонь не имеет фиксированной ориентации, что чрезвычайно характерно для жестов со значением неустойчивости, неопределенности и т.п.

(31)

Речевой ряд	*Ну заменим!*	*Ну на той неделе*	*заменим!*
Жестовый ряд		указание ОЛ вне зоны коммуникации, ‘ладонь вверх’	

А. Митта и др. Друг мой, Колька!, 1961

(32)

Речевой ряд	*Турок палит*	*вон как попало.*	*А мы только прицелясь!*
Жестовый ряд		указание УП на стреляющие из пушек корабли противника ‘ладонь вниз’	

М. Ромм, А. Штейн. Адмирал Ушаков, 1953

Естественно, что границу между объектами и ситуациями иногда бывает чрезвычайно трудно провести. Более того, исследование наречий *здесь* и *тут* показало, что, по-видимому, именно выбор соответствующего жеста позволяет прояснить, как именно говорящий трактует объект указания – как объект или как ситуацию. Однако мы исходим из того, что влияние ошибок и сомнительных решений на общий результат при достаточном количестве примеров сглаживается[27].

Итак, для количественного анализа в нашем распоряжении есть четыре указательных слова: *вон*, *вот*, *тот*, *этот*. И здесь мы впервые сталкиваемся с тем, что сопровождение этих дейксисов тем или иным указательным жестом зависит не столько от референтного статуса единицы, сколько от ее семантики. Действительно, табл. 7 показывает, что выбор между пальцем и ладонью в сопровождающем указательном жесте приводит к разным результатам у пары *вон*, *вот*, с одной стороны, и у пары *тот*, *этот* – с другой.

Таблица 7

Тот, этот				
Тип объекта указания / Орган	**объект**	**ситуация**	Δ_N	Δ_E
УП	152	25	0,72	0,02
ОЛ	114	23	0,66	–0,03
$\chi^2 = 0{,}42$ параметры не связаны, распределения недостоверны				
Вон, вот				
Тип объекта указания / Орган	**объект**	**ситуация**	Δ_N	Δ_E
УП	100	12	0,79	0,24
ОЛ	98	47	0,35	–0,19
$\chi^2 = 16{,}8$, $p \leq 001$; параметры связаны, распределения достоверны				

[27] В приведенных ниже таблицах не учитывались данные по местоименным наречиям *здесь*, *тут* и *там*, поскольку в этих случаях очень трудно определить, апеллирует указание к некоторому месту или к ситуации, которая протекает в этом месте (опять же, одним из признаков, позволяющих понять это, является выбор сопровождающего указательного жеста). Кроме того, в таблицы не включены данные по местоимению *это*, поскольку оно используется либо в конструкциях идентификации (*Это X*), либо в запросах на идентификацию (*Что это?*). Соответственно, именно в ходе осуществления этих высказываний говорящий принимает решение, имеет он дело с объектом или с ситуацией. Следовательно, конструкция с *это* не может быть нам здесь полезной, и апеллировать снова приходится к сопровождающему жесту, который для нас пока является искомым, а не данным.

Как видим, у местоимений *тот*, *этот* различие между объектами указания ('объект' vs. 'ситуация') не оказывает влияния на выбор органа указания. Напротив, для жестикуляционного сопровождения частиц *вон*, *вот* различие в типе объекта указания оказалось достаточно важным: для указания на объекты выбирается обычно УП, для указания на ситуации – ОЛ. Выше мы уже высказывали предположение, что такое распределение связано с иконическими особенностями указывающей руки: указательный палец трактует объект указания как точку, не имеющую объема и не изменяющуюся во времени, что идеально подходит для указания на объекты; напротив, указание ОЛ, не фиксируя в пространстве указания ни одной специально выделенной точки, распределяется в трехмерном пространстве (а следовательно, в соответствии со стандартами передачи времени в языке через пространственные понятия и схемы, см. [Calbris 2008], распределяется и на временной оси), и естественным образом предназначено для указания на развивающиеся в пространстве и времени ситуации.

Чем объяснить столь разное поведение двух пар указательных слов? Если говорить в общем, не претендуя на серьезный лингвистический анализ, различие между парами *тот*, *этот* vs. *вон*, *вот* заключается в том, что первая пара вводит в высказывание активированный объект указания, т. е. тот референт, к которому отсылает местоимение *тот*, *этот*, уже введен в зону внимания говорящего и слушающего: во фразах *Кто притащил сюда эту собаку?*; *Я не могу работать в этой давке!*; *Вот тот в вельвете кто?*; *Вот за то мы и любим ваш предмет* референты сочетаний *эта собака*, *эта давка*, *тот в вельвете*, *то* известны и говорящему, и слушающему и были уже введены в поле их внимания раньше. Напротив, указательные частицы *вон*, *вот* впервые вводят референт в поле внимания слушающего (но этот референт к данному моменту уже находится в поле внимания говорящего): *Вон вчера учительница про одну рассказывала*; *Вон видите тот серый дом?*; *Вот передо мной любящая мать!*; *Вот, и дневального даже нет*. Представляется, что именно этой разницей в референтном статусе и объясняется разное жестовое сопровождение этих дейксисов: для активированных референтов, уже введенных в поле внимания и говорящего, и слушающего, нет необходимости в их атрибуции как 'объектов' или как 'ситуаций', и сопровождающие дейктические жесты тем самым освобождаются от данной референциальной функции, выполняя какие-то другие задачи. Для первого же введения референта в поле внимания слушающего такая атрибуция может оказаться не лишней, и ее, как представляется, исполняют соответствующие жесты (ОЛ указывает на референт, который говорящий воспринимает как ситуацию, а УП – на референт, который воспринимается говорящим как точечный и не развивающийся во времени объект).

Посмотрим, как связаны эти дейксисы с ориентацией ладони (табл. 8).

Как видим, отсутствие связи между 'объектом' / 'ситуацией' и ориентацией ладони в отношении местоимений *тот*, *этот* по-прежнему сохраняется. Напротив, для дейксисов *вон*, *вот* связь между референтным статусом объекта указания и выбором ориентации ладони вполне достоверна: 'ситуация' тяготеет к ориентации ладони вверх, 'объект' – к ориентации ладони вниз; вертикальная ориентация ладони в равной мере применима к референтам обоих классов, поскольку значение экстраполированной дельты здесь практически равно нулю (–0,02).

Попытаемся объяснить, каким образом ориентация ладони может быть связана с различиями между объектом и ситуацией, а также с семантикой указательных частиц *вон* и *вот*. Как мы уже писали выше, частицы *вон*, *вот* содержат в себе прагматический компонент, призывающий слушающего обратить внимание на некоторый объект указания. Из раздела 1.2 явствует, что этот призыв к слушающему может осуществляться в двух формах: мягкое приглашение, предложение (сценарий 'давать', ориентация ладони вверх) и более жесткое требование (сценарий 'положить руку на кого-л., ориентация ладони вниз'). При этом вертикальная ориентация ладони не имеет самостоятельного прагматического значения.

Таким образом, если говорящий трактует объект указания как 'объект', а не как 'ситуацию', он, как следует из вышеизложенного, предпочтет указать на него пальцем.

Таблица 8

Тот, этот				
Тип объекта указания / Ориентация ладони	**объект**	**ситуация**	**Δ_N**	**Δ_E**
вверх	80	17	0,65	–0,04
вертикально	112	18	0,72	0,03
вниз	74	13	0,70	0,01
$\chi^2 = 0{,}59$ параметры не связаны, распределения недостоверны				
Вон, вот				
Тип объекта указания / Ориентация ладони	**объект**	**ситуация**	**Δ_N**	**Δ_E**
вверх	75	33	0,39	–0,15
вертикально	69	22	0,52	–0,02
вниз	54	4	0,86	0,32
$\chi^2 = 12{,}1$ $p \leq .002$; параметры связаны, распределения достоверны				

А поскольку ему требуется добавить в исполняемый жест еще и императивный компонент, как того требует семантика частиц *вон* и *вон*, то выбирать он должен в этом случае между ориентацией ладони вниз или вверх. Если он добавляет мягкий прагматический компонент, п р и г л а ш е н и е, то в результате укажет на 'объект' с помощью указательного пальца и ладони, развернутой вверх.

В чем недостаток жеста УП + 'ладонь вверх' (или, иными словами, почему жест такой конфигурации используется так редко; см. табл. 4)? По-видимому, объяснение состоит в том, что этот жест включает в себя противоречащие друг другу элементы. Во-первых, такая конфигурация указующей руки задает два вектора указания, которые находятся под прямым углом друг к другу: ладонь вверх предполагает, что объект указания расположен в открытой ладони субъекта указания (вектор снизу вверх), а указательный палец предполагает, что объект указания расположен на конце вектора, заданного пальцем (см. рис. 16).

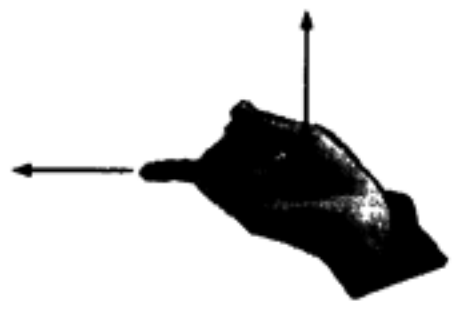


Рис. 16

Во-вторых, конфигурация руки УП + 'ладонь вверх' включает в себя два разных типа иллокуции: ладонь вверх предполагает мягкую императивность (приглашение), в то время как указательный палец предполагает жесткую императивность (требование). Поэтому хотя комбинация УП + 'ладонь вверх' и употребляется в русской жестикуляции, но достаточно редко. Таким образом, для выражения императивного компонента при указании пальцем на объект для говорящего остается только один внутренне непротиворечивый жест, а именно УП + 'ладонь вниз'. Отметим, что эта комбинация является наиболее комфортной для указания на объект в сочетании с императивным

компонентом, поскольку указание УП, как мы уже писали выше, само по себе может являться императивом.

В случае если говорящий при использовании частиц *вон* и *вот* предпочитает трактовать объект указания как ‘ситуацию’, он, скорее всего, предпочтет показать на нее открытой ладонью. Для выражения прагматического компонента у него опять же есть две возможности – ориентация ладони вниз и вверх. Если он выбирает ориентацию ладони вниз, то он снова получает дефектный результат: указание ладонью вниз, которое задает вектор указания сверху вниз и противоречит исходному вектору, направление которого задается открытой ладонью (параллельно направлению взгляда субъекта указания, см. рис. 17); как мы писали выше, указание ладонью вниз указывает на некоторую плоскость, расположенную под указующей ладонью параллельно ей. Таким образом, у говорящего остается только одна возможная комбинация органа и ориентации ладони – указание ОЛ + ‘ладонь вверх’.

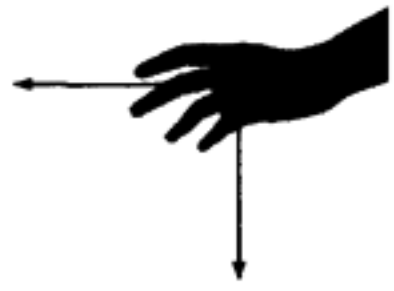


Рис. 17

Таким образом, при первом введении референта в некую коммуникативную ситуацию с помощью частиц *вон*, *вот* говорящий может трактовать этот референт как точечный объект (и тогда, скорее всего, укажет на этот объект пальцем и ладонью, ориентированной вниз) или как объемное развивающееся во времени событие (и тогда укажет на него открытой ладонью, обращенной вверх). В случае если говорящий не ставит перед собой задачи использовать в указании прагматический компонент, ладонь займет вертикальное положение, а выбор между указанием пальцем или ладонью будет диктоваться тем, как говорящий воспринимает объект указания – как ‘объект’ или как ‘ситуацию’ (при достаточном количестве примеров это дает экстраполированную дельту примерно равную нулю, потому что трактовки объекта указания как ‘объекта’ или как ‘ситуации’, а значит, и указания ОЛ и УП равновероятны).

2.2.3. Противопоставление близкого и дальнего расстояния

В работе [Гришина 2012а] при разборе жестикуляционного сопровождения местоименных наречий *здесь* и *тут* мы уже писали о том, что жестикуляция реагирует на расстояние между субъектом и объектом указания (конечно, речь идет не об объективной близости или дальности, а о субъективной оценке говорящего – расположение объекта указания на одном и том же расстоянии от говорящего может быть расценено последним и как близкое, и как удаленное). Жестикуляционное сопровождение речевых дейксисов позволяет нам проанализировать, как расстояние до объекта указания отражается в структуре указательного жеста. Далее маркерами отдаленности объекта указания мы будем считать дейксисы *вон, здесь*[28], *там*, *тот*, а маркерами близкого указания – дейксисы *вот*, *тут*, *это*, *этот*. Результаты проведенного анализа см. в табл. 9.

---

[28] В работе [Гришина 2012а] мы пришли к выводу, что наречие *здесь* обозначает близость к объекту указания в сочетании с нахождением на некоторой прагматической дистанции от него, в то время как наречие *тут* предполагает нахождение говорящего внутри объекта указания. Это позволяет нам отнести наречие *здесь* к «дальним» дейксисам, а наречие *тут* – к «ближним». Статистически это решение как будто подтверждается – включение *здесь* в состав дальних дейксисов дает чуть более контрастные и отчетливые результаты по всей этой группе.

Таблица 9

Орган \ Расстояние	близкое	дальнее	Δ_N	Δ_E
УП	275	308	–0,06	–0,22
ОЛ	406	184	0,38	0,22
$\chi^2 = 56{,}4$ $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				

Как видим, указание УП характерно для указания на дальние объекты, указание ОЛ – на близкие. Как мы уже писали выше, в случае указания УП кончик пальца иконически изображает некоторую конечную точку указания. Наличие такой конечной точки автоматически актуализирует начальную точку указания – место расположения субъекта указания. Таким образом, указание УП символизирует некоторый отрезок, расстояние между субъектом и объектом указания (схема «отрезок») и тем самым оказывается естественным способом показать на объекты, расположенные от говорящего на некоторой дистанции (дистанция может иметь исключительно прагматический характер, как, например, при употреблении нарсчия *здесь*). Напротив, открытая ладонь не имеет специально выделенной, отмеченной точки и не задает никакой идеи расстояния или прагматической дистанции, а следовательно, является наиболее естественным средством указать на близкий объект (тем самым близость здесь трактуется как «отсутствие удаленности», т.е. как немаркированное расстояние).

Теперь посмотрим, как связаны между собой указания на близкий/дальний объект и ориентация ладони (табл. 10).

Таблица 10

Ориентация ладони \ Расстояние	близкое	дальнее	Δ_N	Δ_E
вверх	302	116	0,44	0,28
вертикально	260	168	0,21	0,05
вниз	119	208	–0,27	–0,43
$\chi_2 = 98{,}9$ $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				

Картина чрезвычайно напоминает ту, что описана в предыдущем разделе:

1) вертикальная ориентация ладони не связана с распределением указаний на близкие и дальние (экстраполированная дельта практически равна нулю (0,05)),
2) ориентация ладони вверх тяготеет к указанию на близкие объекты,
3) ориентация ладони вниз тяготеет к указанию на дальние объекты.

Для объяснения этого распределения достаточно было бы повторить рассуждения, которые были приведены нами в предыдущем разделе для объяснения выбора ладони при указании на объект или ситуацию. Сложность, однако, заключается в том, что разделение дейксисов на близкие и дальние не предполагает апелляции ни к какому прагматическому элементу, поскольку в отношении расстояния «прагматически нагруженные» *вон* и *вот* ведут ссбя ровно так же, как прагматически свободные *тот* и *этот*.

Таблица 10 прежде всего ставит вопрос, почему для указания на близкие или дальние объекты не было оказано предпочтения вертикальной ориентации руки? Иными словами, почему для указания на дальний объект чаще выбирается указание пальцем в сочетании с ориентацией ладони вниз, а не вертикально, а для указания на близкий объект – указание открытой ладонью в сочетании с ориентацией ладони вверх, а не вертикально? Такие предпочтения заставляют предполагать, что ориентация ладони вниз или

вверх вносит в состав указательного жеста некие компоненты, которые отсутствуют у вертикальной ориентации ладони.

Как мы уже писали выше, ориентация ладони вверх восходит к типу касания ‘держать что-л. в ладони’ или ‘просить положить что-л. в ладонь’. Следовательно, объект, находящийся в ладони, располагается на расстоянии от субъекта указания, которое не может превосходить длины вытянутой руки говорящего. Соответственно, указание ладонью вверх предполагает нахождение объекта указания на небольшом расстоянии от точки расположения субъекта указания. Естественно, что такая внутренняя форма указательных жестов с ориентацией ладони вверх способствует их тяготению к близким указаниям.

С другой стороны, ориентация ладони вниз задает некоторую плоскость, территорию (см. об этом выше, раздел 1.2), что может вносить в жест, включающий в себя ориентацию ладони вниз, идею расстояния. Естественно считать, что для передачи идеи отдаленности такая ориентация ладони подходит больше, чем нулевая, нейтральная вертикальная ориентация или предназначенная для ближнего указания ориентация ладони вверх. Мы предполагаем, что именно эти факторы способствуют предпочтению сочетания ОЛ + ‘ладонь вверх’ для передачи близости объекта указания и сочетания УП + ‘ладонь вниз’ для передачи идеи его отдаленности.

В пользу такой трактовки говорит еще одно обстоятельство. Вернемся еще раз к таблице 4, в которой были приведены данные о связи между органом указания и ориентацией ладони. Обратим внимание на то, что экстраполированная дельта, описывающая указательные жесты с вертикальной ориентацией ладони, выглядит здесь несколько необычно по сравнению с тем, к чему мы уже успели привыкнуть: $\Delta_E = 0{,}23$, а не нулю, как во всех случаях, рассмотренных до сих пор, и тех, которые еще будут рассмотрены ниже; т.е. в этой таблице, содержащей все данные, на которых построена настоящая статья, показано, что вертикальная ориентация ладони имеет предпочтительную связь с указанием пальцем. В чем здесь дело? Для прояснения воспользуемся еще раз разделением на близкие и дальние дейксисы и посмотрим, как обстоят дела с вертикальной ориентацией ладони (табл. 11).

Таблица 11

Близкие дейксисы (*вот, тут, это, этот*)				
Орган / Ориентация ладони	**УП**	**ОЛ**	**Δ_N**	**Δ_E**
вверх	17	285	–0,89	0,70
вертикально	158	102	0,22	0,41
вниз	100	19	0,68	0,87
$\chi^2 = 290{,}6$ $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				
Дальние дейксисы (*вон, здесь, там, тот*)				
Орган / Ориентация ладони	**УП**	**ОЛ**	**Δ_N**	**Δ_E**
вверх	15	97	–0,73	–0,98
вертикально	106	62	0,26	0,01
вниз	187	25	0,76	0,51
$\chi^2 = 175{,}2$ $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				

Мы видим, что если дальние дейксисы ведут себя вполне стандартно: вертикальная ориентация ладони никак не связана с выбором органа указания (на дальний объект в равной мере может указывать как открытая вертикально ориентированная ладонь, так и указательный палец в сочетании с вертикально ориентированной ладонью – экстраполированная дельта практически равна нулю (0,01)), то близкие дейксисы при вертикально ориентированной ладони демонстрируют заметное тяготение к указанию пальцем (экстраполированная дельта 0,41). Какое объяснение этому факту можно предложить?

Дальние дейксисы предъявляют к своему жестовому сопровождению требование каким-то образом отражать в жесте удаленность объекта указания. Эта удаленность может быть отражена как указанием пальцем (схема «отрезок»), так и ориентацией ладони вниз (обозначающей 'территорию', 'плоскость', 'пространство', а значит, и расстояние). Если эти два способа жестового выражения расстояния складываются, т.е. в случае указания УП + 'ладонь вниз', мы имеем дело с кумулятивным эффектом, когда два разных компонента одного и того же жеста выражают одну и ту же идею. Для близких дейксисов потребности в таком кумулятивном эффекте нет, поскольку нет необходимости отражать удаленность, расстояние. Как следствие, указание пальцем «открепляется» от горизонтально ориентированной ладони и свободно (т.е. под влиянием других факторов, а не фактора расстояния) распределяется между ориентацией ладони вниз и вертикальной ориентацией ладони, что естественным образом ведет к росту количества указаний УП + 'ладонь вертикально'. Более того, если мы обратим внимание на указание с ориентацией 'ладонь ввсрх', то мы увидим, что у близких дейксисов сочетание УП + 'ладонь вверх' встречается чаще, чем у дальних дейксисов (экстраполированная дельта у близких дейксисов –0,7 против –0,98 у дальних дейксисов). Это также является следствием открепления указания пальцем от ориентации ладони вниз и, соответственно, проникновения указания УП в другие ориентации ладони.

Ниже мы еще раз вернемся к этому вопросу и приведем дополнительные данные в пользу того, что ориентация ладони вниз при выражении отдаленности объекта указания восходит к идее плоскости–территории–пространства, а следовательно, расстояния, см. раздел 2.3.2).

2.2.4. Единичность и множественность объекта указания

В цитированной выше работе [Крейдлин 2007] утверждалось, что на выбор конфигурации указательного жеста влияет **единичность / множественность** объекта указания. Наш материал (объектные дейксисы *вот*, *вон*, *тот*, *это*, *этот*) показал следующие распределения (табл. 12).

Как видим, связь между органом и единичностью / множественностью объекта существует, но сравнительно слабая по сравнению с предшествующими параметрами (уровень ошибки .025 на фоне .001 и .005 в предшествующих распределениях); кроме того, дельта показывает очень слабую контрастность этой связи: множественный объект предпочитает указание открытой ладонью, но это предпочтение практически не выражено (интервал всего лишь |0,16|)[29].

Вторая часть таблицы 12 показывает, что связи между ориентацией ладони и параметром единичности / множественности обнаружить не удалось.

Таким образом, конфигурация открытой ладони, похожая на ту, которая была зафиксирована Д. Уилкинсом в языке аренте для указания на множественный объект, совокупность (см. рис. 9), характерна и для русской жестикуляционной системы, однако если в языке аренте этот жест, судя по данным Д. Уилкинса, связан с ориентацией

---

[29] Возможно, какие-то новые грани этой зависимости открылись бы, если бы мы исследовали каждый дейксис отдельно, но для этого у нас решительно недостаточно материала, и данные окажутся недостоверными уже по одной этой причине.

Таблица 12

Единичность/ множественность / Орган	объект как совокупность	единичный объект	Δ_N	Δ_E
УП	39	208	–0,68	–0,08
ОЛ	56	178	–0,52	0,08
$\chi^2 = 5{,}0$ $p \leq .025$; параметры связаны, распределения достоверны				
Единичность/ множественность / Ориентация ладони	**объект как совокупность**	**единичный объект**	**Δ_N**	**Δ_E**
вверх	34	138	–0,60	0,00
вертикально	41	138	- 0,54	0,06
вниз	20	110	–0,69	–0,09
$\chi^2 = 2{,}7$, параметры не связаны, распределения недостоверны				

ладони вниз, то в русской жестикуляции для выражении идеи совокупности важен орган указания (открытая ладонь), а не ориентация ладони:

(33)

Речевой ряд	*Смотри, о Волька! Все это твое!*	*И слоны,*	*и верблюды,*	*и лошади,*	*и ослы*	*и все чем заполнены эти мешки!*	*Эти люди, состоящие при грузах и животных,*	*все это твое!*
Жестовый ряд	ОЛ+ ладонь вверх	ОЛ+ ладонь вверх	ОЛ+вверх	ОЛ+ вертикально	ОЛ+ вверх	ОЛ+ вверх	ОЛ+вертикально, ОЛ+вниз	ОЛ+ вверх

Г. Казанский, Л. Лагин. Старик Хоттабыч, 1956

Внутренняя форма этого жеста достаточно очевидна и вполне иконична: один палец изображает один объект (схема «точка»), участие же в жесте всех пальцев передает идею «много». Поскольку в формировании внутренней формы жеста принимают участие только пальцы, неучастие в ней ориентации ладони легко объяснимо.

2.2.5. Объект указания как тема и как рема

Еще одно семантическое различие, имеющееся между проанализированными дейктическими словами и важное с жестикуляционной точки зрения, касается дейксисов *вот* и *это*. И *вот*, и *это* используются в конструкциях идентификации:

(34)

Речевой ряд	*Егор, я не пойму, что это у вас на каждой ограде замки висят.*	*Вот амбарный.*
Жестовый ряд		указание ОЛ на висящий замок

И. Шеголев, Л. Корсунский. Американский дедушка, 1994

(35)

Речевой ряд	*– Ну не понимаю я, какое отношение имеет эта звезда к этой книге!*	*– Это каталог!*
Жестовый ряд		указание УП на лежащую на столе книгу

М. Козаков, А. Хмелик. Безымянная звезда, 1978

Обратим внимание на то, что в примерах (34)–(35) конструкции идентификации с *вот* и с *это* устроены противоположным образом.

Это-идентификация предполагает, что объект указания (в примере (35) – книга) находится в общем для говорящего и слушающего поле внимания, а событие идентификации состоит в том, что говорящий подводит данный предмет под некоторую категорию и тем самым присваивает объекту указания имя. Таким образом, при идентификации с помощью местоимения *это* данным, темой является объект указания, а новым, ремой – его имя.

Напротив, *вот*-идентификация основана на том, что категория, к которой относится объект указания, т.е. его имя, уже так или иначе введено в предтексте[30] (в примере (34) имя *замок* введено до указания на конкретный амбарный замок). В этом случае событие идентификации состоит в том, что для уже активированного в предтексте имени указывается конкретный предмет, относящийся к названной этим именем категории. Таким образом, при идентификации с помощью частицы *вот* данным, темой является имя объекта указания, а новым, ремой – объект указания, т.е. внеречевой объект (ситуация или предмет).

В случае *это*-идентификации мы имеем дело с категоризацией предмета, а в случае *вот*-идентификации – с экземплификацией категории, имени. Кроме того, в случае *это*-идентификации обе части идентифицирующего равенства имеют понятийную и, следовательно, речевую природу: именем-темой является пока еще неопределенное местоимение *это*, а именем-ремой – категория, под которую *это* подводится. Напротив, в случае *вот*-идентификации части идентифицирующего равенства гетерогенны: тема является понятием, т.е. речевым объектом, а рема – внеречевым объектом (объектом или ситуацией), иллюстрирующим речевую тему.

С тем фактом, что в конструкциях *это*-идентификации обе части имеют речевую природу, по-видимому, связано то, что *это*-идентификация легко включает в себя отрицание:

(36а) *Это не мой брат.*
(36б) *Не это мой брат.*

Напротив, поскольку в конструкциях *вот*-идентификации рема имеет неречевую природу, включение в эту конструкцию отрицания возможно, но бессмысленно. Фраза (36в)

(36в) *Вот не мой брат*[31].

означает, что в предтексте было введено имя *не мой брат*, т.е. отрицание относится не к объекту указания, а включено в имя, которое предшествует акту указания. Такое несимметричное поведение отрицания связано с тем, что, как нам уже приходилось писать в работе о русских *да* и *нет* [Гришина 2011в], в предметном мире отрицание отсутствует,

[30] О том, что *вот* является анафорическим дейксисом, отсылающим к предтексту или к предситуации, см. [Гольдин 1998] и [Гришина 2008].

[31] Фраза **Не вот мой брат* невозможна ввиду отсутствия у частицы *вот* ассертивной зоны значения.

отрицание – чисто речевое явление, а следовательно, легко включается в гомогенную, чисто речевую *это*-идентификацию и с трудом – в гетерогенную по своей природе *вот*-идентификацию: можно построить отрицание к имени внеречевого объекта, но нельзя отрицать сам внеречевой объект.

Итак, в идентификации *Это X* темой является *это*, а ремой – *X*. Естественно поэтому, что к *это*-идентификации можно легко построить частный вопрос *Что это?*, *Это кто?*, где *это* продолжит оставаться темой, а в качестве ремы выступают вопросительные слова *что?* и *кто?*

В идентификации *Вот X* темой является *X*, ремой – внеречевой объект идентификации. Поскольку, однако, внеречевой объект не может служить составной частью высказывания и, кроме того, законченное высказывание не может состоять из одной темы, то «ремозаместителем», «квази-ремой», «предремой» в *вот*-идентификациях выступает частица *вот*. Как следствие, построение частных вопросов к *вот*-идентификациям ведет к тому, что в этих вопросах оказывается две ремы и ни одной темы: **Что вот? *Вот кто?*, а следовательно, такие конструкции невозможны (вернее, возможны, но только в том случае, если *вот* является цитированием предшествующего высказывания собеседника).

Заметим, что *это*- и *вот*-идентификации широко используются не только по отношению к внеречевым объектам, но и как «объектно-независимые» языковые конструкции.

(37) *Пробки – это беда большого города* [О. Зуева. Скажи что я тебе нужна... // «Даша», № 10, 2004];
(38) *Объемная завивка – вот секрет этой задорной прически* [Укладки для весенних дней: да здравствуют перемены! // «Даша», № 10, 2004].

Однако и в этих конструкциях, в которых обе части идентификации являются понятиями и, соответственно, именами, т.е. имеют одну и ту же речевую природу, сохраняются исходные характеристики *это*- и *вот*-идентификаций.

В *это*-идентификациях мы имеем дело со стандартной структурой фразы: первая именная группа вводит тему, вторая – рему, местоимение *это* маркирует начало ремы. Поскольку в *это*-идентификациях обе именные группы, и тема, и рема, имеют речевую природу, они легко меняются местами относительно местоимения *это*:

(37а) *Беда большого города – это пробки.*

В случае если обе именные группы в *это*-идентификациях являются конкретными (предметными) существительными, возможно возникновение высказывания, дискуссионного с точки зрения содержания, но абсолютно правильного лингвистически:

(39) *И все же Норвегия – это лососина* [Рецепты национальных кухонь: Скандинавская кухня (2000–2005)];
(39а) *И все же лососина – это Норвегия.*

Что касается *вот*-идентификаций, то это высказывания с двумя ремами – первая именная группа является ремой, вводящей некоторый объект (в устной речи этому соответствует акт введения реального внеречевого объекта в зону внимания слушающего), *вот* является речевой квази-ремой, вводящей этот внеречевой объект в высказывание, а вторая именная группа – темой (это категория, имя, примером которых выступает объект, введенный первой ремой). В связи с такой структурой фразы первая и вторая именные группы в *вот*-идентификациях должны быть разного уровня абстракции (первая именная группа – менее абстрактная, чем вторая), и, кроме того, рема должна всегда предшествовать теме, поскольку именно это предшествование вводит в поле внимания слушающего то понятие, которое будет далее идентифицировано с помощью *вот*.

Вследствие этих двух причин именные группы в *вот*-идентификациях не могут меняться местами:

(37б) *Пробки – вот беда большого города* vs. **Беда большого города – вот пробки.*

Кроме того, в случае если обе именные группы являются конкретными именами (т.е. различия в степени абстрактности между ними нет), мы имеем дело с бессмысленными высказываниями:

(39б) **И все же Норвегия – вот лососина.* **И все же лососина – вот Норвегия.* –

здесь Норвегия трактуется как конкретный пример лососины, или, наоборот, лососина – как конкретный пример Норвегии.

Посмотрим, отражается ли на нашем материале описанное различие между идентификацией с помощью *это* и идентификацией с помощью *вот* (табл. 13).

Таблица 13

Орган указания \ Дейксис	*вот*	*это*	Δ_N	Δ_E
УП	51	74	–0,18	–0,18
ОЛ	125	105	0,09	0,10
$\chi^2 = 5{,}94$ $p \leq .025$; параметры связаны, распределения достоверны				
Орган указания \ Дейксис	***вот***	***это***	**Δ_N**	**Δ_E**
вверх	94	82	0,07	0,08
вертикально	58	70	–0,09	–0,09
вниз	24	27	–0,06	–0,05
$\chi^2 = 2{,}09$ параметры не связаны, распределения недостоверны				

Как видим, ориентация ладони никак не связана с различием *вот*- и *это*-идентификаций. Что касается органа указания, то мы можем видеть предпочтение указания ОЛ в случае *вот*-идентификации и указания УП в случае *это*-идентификации.

Различие между разными типами жестосопровождения *вот*- и *это*-идентификаций, как видим, не слишком контрастное – вес параметра |0,28|. Такая слабая контрастность при очевидной достоверности распределений вызвана, с нашей точки зрения, тем, что в случае *вот*- и *это*-идентификаций на выбор жеста влияют два фактора, ориентированных противоположным образом.

С одной стороны, в случае *это*-идентификаций мы имеем дело с ситуацией, когда объект указания не определен (в случае вопроса *Что это?*) или определяется самим фактом произнесения *это*-идентификации (*Это X*). Напротив, в *вот*-идентификациях объектом указания является вполне определенный внеречевой объект (предмет или ситуация), который приводится в качестве примера того или иного класса объектов. Следовательно, здесь действует описанный выше фактор (не)определенности, который в *это*-идентификациях требует указания ОЛ, а в *вот*-идентификациях – указания УП.

С другой стороны, в случае *это*-идентификации объектом указания является некоторое точечное, не имеющее объема и не развивающееся во времени понятие *это*, а в *вот*-идентификациях объект указания – это реальный внеречевой объект, расположенный в трех измерениях и (в случае, если это ситуация) развивающийся во времени. Следовательно, здесь на выбор указательного жеста влияет противопоставление понятийного объекта-точки (требует указания УП) и четырехмерного (три пространственных измерения и одно временное) реального объекта (требует указания ОЛ).

Судя по нашим данным, определяющим в данном случае является второй фактор, но влияние первого фактора достаточно сильно, чтобы существенно понизить контрастность жестикуляционного противопоставления двух типов идентификаций.

В принципе, описанное выше противопоставление *вот-* и *это*-идентификаций вообще можно было бы не рассматривать как недостаточно показательное, однако именно это противопоставление играет большую роль в случае автодейксиса, т.е. в ситуации, когда говорящий указывает на самого себя (см. [Гришина 2012б]), поэтому мы сочли необходимым привести в этой статье соответствующие данные.

2.2.6. Зависимость структуры указательного жеста от размера объекта

Проанализируем зависимость структуры указательного жеста от **размера объекта**. Будем рассматривать только крайние точки противопоставления: мелкий объект (40) vs. крупный объект (41).

(40)

Речевой ряд	*Пуговицы как не было, так и нет.*	*Вон уже вторая на ниточке болтается.*
Жестовый ряд		УП+ладонь вертикально

Т. Берсзанцева и др. Старомодная комедия, 1978

(41)

Речевой ряд	*Это моя дача!*
Жестовый ряд	ОЛ+ладонь вертикально

Э. Рязанов, Э. Брагинский. Берегись автомобиля, 1966

Распределения имеют следующий вид (табл. 14).

Таблица 14

Орган \ Размер объекта	мелкий	крупный	Δ_N	Δ_E
УП	62	23	0,46	0,13
ОЛ	16	16	0,00	–0,33
$\chi^2 = 5{,}5$ $p \leq .019$; параметры связаны, распределения достоверны				
Ориентация ладони \ **Размер объекта**	**мелкий**	**крупный**	Δ_N	Δ_E
вверх	17	12	0,17	–0,16
вертикально	36	10	0,57	0,23
вниз	25	17	0,19	–0,14
$\chi^2 = 4{,}6$, параметры не связаны, распределения недостоверны				

Как видим, выбор органа, которым осуществляется указательный жест, зависит от размера объекта. Для указания на мелкие предметы предпочтительно указание пальцем, кончик которого символизирует точку, к которой приравнен мелкий объект (схема «точка»); для указания на крупные объекты предпочтительно указание открытой ладонью – по тому же принципу, по которому открытая ладонь выбирается для указания на

ситуацию, а не на объект. Таким образом, мелкий объект трактуется как точка, а крупный – как тело, имеющее объем. Достоверность этой связи несколько ниже, чем достоверность большинства предшествующих распределений, однако контрастность распределений вполне показательна (|0,46|). С ориентацией ладони, согласно нашим данным, размер объекта указания никак не связан.

В заключение раздела отметим, что нами была проанализирована связь указательного жеста с вертикальным **расположением объекта** относительно говорящего (*вровень*, *выше*, *ниже*). Нам не удалось заметить никакой достоверной связи между конфигурацией указательного жеста и расположением объекта на вертикальной оси.

2.3. Прагматические факторы

2.3.1. Контрастное / нейтральное указание

Близким к значению (не)определенности являются значения контрастного и нейтрального указания. Определенность данного референта вычленяет его из некоторого предметного или событийного континуума, а неопределенность предполагает его принадлежность континууму. А если референт уже определен, то он может быть выделен еще больше, если его поместить в контрастный контекст ('не X, а Y').

В связи с вышесказанным следует ожидать, что речевые дейксисы в контрастных контекстах с большей частотой будут сопровождаться указанием УП, а дейксисы в нейтральных контекстах – указанием ОЛ (в работе [Kendon, Versante 2003] эта закономерность описывалась более общим утверждением – указание УП сопровождает объект указания, который является центральным топиком фразы).

Контрастными контекстами для указательных слов мы будем считать следующие:
- изолированные указания (*Этот. Там. Вот.*); изолированным также считается указание, расположение не только внутри границ реплики или между межфразовыми паузами, но и между внутрифразовыми паузами (*Да, конечно, **вон**, за углом*);
- указательные слова, подпадающие под эмфатическое выделение (***Это** еще что?*, ***Этот** чемодан, что ли?*);
- указательные слова, включенные в контрастные конструкции с частицами *а*, *вот* и *-то* (*а вон*, *а этот*, *это вот*, *вот там*, *этот-то*, *здесь-то*)[32].

Все остальные контексты мы считаем нейтральными.

Вполне ожидаемым образом наш материал показывает, что наиболее стандартными являются сочетания указания УП с контрастными контекстами (пример (42)) и указания ОЛ – с нейтральными контекстами (пример (43)).

(42)

Речевой ряд	*А вот в том доме*	*когда-то Пушкин жил.*
Жестовый ряд	указание УП, ориентация ладони вниз	

Г. Данелия, Г. Шпаликов. Я шагаю по Москве, 1963

---

[32] Из дальнейшего анализа контрастных контекстов выведены данные по указательной частице *вот*. Это связано с тем, что в нейтральном (= безударном) употреблении эта частица примыкает к последующему или предшествующему слову (см. подробнее [Гришина 2008]), и, следовательно, мы не можем судить, к чему именно в такого рода сочетаниях относится указательный жест – к безударной частице *вот* или к слову, к которому она примыкает (в частности, в дальнейшем мы считаем, что в конструкциях двойного дейксиса типа *вот там вот*, *вот здесь*, *вот этот вот*, *вот это вот* указательный жест, если он есть, сопровождает не частицу *вот*, а основной ударный смысловой дейксис *там*, *здесь*, *этот*, *это* и т. п.). В результате в нашем материале все случаи жестикуляционного сопровождения частицы *вот* являются ударными и контрастными.

(43)

Речевой ряд	*Ну что,*	*опять э т о т и д и о т*	*летать хочет, композитор!*
Жестовый ряд		указание ОЛ, вертикальная ориентация ладони	

Ю. Мамин, В. Вардунас. Фонтан, 1988

Количественные распределения соответствующих жестов и контекстов показаны в табл. 15.

Таблица 15

Контрастность / Орган	контрастные контексты	нейтральные контексты	Δ_N	Δ_E
УП	321	211	0,21	0,23
ОЛ	165	300	–0,29	-0,27
$\chi^2 = 61{,}3$ $p \leq .001$; парамстры связаны, распрсдсления достоверны				

Как видим, контрастные контексты отчетливо тяготеют к указанию пальцем, а нейтральные контексты – к указанию открытой ладонью.

Обратим внимание на то, что дистанция между экстраполированными дельтами в табл. 15 (|0,5|) заметно меньше, чем дистанция между экстраполированными дельтами в табл. 5 (|1,73|), т.е. распределение указательных жестов (УП vs. ОЛ) в соответствии с опрсделенностью / нсопределенностью именной группы более выражено, чсм распределение указательных жестов в соответствии с контрастной / нейтральной именной группой. Это связано с тем, что указательные местоимения и местоимснные наречия, жестикуляционное сопровождение которых является предметом нашего исследования, все являются определенными. Таким образом, противопоставление контрастных и нсйтральных употрсблений местоимений является противопоставлением в п р е д е л а х з о н ы о п р е д е л с н н о с т и. Представляется, что имснно это уменьшаст контраст между дельтой, соответствующей УП, и дельтой, соответствующей ОЛ.

Чтобы быть последовательными, далее нам следует определить, связано ли с параметром контрастности распределение указательных жестов уже не по параметру ‘орган’, а по параметру ‘ориентация ладони’. Результат (табл. 16) оказывается достаточно неожиданным.

Таблица 16

Контрастность / Ориентация ладони	контрастные контексты	нейтральные контексты	Δ_N	Δ_E
вверх	104	220	–0,36	–0,33
вертикально	185	185	0,00	0,03
вниз	197	106	0,30	0,33
$\chi^2 = 68{,}3$ $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				

Таблица 8 демонстрирует:

1) в отличие от параметров ‘(не)определенность’ (см. табл. 6), парамстры ‘контрастное’ / ‘нейтральное’ связаны с ориентацией ладони;
2) вертикальная ориентация ладони «нечувствительна» к разнице между контрастными и нейтральными контекстами и с равной вероятностью может встретиться как в одном, так и в другом типе конструкций (дельта практически равна нулю);
3) указательные жесты, в которых ладонь ориентирована вверх, тяготеют к нейтральным контекстам;

4) указательные жесты с ладонью, обращенной вниз, тяготеют к контрастным контекстам.

Если указание на объект, выделенный из нерасчлененного континуума с помощью пальца, достаточно легко объясняется внутренней формой указания УП (отмеченным, выделенным положением кончика указательного пальца, который иконически отображает выделенный контрастной конструкцией объект указания, схема «точка»), то связь с контрастным указанием ориентации ладони уже не столь очевидна.

Обратим внимание на то, что понятие контрастного выделения, эмфазы в широком смысле, имеет в качестве обязательного прагматический компонент: контрастно выделяя тот или иной элемент в высказывании, говорящий предполагает привлечь к нему внимание слушающего. Как мы уже писали выше, жесты, включающие в себя компонент 'ладонь вниз' и обращенные к лицу, а не направленные на предмет, передают значение 'заставить', 'потребовать'. Эти значения легко сочетаются с контрастными контекстами: используя последние, говорящий пытается заставить адресата обратить внимание на соответствующий дейксис. Если это так, то тяготение ориентации ладони вниз к контрастным контекстам становится вполне объяснимым.

Таким образом, если контрастные указания привязаны к ориентации ладони вниз, то в распоряжении нейтральных указаний остаются две возможности: вертикальная ориентация ладони и ориентация ладони вверх. Как мы уже неоднократно упоминали, вертикальная ориентация ладони не имеет самостоятельного значения и с семиотической точки зрения фактически не существует. Поэтому если говорящий хочет сохранить (или подчеркнуть) противопоставление контрастного и нейтрального контекста, то он должен выбрать в качестве второго члена противопоставления не отсутствие признака, а признак с иным значением. Именно этим, по-видимому, объясняется предпочтение ориентации ладони вверх в нейтральных контекстах.

Что касается вертикальной ориентации ладони, поскольку она не имеет самостоятельного значения, то, соответственно, на фоне вертикальной ладони с равной долей вероятности может быть выбрано как указание пальцем, так и указание ладонью, что и приводит к нулевому значению соответствующей дельты.

2.3.2. Указательные жесты и типы речевых актов

Предшествующий раздел подготовил нас к тому, что указательный жест может быть каким-то образом связан с тем типом речевого акта, который он сопровождает. Про-

Таблица 17

Орган / Тип речевого акта	УП	ОЛ	Δ_N	Δ_E
вопрос	98	94	0,02	0,09
утверждение	388	461	–0,09	–0,02
$\chi^2 = 1{,}8$; параметры не связаны, распределения недостоверны				
Орган / Тип речевого акта	**УП**	**ОЛ**	Δ_N	Δ_E
императив	97	34	0,48	0,49
утверждение	388	461	–0,09	–0,08
$\chi^2 = 36{,}5$ $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				
Орган / Тип речевого акта	**УП**	**ОЛ**	Δ_N	Δ_E
вопрос	98	94	0,02	–0,19
императив	97	34	0,48	0,27
$\chi^2 = 17{,}2$ $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				

верим это предположение. Разделим все имеющиеся в нашем распоряжении высказывания, которые сопровождаются указательными жестами, на три основные группы – утверждения, вопросы и императивы. Проверим сначала соотношение указательных жестов с тем или иным типом речевого акта с точки зрения выбранного говорящим органа указания (см. табл. 17).

Таблица 17 свидетельствует о том, что вопросы и утверждения ведут себя одинаково по отношению к органу указания: этот параметр не значим для их различения. Что касается императивов, то они предпочитают указание пальцем и по сравнению с утверждениями, и по сравнению с вопросами. Таким образом, указание пальцем является отчетливо императивным указательным жестом; что касается вопросов и утверждений, то в них выбор органа указания происходит не под влиянием типа иллокуции, а под влиянием каких-то иных факторов, не имеющих отношения к общепрагматической характеристике высказывания.

Данные по типам речевых актов и выбору ориентации ладони в указательном жесте хорошо видны из табл. 18.

Таблица 18

Тип речевого акта / **Ориентация ладони**	**утверждение**	**вопрос**	Δ_N	Δ_E
вверх	320	76	0,62	–0,01
вертикально	307	74	0,61	–0,02
вниз	222	42	0,68	0,05
$\chi^2 = 1{,}5$; параметры не связаны, распределения недостоверны				

Тип речевого акта / **Ориентация ладони**	**утверждение**	**императив**	Δ_N	Δ_E
вверх	320	21	0,88	0,14
вертикально	307	47	0,73	0,00
вниз	222	63	0,56	0,17
$\chi^2 = 34{,}1$; $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				

Тип речевого акта / **Ориентация ладони**	**вопрос**	**императив**	Δ_N	Δ_E
вверх	76	21	0,57	0,38
вертикально	74	47	0,22	0,03
вниз	42	63	–0,20	–0,39
$\chi^2 = 31$; $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				

Таблица 18 показывает, во-первых, что вертикальная ориентация ладони не связана с типом речевого акта – во всех трех распределениях экстраполированная дельта имеет практически нулевое значение. Во-вторых, вопросы и утверждения в отношении выбора ориентации ладони ведут себя одинаково: ориентация ладони в вопросах и утверждениях определяется не типом речевого акта, а какими-то иными, внешними параметрами. Напротив, императив показывает контрастное поведение и на фоне вопросов, и на фоне утверждений, причем характер этого контраста один и тот же в обоих случаях.

Таким образом, можно подытожить, что для императива, по сравнению с вопросами и утверждениями, характерны указания УП и ориентация ладони вниз; напротив, для вопросов и утверждений, по сравнению с императивами, характерны указания открытой ладонью, ориентированной вверх.

В заключение этого раздела обратим внимание на то, что, согласно нашему исследованию, ориентация ладони вниз в составе жеста передает две существенно разные идеи – идею территории, располагающейся под обращенной к земле ладонью, и идею жесткой императивности (что отражается в предпочтении ориентации ладони вниз в императивах и в контрастных контекстах). На первый взгляд кажется, что это чисто умственное построение, вызванное необходимостью как-то объяснить полученные статистические данные. Однако, как представляется, есть и объективные свидетельства того, что у ориентации ладони вниз есть два типа значений – топологическое, «территория» (или «расстояние»), и прагматическое («императив»).

До сих пор мы не обсуждали, как влияет взаимное расположение собеседников в пространстве на осуществление указательных жестов. Это отдельная большая тема, которую мы можем затронуть здесь только вскользь. Будем различать исходное, или базовое, расположение тел участников диалога, когда они расположены параллельно друг другу, перпендикулярно земле, а указательный жест осуществляется под более или менее прямым углом к телу говорящего (рис. 18).



Рис. 18[33]

Поскольку, как мы уже установили выше, структура указательного жеста равнодушна к расположению объекта указания по вертикальной оси, указательный жест УП + ‘ладонь вниз’ вполне может быть направлен под ноги говорящему (см. рис. 19).



Рис. 19[34]

[33] Х. Бидструп, фрагмент миниатюры «Спасение утопающих».
[34] Х. Бидструп, фрагмент миниатюры «Брызги».

Указание на рис. 19 может быть как императивным, так и, например, просто утвердительным. В первом случае мы можем считать, что ориентация ладони вниз передает значение императивности, а во втором – значение территории, расположенной под ногами у говорящего. Материал показывает, что имеется сильная тенденция различать императивное и утвердительное указание в этом случае с помощью двух разных конфигураций указующей руки. В первом случае, т.е. в случае императива, рука будет сохранять привычную нам конфигурацию УП + 'ладонь вниз', но направлена она будет не перпендикулярно телу говорящего, а вниз, при этом ладонь будет обращена не к земной поверхности, а к телу говорящего; см. примеры (44)–(45):

(44)

Речевой ряд	*Ну так что ж мы стоим? Отец Фома, ну-ка скоро ее сюда, скорее ветра!*	*Одна нога здесь*	*другая там!*
Жестовый ряд		императивное указание вниз, см. рис. 19	

П. Лунгин, Ю. Арабов. Дело о мертвых душах, 2005

(45)

Речевой ряд	*А докажите! – Где?*	*– А здесь, сейчас!*
Жестовый ряд		императивное указание вниз, см. рис. 19

Т. Берсзанцева и др. Старомодная комедия, 1978

Во втором случае, т.е. в утвердительном высказывании, рука принимает совершенно другую форму: ладонь остается параллельной земле, а палец направляется вниз, оказываясь перпендикулярным ладони (рис. 20, пример (46)):



Рис. 20

(46)

Речевой ряд	*Товарищ господин начальник, я не хочу.*	*Я хочу здесь.*	*Не надо посылать меня на этот, на хаус.*
Жестовый ряд		утвердительное указание вниз, см. рис. 20	

А. Сурикова, В. Еремин. Хочу в тюрьму!, 1998

Таким образом, можно предположительно утверждать, что в случае, если ладонь обозначает не императивность, а территорию, расположенную под ладонью, т.е. имеет значение 'территория', 'расстояние', 'дистанция', она имеет а б с о л ю т н у ю ориентацию, т.е. зависит не от взаимного расположения говорящего, слушающего и объекта указания, но всегда ориентирована параллельно земле как абсолютному мерилу отсчета. В случае же, если ладонь, обращенная вниз, выражает императивность, ее ориентация именно вниз свойственна только исходному, базовому расположению собеседников и указующей руки (см. рис. 18). Если расположение отклоняется от базового, собеседники автоматически «пересчитывают» свое реальное расположение, приводя его мысленно к исходному (см. рис. 21), и только в таком исходном положении собеседников,

полученном в результате мысленного пересчета, «императивная» ладонь имеет ориентацию вниз. В реальной же ситуации общения (до пересчета) императивная ладонь не обязательно расположена горизонтально.

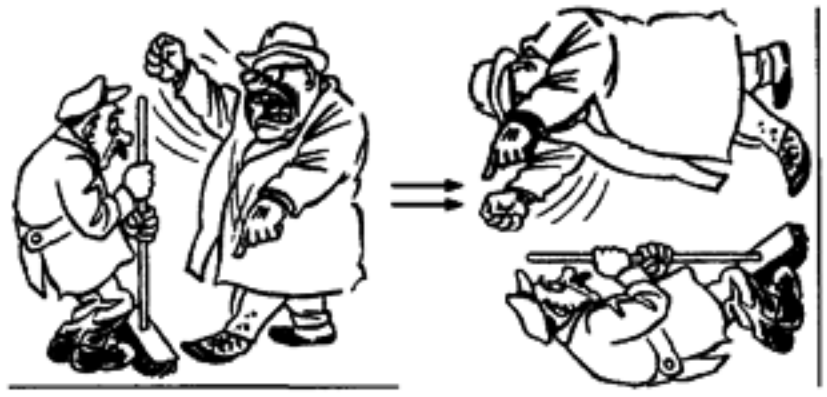


Рис. 21

Таким образом, мы полагаем, что описанное выше различие между указательными жестами на рис. 18 и 19 объясняется тем, что в значении ‘территория’, ‘расстояние’ ладонь ориентирована относительно земной поверхности, которая является одним из незыблемых мерил отсчета в бытовой коммуникации, а в значении жесткого императива ладонь ориентирована на базовое расположение собеседника относительно говорящего, т.е. имеет относительную ориентацию. Разные конфигурации указующей руки в этих двух случаях отражают различие между абсолютной и относительной (коммуникативной, прагматической) ориентацией ладони.

2.4. Социологические факторы

В работе [Крейдлин 2007: 325] утверждается, что «совершаемые на близком <…> расстоянии <…> указательные жесты пальцами оцениваются как несанкционированное и негативное (грубое и авторитарное) проникновение в личную сферу и во всех известных нам культурах осуждаются». Это утверждение заставляет нас предполагать, что влияние на выбор конфигурации указующей руки могут оказывать и социологические факторы. Первоначально мы ставили вопрос следующим образом: зависит ли конфигурация указательного жеста от того, на кого направлен жест – на лицо или на неодушевленный предмет (ситуацию и т.п.). Априори мы полагали, что указание на лицо должно давать иные статистические распределения, чем указание на неодушевленный объект. Данные можно увидеть в табл. 19.

Таблица 19

Одушевленность объекта / Орган	**неодушевленный**	**одушевленный**	Δ_N	Δ_E
ОЛ	268	143	0,30	–0,04
УП	261	113	0,40	0,05
$\chi^2 = 1{,}9$; параметры не связаны, распределения недостоверны				
Одушевленность объекта / Орган	**неодушевленный**	**одушевленный**	Δ_N	Δ_E
вверх	198	102	0,32	–0,03
вертикально	199	106	0,30	–0,04
вниз	132	48	0,47	0,12
$\chi^2 = 3{,}8$; параметры не связаны, распределения недостоверны				

Как видим, все распределения недостоверны. Следовательно, можно утверждать, что параметр 'одушевленность объекта указания' и конфигурация указательного жеста не связаны между собой.

Поставим, однако, вопрос по-другому: имеет ли влияние на конфигурацию указания тот факт, что объект указания является лицом, и это лицо видит, что на него направлен указательный жест. При такой постановке вопроса данные распределяются следующим образом (табл. 20).

Таблица 20

Осведомленность / Орган	объект указания видит указательный жест	объект указания не видит указательного жеста	Δ_N	Δ_E
ОЛ	90	53	0,26	0,25
УП	38	74	–0,32	–0,33
$\chi^2 = 21{,}1$; $p \leq .001$; параметры связаны, распределения достоверны				
Осведомленность / Орган	**объект указания видит указательный жест**	**объект указания не видит указательного жеста**	**Δ_N**	**Δ_E**
вверх	62	40	0,22	0,21
вертикально	50	55	0,05	–0,05
вниз	16	32	–0,33	–0,34
$\chi^2 = 10{,}3$; $p \leq .005$; параметры связаны, распределения достоверны				

Как видим, картина уже совершенно иная: в случае, если лицо – объект указания видит, что на него обращен указательный жест, говорящий предпочитает указывать на это лицо открытой ладонью, обращенной вверх. В случае же, если лицо – объект указания не видит направленного на него жеста (или, точнее, говорящий полагает, что объект указания не видит, что на него указывают), говорящий предпочитает указание УП + 'ладонь вниз'.

Тот факт, что говорящий выбирает при указании на лицо между открытой ладонью, обращенной вверх (объект указания видит указательный жест), и указательным пальцем в сочетании с ладонью, обращенной вниз, является чрезвычайно интересным. Ведь если бы в качестве социально осуждаемого жеста выступало только указание пальцем, то говорящему было бы все равно, какую ориентацию ладони выбирать, что приводило бы, как мы уже знаем из предшествующего изложения, к росту указаний пальцем в сочетании с вертикально ориентированной ладонью, а экстраполированная дельта, характеризующая распределение жестов с вертикальной ориентацией ладони, должна была бы отклоняться от нуля. Однако ничего похожего не происходит: вертикальная ориентация ладони характеризуется уже привычной для нас нулевой дельтой, а значит, равной вероятностью выбора между указанием пальцем и рукой.

Таким образом, тот факт, что указание пальцем осознанно осуждается обществом, а ориентация ладони вниз избегается на подсознательном уровне (ребенка учат не показывать пальцем, но ничего не говорят при этом об ориентации ладони), говорит о том, что оба этих жестикуляционных компонента передают одну и ту же идею (по-ви-

димому, идею жесткой императивности), однако один компонент является общественно осознанным (указание пальцем), а второй отвергается бессознательно[35].

Отметим также, что нам не удалось обнаружить никаких значимых связей между **полом говорящего** и типом выбираемого им указательного жеста.

3. КОМПОНЕНТЫ ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬНОГО ЖЕСТА

Итак, по результатам рассмотрения нашего материала мы можем сделать некоторые выводы, главным из которых является утверждение, что комбинации органа указания и ориентации ладони представляют собой не единый жест, а вертикальные лигатуры, т.е. орган указания и ориентация ладони являются самостоятельными жестикуляционными морфемами, которые могут соединяться для осуществления акта указания. Для того, чтобы такое соединение органа и ориентации ладони осуществилось, орган и ориентация ладони должны иметь некоторые совпадающие семантические компоненты (см. табл. 21).

Таблица 21

Схема	Значение	Орган указания	Ориентация ладони
«точка»	определенность vs. неопределенность	указательный палец vs. открытая ладонь	нерелевантно
	единичность vs. множественность		
	мелкий vs. крупный объект		
	идентификация *Это X* vs. *Вот X*		
«отрезок»	дальнее vs. близкое расстояние	указательный палец vs. открытая ладонь	ладонь вниз vs. вверх
«вектор»	контраст vs. нейтральность		
	императив vs. вопрос или утверждение		
«точка» + «вектор»	объект vs. ситуация при первичном вводе в зону внимания слушающего (частицы *вон*, *вот*)		

Так, для схемы «точка», т.е. для тех случаев, когда значимым для указательного жеста является только кончик указательного пальца (значение (не)определенности, единичности / множественности, типа идентификации и размера объекта указания), ориентация ладони не имеет никаких сопоставимых семантических компонентов. В результате указание пальцем или ладонью (в соответствии с определенностью или неопределенностью объекта указания, его единичностью или множественностью, *это-* или *вот-*идентификацией, маленьким или большим размером) никак не связывается с той или иной ориентацией ладони, и ориентация ладони выбирается говорящим в результате действия каких-то посторонних факторов.

Напротив, при схемах «отрезок» и «вектор» ориентация ладони включает смысловые компоненты, которые хорошо согласуются с компонентами значения, имеющимися у органа указания:

---

[35] Аналогичная ситуация складывается с запретами на некоторые ударения. Например, трансформации *варИшь* → *вАришь* и *звонИшь* → *звОнишь* представляют собой результат одного и того же акцентологического и семантического процесса в развитии русской акцентологической системы последних двух веков, однако ударение *звОнишь* является социально неприемлемым, а ударение *вАришь* – единственно возможным.

а) идея ‘протяженности’, которая передается длиной указательного пальца (схема «отрезок»), хорошо коррелирует с идеей пространства, территории, которая передается ладонью, ориентированной вниз; с другой стороны, отсутствие расстояния (= близость) между объектом и субъектом указания, передаваемое указанием открытой ладонью, хорошо согласуется с размещением объекта указания на развернутой вверх ладони, т.е. на расстоянии, не превышающем длину человеческой руки (= близко к субъекту указания);

б) идея ‘жесткой императивности’, которая передается колющим движением указательного пальца (схема «вектор») и используется для привлечения внимания в контрастных контекстах или в императивных высказываниях, хорошо коррелирует с идеей подавления, требования, которая передается ладонью, ориентированной вниз; напротив, отсутствие императивности, свойственное нейтральным контекстам, вопросам и утверждениям, хорошо сочетается с просящей, приглашающей или аргументирующей ладонью, развернутой вверх.

Сказанное объясняет, почему столь редко встречается в русской жестикуляции указание пальцем в сочетании с ориентацией ладони вверх. Такая конфигурация указующей руки представляет собой оксюморон, поскольку является вертикальной лигатурой, в которой составляющие ее жестикуляционные морфемы не только не поддерживают друг друга, но и строго друг другу антонимичны. Для использования указания такой конфигурации говорящий должен иметь намерение подчеркнуть какой-то из компонентов жеста в ущерб остальным. Так, в примере (47) указательный палец показывает на убегающих из детдома детей, а повернутая вверх ладонь подчеркивает тот факт, что сопровождающая фраза является аргументом, обращенным к воспитательнице (*детей остановить нельзя*).

(47)

Речевой ряд	*Да разве такую ораву удержишь? Их ведь*	*вон сколько!*
Жестовый ряд		указание УП+‘ладонь вверх’

В. Бычков и др. Достояние Республики, 1971

В примере (48) ладонь, повернутая вверх, подчеркивает, что говорящий осуществляет речевой акт просьбы.

(48)

Речевой ряд	*– Руку дай мне. – Зачем? – Ну дай мне руку. Вот эту.*	*Теперь вот эту.*
Жестовый ряд		указание УП+‘ладонь вверх’

О. Бычкова, Н. Гринштейн. Питер FM, 2006

И, наконец, пример (49) иллюстрирует чрезвычайно интересный случай использования такой оксюморонной конфигурации руки.

(49)

Речевой ряд	*Только сеньорита, обещайте мне уступить все права*	*вот на этого красавчика, а?*
Жестовый ряд		указание УП+‘ладонь вверх’

М. Григорьев (Гутгарц), Р. Шеридан. Дуэнья, 1978

В этом эпизоде указательный жест направлен на близко расположенный портрет и сопровождает просьбу, поэтому наиболее естественной конфигурацией руки здесь было бы указание открытой и обращенной вверх ладонью. Однако говорящая заменяет в этом жесте указание открытой ладонью на указание пальцем и тем самым удлиняет расстояние между собой и объектом указания (поскольку указательный палец, как мы помним, указывает не на близкий, а на удаленный объект). С помощью такой замены в жест вносится оттенок пренебрежения, недовольства, дистанцирования от объекта указания. Это достаточно частый способ внести оттенок пренебрежения в указательный жест (если можно говорить о частотности в отношении достаточно редкого жеста).

Второе утверждение, которое мы можем сделать достаточно уверенно, заключается в том, что орган указания для семантики указательного жеста имеет определяющее значение, а ориентация ладони – дополнительное, поддерживающее. Иными словами, как это ни банально звучит, но указание осуществляется органом указания, а ориентация ладони подчеркивает те или иные смысловые или прагматические элементы указания. В случае, если говорящий не собирается подчеркивать какие бы то ни было смысловые оттенки дейксиса (контраст, расстояние, тип иллокуции и т. п.), он выбирает нейтральную, вертикальную ориентацию ладони, которая специально предусмотрена для чистого указательного жеста, без сопутствующих смысловых обертонов.

И наконец, чем более субъективный характер имеет фактор, влияющий на конфигурацию указательного жеста, тем сильнее оказываемое этим фактором влияние, т.е. чем более субъективным является данный фактор, тем достовернее и сильнее он связан со структурой указательного жеста. Наименее достоверным образом влияют на жестикуляцию единичность / множественность (см. табл. 12) и размер объекта (см. табл. 14), вообще не влияют на структуру указательного жеста его расположение по вертикальной оси и одушевленность объекта указания (при этом восприятие расположения объекта как близкого / удаленного, вне зависимости от его реального физического расположения, и представление о степени осведомленности лица – объекта указания о том, что оно является объектом указания, вполне достоверно влияют на выбор указательного жеста).

Из этого, по-видимому, следует, что указательный жест является в высшей степени абстрактным знаком, связанным в первую очередь с представлениями говорящего об объекте указания, и лишь во-вторых – с объективными свойствами объекта указания, и выбор структуры указательного жеста производится прежде всего под влиянием представлений говорящего о расположении объекта указания относительно говорящего и слушающего, о категориальных и референциальных свойствах объекта указания и о том, какой тип речевого акта говорящий намерен осуществить.

Исключением является указание открытой ладонью, ориентированной вниз, которое указывает на плоскость, расположенную под ладонью (или на объект, расположенный на такой плоскости), а следовательно, зависит и от формы, и от расположения объекта указания. Именно этой конкретностью указательного жеста такой конфигурации объясняется его относительная редкость. Как самостоятельный жест указание открытой ладонью вниз привязано к физическим свойствам объекта и не может быть отвлечено от него. Но при этом в качестве компонента жеста УП+‘ладонь вниз’ эта ориентация ладони приобретает вполне абстрактное значение и регулярно передает значения ‘протяженности’ и ‘императива’.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что данная статья написана на материале, в котором дейктическое значение передавалось одновременно и речевым, и жестикуляционным дейксисом. Однако выявленные закономерности позволяют толковать жестикуляционный дейксис и в том случае, если он не сопровождается речевым дейксисом.

В качестве инструмента толкования может быть использована табл. 22, в которой каждому компоненту указательного жеста поставлен в соответствие некоторый набор возможных значений.

Вертикально ориентированная открытая ладонь не имеет никаких специфических свойств и является в русской жестикуляционной системе наиболее нейтральным (нулевым, немаркированным) указательным жестом, который осуществляет собственно указание и никак не характеризует ни объект указания, ни прагматические намерения говорящего. Табл. 22 позволяет сформировать набор наиболее вероятных значений и для основных лигатур (т.е. комбинаций органа указания и ориентации ладони), см. табл. 23.

Таблица 22

	Указательный палец	**Открытая ладонь**
Орган указания	определенный объект	неопределенный объект
	объект, а не ситуация	ситуация, а не объект
	объект расположен далеко	объект расположен близко
	объект единичен	объект – множество
	идентификация типа *Это X, Что это?*	идентификация типа *Вот X*
	мелкий объект	крупный объект
	контрастное указание	неконтрастное (нейтральное) указание
	императив	вопрос или утверждение
	лицо – объект указания не видит, что на него указывают	лицо – объект указания видит, что на него указывают
Ориентация ладони	Ладонь вниз	Ладонь вверх
	объект расположен ниже говорящего	
	плоскость, расположенная ниже говорящего	
	объект, а не ситуация	ситуация, а не объект
	императив	вопрос или утверждение
	объект расположен далеко	объект расположен близко
	контрастное указание	неконтрастное (нейтральное) указание

Таблица 23

Лигатура	**Компонент значения**
указательный палец + ориентация ладони вниз 	императив контрастное указание мелкий объект лицо – объект указания не видит, что на него указывают определенный объект объект единичен идентификация типа *Это X, Что это?* объект расположен далеко объект, а не ситуация
открытая ладонь вверх 	вопрос, просьба, аргумент неконтрастное (нейтральное) указание крупный объект лицо – объект указания видит, что на него указывают неопределенный объект объект – множество идентификация типа *Вот X* объект расположен близко ситуация, а не объект

	лицо – объект указания не видит, что на него указывают	лицо – объект указания видит, что на него указывают

За рамками статьи осталось рассмотрение особенностей указания большим пальцем, а также анализ таких параметров, связанных со значением указательного жеста, как угол между рукой и телом говорящего при совершении указательного жеста, степень вытянутости руки (прямая – полусогнутая), степень сжатия пальцев под ладонью при указании пальцем. Однако основные параметры, влияющие на выбор указательного жеста, как представляется, нами рассмотрены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гольдин 1998 – *В.Е. Гольдин*. Заметки о частице «вот» // Лики языка. М., 1998.

Григорьева и др. 2001 – *С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, Г.Е Крейдлин*. Словарь языка русских жестов. М.; Вена. 2001.

Гришина 2008 – *Е.А. Гришина*. Частица *вот*: варианты, используемые в непринужденной речи // Инструментарий русистики: корпусные подходы (Slavica Helsingiensia 34). Хельсинки, 2008.

Гришина 2009 – *Е.А. Гришина*. Мультимедийный русский корпус (МУРКО): проблемы аннотации // Национальный корпус русского языка: 2006-2008. Новые результаты и перспективы. СПб., 2009.

Гришина 2011а – *Е.А. Гришина*. О мультимодальных кластерах в устной речи // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды междунар. конф. «Диалог 2011» (Бекасово, 25–29 мая 2011 г.). М., 2011.

Гришина 2011б – *Е.А. Гришина*. Закрытые глаза: жестикуляция, пунктуация, акцентуация // Филология. 2011. № 2.

Гришина 2011в – *Е.А. Гришина. Да* в русском устном диалоге // RLing. 2011. 35. № 2.

Гришина 2012а – *Е.А. Гришина. Здесь* и *тут*: корпусной и жестикуляционный анализ полных синонимов // Русск. яз. в науч. освещении. 2012. № 1(23).

Гришина 2012б – *Е.А. Гришина*. Автодейксис: основные типы и значения // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды междунар. конф. «Диалог 2012». М., 2012.

Крейдлин 2002 – *Г.Е. Крейдлин*. Невербальная семиотика. М., 2002.

Крейдлин 2005 – *Г.Е. Крейдлин*. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. М., 2005.

Крейдлин 2007 – *Г.Е. Крейдлин*. Механизмы взаимодействия вербальных и невербальных единиц в диалоге IIa. Дейктические жесты и их типы // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды междунар. конф. «Диалог 2007» (Бекасово, 30 мая – 3 июня 2007 г.). М., 2007.

Махов 2011 – *А.Е. Махов*. Средневековый образ: между теологией и риторикой. Опыт толкования визуальной демонологии. М., 2011.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru)

Bates 1987 – *E. Bates, B. O'Connell, C. Shore*. Language and communication in infancy // J.D. Osofsky (ed.). Handbook of infant competence. New York, 1987.

Bressem, Ladewig (forthcoming) – *J. Bressem, S. Ladewig* (eds.). Handmade patterns. Recurrent forms and functions of gestures. Amsterdam. Forthcoming.

Butterworth 1995 – *G.E. Butterworth*. Factors in visual attention eliciting manual pointing in human infancy // H.L. Roitblat, J.-A. Meyer (eds.). Comparative approaches to cognitive science. Cambridge (Mass.), 1995.

Butterworth 2003 – *G. Butterworth*. Pointing is the royal road to language for babies // S. Kita (ed.). Pointing: Where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.

Calbris 2008 – *G. Calbris*. From left to right... Coverbal gestures and their symbolic use of space // A. Cienki, C. Müller (eds.). Metaphor and gesture. Amsterdam, 2008.

Clark 2003 – *H.H. Clark*. Pointing and placing // S. Kita (ed.). Pointing: Where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.

Enfield 2001 – *N.J. Enfield*. 'Lip-pointing': A discussion of form and function with reference to data from Laos // Gesture. 2001. № 1(2).

Goldin-Meadow, Butcher 2003 – *S. Goldin-Meadow, C. Butcher*. Pointing toward two-word speech in young children // S. Kita (ed.). Pointing: where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.

Havil 2003 – *J.B. Havil*. How to point in Zinacantán // S. Kita (ed.). Pointing: where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.

Haviland 1993 – *J.B. Haviland.* Anchoring, iconicity, and orientation in Guugu Yimithirr pointing gestures // Journal of linguistic anthropology. 1993. № 3(1).
Kendon 1988 *A. Kendon.* Sign languages of Aboriginal Australia: Cultural, semiotic and communicative perspectives. Cambridge (Mass.), 1988.
Kendon 2004 *A. Kendon.* Gesture: visible action as utterance. Cambridge (Mass.), 2004.
Kendon, Versante 2003 – *A. Kendon, L. Versante.* Pointing by hand in «Neapolitan» // S. Kita (ed.). Pointing: where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.
Kita 2003 *S. Kita.* Pointing: A foundational building block of human communication // S. Kita (ed.). Pointing: where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.
Lock et al. 1990 *A. Lock, A. Young, V. Service, P. Chandler.* Some observations on the origins of the pointing gesture // V. Volterra, C.J. Erting (eds.). From gesture to language in hearing and deaf children. Berlin, 1990.
LREC 2008 – The 6th edition of the Language resources and evaluation conference. Marrakesh, 2008. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/
LREC 2010 – The 7th edition of the Language resources and evaluation conference. La Valletta, 2010. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/
LREC 2012 – The 8th edition of the Language resources and evaluation conference. Istambul, 2012. http://www.lrec-conf.org/lrec2012/
Masataka 2003 *N. Masataka.* From index-finger extension to index-finger pointing: Ontogenesis of pointing in preverbal infants // S. Kita (ed.). Pointing: Where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.
McNeill 2008 *D. McNeill.* Unexpected metaphors // A. Cienki, C. Müller (eds.). Metaphor and gesture. Amsterdam, 2008.
McNeill et al. 1993 – *D. McNeill, J. Cassell, E.T. Levy.* Abstract deixis // Semiotica. 1993. № 95.
Müller 2004 *C. Müller.* The Palm-Up-Open-Hand. A case of a gesture family? // C. Müller, R. Posner (eds.). The Semantics and pragmatics of everyday gesture. The Berlin conference. Berlin, 2004.
Müller 2008 – *C. Müller.* What gestures reveal about the nature of metaphor // A. Cienki, C. Müller (eds.). Metaphor and gesture. Amsterdam, 2008.
Petitto 1997 – *L.A. Petitto.* Ontogenesis of early pointing and language: Evidence from languages where gestures are linguistic // Paper presented at the Max Planck Institute workshop on pointing gestures. Oud-Turnhout, 1997.
Poggi et al. 2004 – *I. Poggi, F. Cirella, A. Zollo, A. Agostini.* The communicative system of touch. Alphabet, lexicon, and norms of use // Mind. 2004. V. 2915.
Povinelli et al. 2003 – *D.J. Povinelli, J.M. Bering, S. Giambrone.* Chimpanzees' «pointing»: Another error of the argument by analogy? // S. Kita (ed.). Pointing: Where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.
Povinelli, Davis 1994 – *D.J. Povinelli, D.R. Davis.* Differences between chimpanzees (*Pan troglodytes*) and humans (*Homo sapiens*) in the resting state of the index finger: Implications for pointing // Journal of comparative psychology. 1994. № 108.
Ruiter, Wilkins 1998 – *J.P.A. de Ruiter, D.P. Wilkins.* The synchronization of gesture and speech in Dutch and Arrernte // S. Santi, I. Guaïtella, C. Cavé, G. Konopczynski (eds.). Oralité et gestualité: Communication multimodale, interaction. Paris, 1998.
Saitz, Cervenka 1972 *R.L. Saitz, E.J. Cervenka.* Handbook of gestures: Colombia and the United States. The Hague, 1972.
Sherzer 1973 – *J. Sherzer.* Verbal and non-verbal deixis: The pointed lip gesture among the San Blas Cuna // Language in society. 1973. № 2(1).
Wilkins 2003 *D.P. Wilkins.* Why pointing with the index finger is not a universal (in sociocultural and semiotic terms) // S. Kita (ed.). Pointing: Where language, culture, and cognition meet. Mahwah (NJ), 2003.

Сведения об авторе:

Елена Александровна Гришина
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
rudi2007@yandex.ru

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2012

© 2012 г. В.В. ГЛЕБКИН

МЕТАФОРА МЕХАНИЗМА И ТЕОРИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ ЛАКОФФА – ДЖОНСОНА

В статье проведен анализ эволюции метафоры механизма в Античности и западном Средневековье. Показано, что такие метафоры, как «мир – это машина», «социум – это машина», «тело это машина», возникают в раннем Средневековье, т. е. задолго до того, как машины начинают играть заметную роль в социально-экономической жизни. Причиной их появления являются кардинальные трансформации в представлениях о мире и человеке, произошедшие при переходе от Античности к Средним векам. Полученные результаты предоставляют новые возможности для развития теории концептуальной метафоры в рамках культурно-исторической парадигмы.

ВВЕДЕНИЕ

Метафора механизма является системообразующей для западной культуры Нового времени, сохраняя свое значение в качестве одного из базовых элементов западной культурной модели до сих пор. Образы человека, общества, мира в целом как сложно организованной машины или конкретных типов машин в изобилии встречаются на страницах философских и политических трактатов (Гоббс, Декарт, Лейбниц, Руссо и др.)[1], наполняют художественные и публицистические тексты (см. об этом [Haken et al. (eds.) 1993; Cook 2007] и др.). Механистический вектор в восприятии мира и человека отчетливо прослеживается и в русской культуре начиная с середины XIX в. В качестве показательной иллюстрации можно привести тексты Л.Н. Толстого, мировоззрение которого, на первый взгляд, кажется антимеханистическим (одним из сквозных мотивов его творчества, как известно, было противопоставление органических форм естественной жизни, таких как семья и община, механической формализованности политических и культурных институтов). Тем не менее в его мировоззрении заметны отчетливые механистические черты. Так, в письме А.А. Толстой (18–20 октября 1857 г.), сопровождая свою модель несколькими весьма выразительными чертежами, он описывает устройство человеческого мозга как систему движимых пружинами ящиков, разделенных на две части коридором:

> Ящики могут выдвигаться по несколько с каждой стороны, оставляя проход в коридоре. Когда же, посредством хорошей погоды, лести, пищеваренья и т. п. пожата правая пружина, то все ящики сразу выскакивают, и весь коридор занимается ящиками правой стороны <…> и наоборот, когда дождик, дурной желудок, правда пожмут левую, тоже коридор весь загораживается… Кроме того, надо знать, что каждый ящик имеет пропасть подразделений. Подразделения зависят от человека. У одного делятся на придворные и не придворные; у другого на красивые и не красивые; у третьего на умные и глупые и т. д., и т. д., и т. д. У меня разделяются на воспоминания о хороших, очень хороших и серьезно хороших и людях ничего… Итак, сдучи верхом, пружина хорошего расположения пожалась, и ящики выскочили все. В том числе и ваш ящик. Потом ста-

[1] Характерным образцом, демонстрирующим тотальность механистической модели, являются первые строки «Левиафана» Гоббса [Гоббс 1991: 6].

ли убираться понемногу, а ваш ящик, бог знает по какому праву, выскочил весь, – стал поперек в коридоре и загородил всю дорогу [Толстой 1965: 172–173][2].

Другой показательный пример представляют собой тексты отечественного историка В.О. Ключевского, которого также трудно упрекнуть в излишнем механицизме. Тем не менее механистические метафоры весьма частотны в его текстах. Например:

На мировые события летописец смотрит самоуверенным взглядом мыслителя, для которого механика общежития не составляет загадки: ему ясны силы и пружины, движущие людскую жизнь [Ключевский 1987–1990, 1: 113];

Внук Донского попал в такое счастливое положение, не им созданное, а им только унаследованное, в котором цели и способы действия были достаточно выяснены, силы направлены, средства заготовлены, орудия приспособлены и установлены, – и машина могла уже работать автоматически, независимо от главного механика [Ключевский 1987–1990, 2: 46].

Многие европейские и отечественные философы в XX – начале XXI в. пишут о серьезной опасности, связанной с подобными механистическими установками, и видят в них одну из основных причин глубокого кризиса, в котором оказалась современная им культура; см. [Гуссерль 1994: 95–100; Хоркхаймер, Адорно 1997: 40–45; Гайденко 2003: 9–29].

Сказанного выше уже достаточно для того, чтобы отнестись к описанию эволюции и социокультурных оснований метафоры механизма с полной ответственностью и рассматривать эту проблему как актуальную не только для лингвистики, но и других смежных с ней дисциплин. Однако стоит обратить внимание на еще один аспект, методологически важный, на мой взгляд, уже для когнитивной лингвистики. Анализ социокультурной эволюции метафоры механизма показывает значимость социокультурной составляющей при создании когнитивных моделей метафоры. В данной работе предметом анализа в этом аспекте будет теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Хотя основные идеи Лакоффа и Джонсона хорошо известны и неоднократно обсуждались в отечественной литературе, имеет смысл кратко напомнить их, включив в обзор исследования, появившиеся в последнее время.

Наверное, не будет большим преувеличением утверждать, что теория концептуальной метафоры – одно из оснований и, можно сказать, один из прототипических образцов для современной когнитивной лингвистики[3]. Наряду с этим она вместе с работами Серла в философии и Гибсона в психологии считается фундаментом парадигмы укорененного в природном и социокультурном окружении познания (grounded cognition) для обретающей в последние годы все большую значимость; см. [Barsalou 2010: 717]. Некоторые авторы даже называют эту теорию интеллектуальной революцией; см. [Kövecses 2005: 9].

Хотя многие идеи, положенные в основу данной теории, выдвигались ранее и самим Лакоффом, и другими лингвистами, в систематическом виде она была впервые изложена в монографии [Lakoff, Johnson 1980] и затем развита в других работах этих

---

[2] Ср. фрагмент из «Войны и мира», где ньютонианская модель выступает в качестве обоснования тонких психологических переживаний: «*До половины дороги, как это всегда бывает, от Кременчуга до Киева, все мысли Ростова были еще назади – в эскадроне; но перевалившись за половину, он уже начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра Дожойвейку, и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он найдет в Отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее (как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону скорости падения тел в квадратах расстояний), он думал о своем доме; на последней перед Отрадным станции, дал ямщику три рубля на водку, и как мальчик задыхаясь вбежал на крыльцо дома*» (II, 4, 1), а также фрагмент из дневника Толстого: «*В глубокой старости обыкновенно думают и другие и часто сами старики, что они только доживают век. Напротив, в глубокой старости идет самая драгоценная, нужная жизнь и для себя, и для других. Ценность жизни обратно пропорциональна в квадратах расстояния от смерти. Хорошо бы было, если бы это понимали и сами старики, и окружающие их*» (18 февраля 1906 г.).

[3] В литературе по когнитивной лингвистике Лакофф упоминается как один из ее основателей наряду с Р. Лангакером и Л. Талми. См. [Geeraerts, Cuyckens 2007: 3]; ср. [Winters 2010: 3, 5].

исследователей, наиболее важными из которых являются [Johnson 1987; 2007; Lakoff 1987; Lakoff, Johnson 1999]. Базовый мировоззренческий постулат, на который опираются авторы, можно сформулировать следующим образом:

Все происходящие в человеке когнитивные процессы имеют своим основанием пласт когнитивного бессознательного[4], формирующийся в процессе непрерывного взаимодействия человека как телесно-духовной целостности и его природного и социокультурного окружения. Перцептивная и проприоцептивная составляющие играют в когнитивном бессознательном определяющую роль[5].

Отталкиваясь от данного постулата, авторы предлагают модель формирования семантической составляющей языка и ее освоения людьми, ядро которой выражается в следующих тезисах:

• При описании процесса категоризации различных объектов методологически важно выделить из всего массива категорий особую группу, называемую «категории базового уровня». Это наиболее высокий уровень, на котором члены категории имеют похожие визуальные образы и формируют у взаимодействующего с ними человека близкие по структуре моторные схемы («стул», но не «мебель» и не «вращающийся стул»)[6]. Когда человек слышит или видит слова, обозначающие понятия базового уровня, в его мозгу активируются «некоторые из тех же сенсомоторных нейронных кластеров, которые активируются и при реальной перцепции или движении, вызванном взаимодействием с соответствующими данным понятиям объектами»[7] [Johnson 2007: 160][8]. Другими словами, такие понятия формируются как непосредственное отражение нашего повседневного перцептивного и двигательного опыта. Осваиваясь нами раньше всего, они создают основу для освоения абстрактных областей языка.

• «Абстрактные понятия в большинстве своем имеют метафорическую природу» [Lakoff, Johnson 1999: 3]. Они возникают и осваиваются людьми через систему связей с понятиями базового уровня, благодаря обретению перцептивных точек опоры. Для описания процесса формирования таких связей авторы вводят понятие концептуальной метафоры, имеющее следующую структуру: область-источник (понятия базового уровня, например, «движение»), область-цель (абстрактные понятия, например, «время») и система проекций области-источника на область-цель (в данном случае время – это движение: *день пролетел незаметно*; *час расплаты неумолимо приближался* и т.д.)[9].

• Важными инструментами для построения подобных проекций являются образные схемы (image schemas), т. е. устойчивые, воспроизводимые перцептив-

---

[4] См. об этом понятии [Lakoff, Johnson 1999: 12–13; Johnson 2007: 139].

[5] М. Джонсон находит философские основания их теории в трудах И. Канта, У. Джеймса, Дж. Дьюи и экологической парадигме Дж. Гибсона [Gibson 1979]; см. [Johnson 1987; 2005; 2007]. Следует сказать, что в той или иной формулировке приведенный постулат лежит в основе парадигмы grounded cognition. В частности, на него опираются авторы двух претендующих на фундаментальность теорий в области когнитивной семантики, появившихся в последние годы: Л. Барсалоу (the language and situated simulation (LASS) theory) и В. Эванс (the theory of lexical concepts and cognitive models (LCCM)). См. [Barsalou 1999; Barsalou et al. 2008; Evans 2009].

[6] См. [Lakoff 1987: 58–67; Lakoff, Johnson 1999: 27–28]. Авторы опираются здесь на исследования Э. Рош, которой, собственно говоря, и принадлежит идея выделения категорий базового уровня. См. [Rosch 1978].

[7] Если переводчик не указан, перевод осуществлен автором статьи.

[8] Здесь Джонсон опирается на результаты многочисленных психолингвистических экспериментов, осуществленных в последние десятилетия. Их описание см. в [Glenberg et al. 1987; Matlock 2004; Yeh, Barsalou 2006; Bergen 2007] и др.

[9] Примеры подобных схем, адаптированных до уровня учебного материала, см. в [Kövecses 2010: 7–15].

ные модели, обладающие внутренней структурой, которая может транслироваться в другие области и наполняться новым содержанием[10]. Примерами таких схем являются: вместилище (container), силовое воздействие (compulsive force), баланс (balance), исходная точка – путь – цель (source – path – goal), вертикальность (verticality или up-down), центр – периферия (centre – periphery) и др.; см. [Johnson 1987: 18–138; 2007: 21–24, 136–152][11]. Так, за образной схемой баланс, по Джонсону, стоят три базовые перцептивные модели: способность к прямохождению и удерживанию равновесия в различных ситуациях (например, при езде на велосипеде); ощущение равного веса или равной нагрузки в каждой руке; ощущение гомеостаза (можно сказать, проприоцептивного равновесия) в телесных органах, нарушение которого в ту или иную сторону выражается в чувстве голода, жажды, переедания и т.д. Первой метафорической проекцией этих перцептивных моделей является идея зрительного равновесия, т.е. способность воспринимать некоторый объект как равновесный, даже если в нем нет строгой симметрии[12]. Следующий уровень метафоризации этой структуры представляет собой перенесение идеи равновесия на абстрактную область, например на описание процесса полемики, ср.: *эти аргументы имеют равный вес*, *это уже более весомый аргумент*, *он был раздавлен тяжестью моих аргументов* и т.д.

Работы Лакоффа и Джонсона задали проблемное поле, к обсуждению которого активно подключились другие исследователи, развивающие идеи авторов, уточняющие или критикующих их. (Анализ значительного массива таких работ см. в [Lakoff, Johnson 1999: 46–59; Kövecses 2005; Gibbs 2006: 79–122].) Не претендуя здесь на анализ всего спектра проблем, я бы хотел остановиться на роли социокультурных факторов в теории концептуальной метафоры. Хотя Лакофф и Джонсон упоминают социокультурный контекст как одну из составляющих процесса порождения и понимания концептуальных метафор, в целом социокультурный анализ находится на глубокой периферии их теории. Устройство человеческого тела – фундаментальная константа для человеческого рода в целом, и идея «телесных проекций» (embodiment) предполагает единый для всех людей способ описания. Лингвисты, тяготеющие к социокультурному пониманию языка, ощущают здесь серьезную лакуну и на широком и разнообразном материале показывают значимость культурных факторов в установлении соответствий между областью-источником и областью-целью. Основное направление исследований здесь состоит в сопоставлении первичных метафор в различных культурах и попытке связать различия между такими метафорами с культурными различиями; см. [Heine 1995; Quinn 1991]; ср. [Deignan 2003; Yu 2009]. Как иллюстрацию можно привести анализ базовых метафор, описывающих категорию жизни, для современных американцев и венгров. Исследование показало, что метафоры «жизнь – это война», «жизнь – это компромисс» более типичны для венгров, тогда как метафоры «жизнь – это драгоценность» и «жизнь – это игра» – для американцев. Полученные результаты связывают с особенностями американской и венгерской истории: для венгров доминантой их исторического пути была борьба за выживание и сохранение культурного своеобразия, перед американцами же стояли принципиально иные политические и социальные задачи [Kövecses 2005: 241].

---

[10] Термин «образная схема» (image schema) был впервые введен М. Джонсоном в [Johnson 1987] и затем воспроизведен в [Lakoff 1987]. Эволюцию взглядов Джонсона можно проследить по работам [Johnson 2005; 2007]. Другие интерпретации данного термина см., например, в [Hampe, Grady (eds.) 2005].

[11] Названия схем в указанных работах несколько различаются; в этих случаях я привожу наиболее поздний вариант.

[12] Джонсон приводит здесь интересные иллюстрации этого утверждения: африканскую ритуальную маску kifwebe и скульптурные изображения [Johnson 1987: 91–92]. Ср. предложенную им модель корреляции перцептивных и визуальных моделей с концепцией «зеркальных нейронов» Дж. Ризолатти [Rizzolatti, Craighero 2004; Rizzolatti, Sinigaglia 2007; Rizzolatti, Fabbri-Destro 2010].

Работы подобного рода задают направление развития теории концептуальной метафоры, открывающее перспективу для включения в нее не только соматического, но и социокультурного пласта. Контуры такой теории предложены, например, в уже упомянутой монографии З. Ковечеша, выделяющего три базовых источника для концептуальных метафор: соматический опыт, социокультурные практики и когнитивные предпочтения и стили [Там же: 231–246].

Полностью соглашаясь с тезисом о значимости социокультурной составляющей при анализе концептуальных метафор и признавая важность подобных работ, я должен тем не менее заметить, что большинство из них обладает двумя существенными недостатками.

Во-первых, теоретически допуская, что метафорическая система языка может эволюционировать со временем, на практике упомянутые исследователи работают с ней как со статичной структурой[13]. Когда та или иная первичная метафора появляется в языке? Почему она появляется именно в этот период, а не ранее или позднее? Такие вопросы не принято задавать в указанных рамках, однако они оказываются важными для понимания социокультурной природы ряда базовых метафор. Например, метафора «время – деньги» (выраженная в таких оборотах, как *тратить время*, *занимать время*, *транжирить время* и т. д.) появляется в русском языке лишь с середины XIX в. одновременно с интенсивным развитием капиталистических отношений и практически не встречается до этого[14]. Хотя авторы теории когнитивной метафоры считают эту метафору первичной (возможно, с некоторыми социокультурными особенностями)[15], мы видим ее глубинную связь с социально-экономическим контекстом.

Во-вторых, крайне редко встречаются работы, в которых исследуется обратное влияние абстрактных понятий на формирование первичных метафор[16]. Утверждение о том, что движение от области-цели к области-источнику – это движение от категорий базового уровня к абстрактным категориям, не предполагающее обратного процесса, воспринимается большинством исследователей концептуальной метафоры как трюизм. Тем не менее анализ метафоры механизма показывает, что это не всегда так.

Метафора механизма признается авторами теории концептуальной метафоры одной из базовых [Johnson 1987: 130–131; Kövecses 2010: 156–161]. Основными видами этой метафоры являются «тело – это машина», «мозг – это машина», «общество (государство, демократия и т.п.) – это машина». Такие метафоры широко распространены как в повседневной речи, так и в журналистике и в научной литературе[17]. В то же время машина – это не человеческое тело, и во многих случаях ее работа скрыта от непосредственной перцепции. Уже этот факт наводит на мысль, что для полноценного понимания метафоры механизма мы должны привлечь социокультурные факторы. Крайне про-

---

[13] Существует ряд работ, использующих диахронический подход к описанию метафор. Прежде всего, здесь следует отметить исследования, связанные с дискурсивным анализом метафор; см. [Musolff, Zinken (eds.) 2009; Musolff 2010]. Диахронический анализ (не всегда, на мой взгляд, осуществленный с должной степенью глубины) лежит также в основе часто цитируемой работы [Sweetser 1990]. Следует, однако, признать, что упомянутые работы «не делают погоды» в описываемой области.

[14] Это показано, например, в учебной работе П. Зябухиной «Метафора "время деньги" в русской литературе», выполненной в 2009 г.

[15] См., например [Lakoff, Johnson 1980: 7–9], а также [Kövecses 2005: 142–151].

[16] В качестве редкого исключения можно назвать работы [Geeraerts, Grondelaers 1995; Gevaert 2005; Geeraerts 2006: 227–251], выявляющие культурные основания базовых метафор гнева.

[17] Приведу два примера из современного русского языка: *В Европе последующие реформы воздвигнутых революцией институтов восстанавливают равновесие и систему сдержек внутри государственной машины, а также между государством и гражданским обществом…* [С. Пашин. Краткий очерк судебных реформ и революций в России (2003)]; *Но мне плевать на это, лишь бы не мешало работе, не сбавляло темпа, мозг прямо-таки живой компьютер, главное, чтобы никто не помешал, иначе собьешься, и тогда прощай порыв...* [Ю. Азаров. Подозреваемый (2002)] [НКРЯ].

дуктивным и во многом неожиданным в данном случае оказывается выход за пределы современности и обращение к истории культуры, или, точнее, анализ формирования и эволюции данной метафоры в Античности и западном Средневековье.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ МЕХАНИЗМОВ В КЛАССИЧЕСКОЙ И ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

Говоря о семантических образах механизмов в Античности, мы должны прежде всего заметить, что концептуализация мира и человеческой деятельности в тот период кардинально отличалась от привычной нам. В частности, труд скульптора, инженера, строителя и ремесленника воспринимался как единый тип деятельности и обозначался словом *τέχνη* (искусство или ремесло, другими словами деятельность, осуществляемая руками) в противоположность *επιστήμη* (наука, знание, т. е. интеллектуальная деятельность)[18]. В качестве яркого примера таких представлений можно привести историю Дедала, знаменитого персонажа древнегреческой мифологии. В соответствии с древними источниками, он был выдающимся скульптором (D.S. IV, 76, 1–3; Apollod. II, 6, 3; Paus. 7, 4, 4–7; 9, 11, 4–5: 9, 39, 8; 9, 40, 3–4), инженером (D.S. IV, 76, 1–9; Apollod. III, 1, 4), архитектором (D.S. IV, 76, 2). Эти весьма различные для нас виды деятельности связывались идеей подражания природе. Вследствие этого некоторые из его произведений, которые мы обычно воспринимаем как механизмы (т. е., следуя традиционному определению, совокупности взаимосвязанных элементов, предназначенные для передачи или преобразования механической энергии с целью совершения полезной работы), интерпретировались древнегреческой культурой в принципиально ином ключе. Античные авторы подчеркивали способность Дедала подражать природе и восхищались точности подражания (D.S. IV, 76, 2; Apollod. II, 6, 3). Искусство Дедала не было искусством воздействия на природу и преобразования ее для человеческих нужд, оно было искусством подражания природе. Это относится и к наиболее популярному «механическому» творению Дедала – созданной им деревянной корове. Слово «механический» здесь не случайно взято в кавычки. Хотя Диодор Сицилийский называет это создание Дедала *μηχάνημα* ‘механическое устройство’ в противоположность понятиям *εἰκών* ‘изображение, изваяние’ или *ἄγαλμα* ‘статуя’, которые обычно использовались для наименования творений Дедала в древнегреческих текстах, главная цель этого «механического устройства» состояла не в том, чтобы совершать полезную работу, а в том, чтобы посланный Посейдоном Миносу бык воспринял сделанную Дедалом корову как настоящую и пожелал совокупиться с ней (Apollod. III, 1, 4; D.S. IV, 77, 1–2).

Учитывая сделанные замечания, я определяю семантические образы механизмов как семантические структуры слов, соответствующих объектам, которые функционировали в качестве механизмов (в современном понимании) в повседневной жизни древних греков, хотя интерпретация этих объектов древнегреческой культурой могла существенно отличаться от привычной нам. Обращаясь к словарю Лидделла–Скотта [Liddell, Scott 1961], мы находим только пять семантически связанных с механизмами слов, сколько-нибудь частотных в древнегреческих текстах: μηχανή, μηχανάομαι, μηχανεύς, μηχάνημα и, до определенной степени, μηχανικός. Наиболее важным из них является слово μηχανή, появляющееся в этих текстах около 260 раз[19]. Согласно Лидделлу и Скотту, его первым значением является «механическое приспособление, устройство (contrivance), в первую очередь, машина для подъема грузов» с выделением специальных случаев: «осадная машина», «театральная машина, благодаря которой боги появлялись в воздухе во время спектакля»[20]. Например:

---

[18] В рамках данной статьи у меня нет возможности обсуждать понятие *τέχνη* в деталях. Подробный анализ см. в работах [Roochnik 1996; Roberts 2007; Angier 2008] и др.

[19] Здесь я использую базу данных Perseus digital library (http://www.perseus.tufts.edu).

[20] Непосредственный анализ текстов подтверждает указанные словаря и показывает, что данное значение в них доминирует.

Он [Перикл] построил также осадные машины (κατεσκεύασε δὲ καὶ μηχανὰς), называющиеся «бараны» и «черепахи», сделав это первым из всех. Построил их ему Артемон из Клазомен. Осаждая город с удвоенной энергией и разрушив стены осадными машинами (ταῖς μηχαναῖ καταβαλὼν τὰ τείχη), он подчинил себе Самос[21] (D.S. XII, 28, 3).

Мы можем видеть в данном примере, что действия осадной машины вполне удовлетворяют современному определению механизма: она совершает полезную для ее создателей работу, преобразуя механическую энергию. В этом случае машина не подражает природе, она выполняет «техническую» функцию, служа средством для достижения главной цели: подавить сопротивление осаждаемого врага. Подчеркну, что подобных описаний в древнегреческих текстах довольно много. Следуя современным метафорическим схемам («мозг – это компьютер» и т. д.), мы могли бы ожидать здесь появления таких метафор, как «*σῶμα* – это *μηχανή*» («тело – это машина»), например: *его руки работали как осадная машина*. Однако расширение базового значения происходит в принципиально ином направлении.

В соответствии со словарем Лидделла–Скотта, второе значение *μηχανή* – «хитроумное изобретение, конструкторская идея». Проиллюстрируем его примером из платоновского «Пира»:

И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними [людьми], и не знали, как быть: убить их, поразив род людской громом, как когда-то гигантов, – тогда боги лишатся почестей и приношений от людей; но и мириться с таким бесчинством тоже нельзя было. Наконец Зевс, насилу кое-что придумав, говорит:

– Кажется, я нашел способ (δοκῶ μοι ἔχειν μηχανήν) и сохранить людей, и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, потому что число их увеличится. И ходить они будут прямо, на двух ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут буйствовать, я, – сказал он, – рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке (Plat. Sym., 190c, пер. С.К. Апта)[22].

Два указанных значения исчерпывают культурные смыслы, стоящие за употреблением *μηχανή* в древнегреческих источниках. Мне не удалось найти в этих текстах метафор «мир – это механизм», «тело – это механизм», «общество – это механизм» или иных концептуальных метафор в понимании Лакоффа и Джонсона. Мы видим, что первое значение связывает со вторым идея оригинального конструкторского решения. Сначала мы наблюдаем метонимический сдвиг от самих устройств, выступающих для *μηχανή* в качестве прототипов (в первую очередь, осадная машина), к замыслам их создателей, а затем метафорическое расширение значения от моделей для создания механизмов подобного рода до любого находчивого решения нестандартной проблемы. Другими словами, *μηχανή* для древних греков – это, в первую очередь, сложно устроенный продукт человеческой деятельности, результат изобретательности человека. Компонент «устройство для выполнения полезной работы» оказывается на глубокой периферии этой семантической структуры.

Возникает естественный вопрос, почему это происходит. Можно было бы попытаться объяснить данный факт незначительной ролью машин в социальной и экономической жизни Древней Греции, однако эта роль оказывается вполне весомой для того, чтобы рассматривать *μηχανή* как образец для оригинальной, нестандартной идеи или действия. Более того, в дальнейшем мы увидим, что в данном случае прямая зависимость между социально-экономической ситуацией и появлением новых метафорических моделей отсутствует. Причины здесь следует искать в фундаментальных культурных установках, в значительной степени определивших облик древнегреческой культуры. Хотя эти установки хорошо известны, имеет смысл напомнить их.

---

[21] См. также (Her. 2.125; Aesch. Sept. 132; Thuc. 2.76; Pl. Crat. 425d, Clit. 407a) и т. д.

[22] См. также (Her. 2.160, 3.83, 3.152; Eur. Andr. 66, I.T. 112; Pl. Sump. 191b) и т. д. Из этих примеров видно, что такое хитроумное решение далеко не всегда связано с конструкторской деятельностью.

Во-первых, древние греки воспринимали космос[23] (κόσμος) как наиболее совершенную сущность и человека как космос в миниатюре, микрокосм. Так, Платон утверждал, что «бог, пожелавши возможно более уподобить мир (κόσμος) прекраснейшему и вполне совершенному среди мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо, содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе самом» (Pl., Tim. 30d–31a, пер. С.С. Аверинцева), и говорил о его максимально возможном совершенстве. Аристотель полагал, что νοῦς (Ум) «как действующее начало в космосе представляется наиболее божественным (Ξειότατον) из всего являющегося нам» (Arist. Metaph. XII 1074b16–17, пер. А.В. Кубицкого) и все вещи стремятся к нему как к высшему совершенству (Там же: 1072a20–1073b13). Исходя из этого мы можем заключить, что природные создания являются образами космоса и в этом аспекте принципиально отличаются от рукотворных объектов. По Аристотелю, каждый природный объект «имеет в самом себе начало движения и покоя, будь то в отношении места, увеличения и уменьшения или качественного изменения», в противоположность таким вещам, как ложе, плащ и т. д., которые «поскольку образованы искусственно, не имеют никакого врожденного стремления к изменению» (Arist. Phys II 192b8–30, пер. В.П. Карпова). Другими словами, между вещами, возникшими естественно, и вещами, возникшими искусственно, существует громадное различие, и первые намного более совершенны, чем последние, в силу их значительно большей самодостаточности и независимости от внешних факторов.

Во-вторых, одной из определяющих черт полиса как экономической, политической и социальной системы была жесткая оппозиция между свободными и рабами, которая имела онтологические основания. Считалось, что рабы рождены для выполнения грубой физической работы, тогда как свободные – для осуществления различных форм интеллектуальной деятельности[24]. Это представление проясняет оппозицию «естественное – искусственно созданное»: вещи, существующие по природе, имеют начала своих действий в себе самих (соответствуя в этом отношении свободным людям), в то время как искусственно созданные объекты, как и рабы, движимы внешней силой. Кроме этого, эта культурная установка порождает еще одну фундаментальную черту античной системы ценностей: созерцание идеальных структур и искусство управления оказываются гораздо более совершенными видами деятельности, чем создание или преобразование материальных объектов. Так, упомянутый выше νους «мыслит сам себя через сопричастность предмету мысли: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и мысля его, так что ум и предмет его – одно и то же» (Arist. Metaph. XII 1072b19–23, пер. А.В. Кубицкого)[25]. Созерцание является также высшей формой деятельности для людей (Arist. Nic. Eth. 1177a17–20)[26]. Возможно, одной из наиболее удачных иллюстраций такого пренебрежения к ручному труду является высказывание Плутарха:

> Кто занимается лично низкими предметами, употребляя труд на дела бесполезные, тот этим свидетельствует о пренебрежении своем к добродетели. Ни один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, посмотрев на Геру в Аргосе, – Поликлетом, а равно Анакреонтом, или Филемоном, или Архилохом, прельстившись их сочинениями: если произведение доставляет удовольствие, из этого еще не следует, чтобы автор его заслуживал подражания (Plut. Per. 2.1–2, пер. С.И. Соболевского).

И в-третьих, следует отметить еще одну важную черту древнегреческой культуры, относящуюся к идее изобретательности, которая обычно связывается в текстах с вне-

---

[23] Наши ассоциации, связанные со словом «космос», отличаются от образов, возникавших у древнего грека. И однокоренные слова (κόσμημα 'украшение', κοσμητής 'уборщик, румянщик', κοσμήτωρ 'устроитель войска, вождь, повелитель'), и сама семантика слова κόσμος – 'украшение, наряд, краса, честь, слава, порядок, государственное устройство, строение, мир, вселенная, небо' указывают на связь представлений о космосе с идеей порядка, упорядоченности. Ср. с русск. *косметика*.

[24] Аристотель прямо говорит об этом в «Политике», см., например (1254b27–33).

[25] См. также (Parmen. Fr. 7; Arist. Metaph. XII 1074b15–1075a10).

[26] См. также (Pl. Smp. 210e–211b; Phd. 107c–108c; RP VII 514a–517c).

запным озарением, ведущим к решению сложной проблемы. Как кажется, эта черта объясняет направление описанного выше семантического сдвига от прямого значения *μηχανή* к переносному. Речь идет о культурной функции мантиса (*μάντις*), т. е. прорицателя, предсказателя, деятельность которого имела в древнегреческом обществе важнейшее социальное значение. Мантисы истолковывали оракулы богов, знаки, оставляемые богами людям, и такая способность улавливания и правильной интерпретации божественной воли. Такая «чувствительность к трансцендентному» была присуща не только им, но и ряду почитаемых политиков и военачальников, и в целом, с точки зрения греков, отличала их от других народов[27]. Более того, эта способность потом была перенесена на природу, и с Геродота объяснение различных «загадок» природы, таких как разливы Нила или прочность египетских черепов, проникает на страницы исторических и философских текстов; см., например (Her. 2.19–22, 3.12)[28]. В описанных рамках деятельность инженера и художника оказывается амбивалентной: с одной стороны, продукты этой деятельности – не более чем бледные копии реальности, с другой – искусство подражания природе, опирающееся на умение отгадывать ее загадки, воспринимается как важная способность, присущая человеку, и остается в памяти культуры.

Подводя итоги проведенного анализа, я хотел бы подчеркнуть, что три выделенных фундаментальных элемента определили специфику семантических образов механизмов в Древней Греции.

Ситуация в римской культуре напоминала описанную выше. В соответствии с данными Оксфордского латино-английского словаря [Dictionary 1968–] мы можем найти в латинском языке следующие слова с нужной семантикой: *machina*, *machinatio*, *machinor* и, до некоторой степени, *machinatus*, *machinator*, *machinamentum*. *Machina* – наиболее частотное и наиболее важное из них. Его базовое значение – «механизм, т. е. искусственно сделанное устройство для совершения работы», что вполне соответствует древнегреческому пониманию. Второе значение также тесно коррелирует с древнегреческим: «схема, план, изобретательная выдумка», особ. «уловка, хитроумный трюк». Более подробный анализ текстов показывает близкое соответствие семантических структур греческого *μηχανή* и латинского *machina*, и мы можем заключить, что, несмотря на неоднократно подчеркиваемый римлянами практический характер их восприятия мира, механистические метафоры здесь не более популярны, чем в Древней Греции. Одним из очевидных объяснений этому может служить сильнейшее влияние, которое древнегреческая культура в целом оказала на римскую[29].

За исключением единственного фрагмента из поэмы Лукреция «О природе вещей», мне не удалось найти в римских текстах таких метафор, как «мир – это машина», «человек – это машина», «социум – это машина». Фрагмент Лукреция достаточно интересен, чтобы остановиться на нем подробнее:

> Впрочем, не буду томить я тебя обещаньями дольше.
> Прежде всего, посмотри на моря, на земли и небо;
> Все эти три естества, три тела отдельные, Меммий,
> Три столь различные формы и три основные сплетенья
> Сгинут в какой-нибудь день, и стоявшая долгие годы
> Рухнет громада тогда, и погибнет строение мира (multosque per annos
> sustentata ruet moles et machina mundi).
>
> (5.91–96, пер. Ф.А. Петровского)

---

[27] См. (Her. 1.67–68, 5.92, 7.57, 7.140–141). Уточню, что речь здесь идет о «доперикловой» системе ценностей, отраженной, например, у Гомера и Геродота. Во второй половине VI в. до н. э. этой системе ценностей противопоставляется другая, основу которой составляют религиозный скептицизм и холодный политический расчет. Столкновение двух ценностных систем ярко выражено, например, в диалоге афинян и мелосцев в «Истории» Фукидида (Thuc. 5.84–116).

[28] Подробнее об этом см. в [Глебкин 2002: 129–148].

[29] Можно вспомнить здесь знаменитые строки Горация: *Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio* (Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, // В Лаций суровый искусства внеся) (Epist. 2.1.156–7).

Образ *machina mundi*, как мы уже отмечали, не встречается ни у древних греков, ни у римлян, противореча ряду базовых установок античной культуры. Тем не менее он прекрасно соотносится с атомистической парадигмой Лукреция. Исходя из этой парадигмы каждая вещь представляет собой систему, состоящую из множества связанных между собой элементов (атомов), т.е. нечто соответствующее по своей структуре механизму. Однако даже у Лукреция данное место единственное, где присутствует подобная метафора, да и здесь речь скорее идет о громадных размерах мира (*moles* et *machina mundi*), чем о его структуре.

Итак, подводя итог, мы можем сказать, что концептуальные метафоры механизма отсутствуют в Античности.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ МЕХАНИЗМОВ В ЗАПАДНОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В Средние века положение дел кардинально изменяется. Для того, чтобы продемонстрировать характер и масштаб произошедших в этот период трансформаций, мы обратимся к наиболее полному, пожалуй, на данный момент собранию теологических, исторических, философских текстов с начала II по XIII столетие – к латинской Патрологии Миня (далее PL) [Patrologia Latina][30]. Тщательное исследование семантических образов механизмов, представленных во всех 220 томах собрания, потребовало бы, по крайней мере, монографии, поэтому я ограничусь анализом всех случаев употребления слова *machina* в 1–47 и 182–221 томах Патрологии. Первая выборка включает в себя авторов от Тертуллиана до Августина, т. е. тексты с конца II по первую треть V в., вторая – авторов от Бернарда Клервоского до папы Иннокентия III, т. е. тексты XII в. Эти подборки соответствуют первому и пятому CD в электронном издании Патрологии, т. е. объемы анализируемого текста приблизительно равны. Такой анализ даст нам возможность проследить семантические трансформации слова *machina* при переходе от Античности к раннему Средневековью и дальнейшую семантическую эволюцию в западной средневековой культуре.

Результаты анализа представлены в таблице 1. В таблице приведены следующие данные: число появлений слова *machina* в любой из форм в каждом из выделенных значений, общее число появлений и выраженная в процентах относительная частота. Также в ней указано число авторов, употребляющих это слово в этом значении, их частота по отношению к авторам, просто употребляющим его в данных томах Патрологии, а также по отношению к общему числу авторов, представленных в этих томах. Статистика приведена отдельно для 1–47 и 182–221 тт. Так, запись «14 авторов (41,1%, 13,9%)» означает, что в 1–47 тт. слово *machina* в первом значении употребляет 14 авторов, что составляет 41,1% от числа авторов, употребляющих его в этих томах, и 13,9% от общего числа авторов, представленных в них. Следует отметить, что авторы обычно используют слово в нескольких значениях, поэтому суммарный процент в соответствующих им столбцах превосходит 100%.

Приведенные данные требуют развернутого комментария, который мы начнем с тт. 1–47. Как видно, 34 автора (т. е. 36,6% от общего числа авторов, представленных в этих томах) используют слово *machina* по крайней мере однажды, общее количество появлений слова в данном массиве текстов равно 127[31].

---

[30] Несмотря на то, что со времени первого издания прошло уже более полутора веков и это собрание в определенной степени устарело, оно до сих пор остается весьма авторитетным среди медиевистов, и для проведенного в данной работе анализа, носящего статистический характер, Патрологию можно считать оптимальным вариантом.

[31] Это число получено путем суммирования всех случаев появления слова *machina* в любых формах за единственным исключением: я считал как один «языковой факт» все упоминания одного объекта (например, конкретной осадной машины) или одинаковых по типу объектов в рамках одного описания (одна осадная машина… другая осадная машина) в исторических хрониках.

Таблица 1

Семантическая структура слова *machina* в Средние века

Значения	Тт. 1–47 (конец II – первая треть V в.)		Тт. 182–221 (XII в.)	
	появление слова	авторы	появление слова	авторы
Осадная машина, машина для поднятия грузов и т.д.	46 36,2%	14 41,2%, 13,9%	169 55,8%	30 37%, 19,5%
Хитроумный замысел или действие, коварная идея	57 44,9%	18 53%, 17,8%	67 22,1%	31 38,3%, 20,1%
Физический или социальный объект (мир, тело, церковь и т.д.) как механизм	24 18,9%	14 41,2%, 13,9%	67 22,1%	31 38,3%, 20,1%
Всего появлений слов	127		303	
		(34 из 101 автора) (36,6%)		(81 из 154 авторов) (52,6%)

Первая группа значений совпадает с античным пониманием: ‘осадная машина’, ‘машина для поднятия грузов’ и т.д. Например:

Отброшенный им [Иосифом Флавием], Веспасиан вновь возвращается к осаде города, сотрясает стены осадными машинами (machinis murum quatit) и таранит их (Ambrosius Mediolanensis, De exidio urbis Hierosolymitanae, I, 10; PL 015, 2079B).

Вторая группа значений, на первый взгляд, также напоминает античную: ‘хитроумный замысел, коварная идея’. Однако более внимательный взгляд выявляет и существенные расхождения между ними. Прежде всего, мы находим, что система связей между первой и второй группами значений в Средние века заметно отличается от античной. В Античности эти группы связывала идея изобретательности, находчивости, в Средневековье же ситуация заметно иная: такие процессы, как битва, осада, строительство здания, переносятся на абстрактные сущности и становятся областью-источником для концептуальной метафоры. Приведу две иллюстрации данного утверждения:

Ты поступил очень основательно и заботливо, милейший брат, отправив к нам аколита Никифора, который передал нам радостную весть о славном возвращении исповедников и вполне оснастил нас против новых губительных замыслов Новатиана и Новата, готовящих нападение на Церковь Христову (adversus Novatiani et Novati novas et perniciosas ad impugnandam Christi Ecclesiam machinas plenissime instrueret) (Cornelius papa, Epistola VII; PL 003, 725B–726A);

Укреплен ведь Град Божий… Он защищен со всех сторон башнями, откуда может быть замечен Дьявол, если начнет приближаться. Есть у Дьявола войска, которыми он пользуется, чтобы осаждать обитающие в Граде Божьем души, подводить осадные машины (consuevit admovere machinas) для захвата укрепленных башен (Ambrosius Mediolanensis, Enarrationes in XII psalmos Davidicos; PL 014, 1154C).

Следует заметить, что, хотя метафоры осады или битвы не исчерпывают весь спектр возможностей в данной группе значений, они наглядно демонстрируют две важные черты в задающей ее семантической структуре. Во-первых, хитроумная идея в этих

фрагментах – это не внезапное озарение, наподобие мысли, неожиданно пришедшей на ум Зевсу в «Пире» Платона, это замысел с весьма сложной и продуманной структурой, система рационально связанных элементов, ментальная конструкция. Во-вторых, такой замысел чаще всего трактуется в источнике негативно. Обычно авторами *machina* в этом значении являются Дьявол и другие враги Бога (40 случаев из 57; 70,2%). Христианской доблестью является простота, а не изобретательность и хитрость.

Вторая подгруппа значений в рамках данной группы обращает нас к метафоре строительства. Она наиболее частотна у Августина. Так, в одной из своих проповедей он проводит параллель между Рождеством, земной жизнью и Распятием Христа и инструментами, используемыми в строительстве. Эти инструменты выполняют вспомогательную функцию и отбрасываются после того, как здание построено, однако здание будет стоять века; аналогично земная жизнь Христа – это инструмент (*machina*) для того, чтобы построить здание христианской церкви, возглавляемой Христом, восседающим на небе[32].

Важно отметить, что парадигмой для метафоры строительства здесь оказывается творение мира Богом, который выступает в данном контексте как гениальный инженер и вдохновенный мастер, создающий вещь, громадную по размерам и невероятно сложную по организации. Это наглядно видно, например, из следующего фрагмента «Исповеди» Августина:

> Как же создал Ты небо и землю, каким орудием пользовался в такой великой работе (quae machina tam grandis operationis tuae)? Ты ведь действовал не так, как мастер, делающий одну вещь с помощью другой. Душа его может по собственному усмотрению придать ей тот вид, который она созерцает в себе самой внутренним оком. А почему может? Только потому, что Ты создал ее. И она придаст вид веществу, уже существующему в каком-то виде, например земле, камню, дереву, золоту и тому подобному, а если бы Ты не образовал всего этого, откуда бы оно появилось? Мастеру тело дал Ты; душу, распоряжающуюся членами его тела, – Ты; вещество для его работы – Ты; талант, с помощью которого он усвоил свое искусство и видит внутренним зрением то, что делают его руки, – Ты; телесное чувство, которое объясняет и передаст веществу требование его души и извещает ее о том, что сделано, – Ты; пусть она посоветуется с истиной, которая в ней живет и ею руководит, хороша ли работа. И все это хвалит Тебя, Создателя всего (Aug. Conf. 11, V, 7; PL 32, 811; пер. М.С. Сергеенко).

Из этого фрагмента наглядно видно, что все акты человеческого творчества, все проявления и воплощения творческой энергии человека для Августина лишь бледные тени процесса божественного творения, и что Бог-Творец здесь – высший авторитет для Человека-Творца. Такой образ Бога помогает нам понять структуру третьей группы значений. Космос и его части, воспринимавшиеся как самодостаточные сущности в Античности, превращаются теперь в творения Бога, обозначаемые как *machinae*. Наиболее часто так называется универсум (*mundus*) (12 случаев из 24; 50%), но также небо (*coelum*) (6 случаев; 25%), тело (*corpus*) (5 случаев; 20,8%), животное (*animal*) (1 случай; 4,2%). Следует обратить внимание на принципиальную разницу между данной и предыдущей группами значений: такие сущности, как универсум, не являются инструментами в традиционном смысле, они не используются для практических целей, таких, как строительство, например. Обычно о них говорится как о самостоятельных творениях Бога[33]. В связи с этим возникает вопрос о причине, по которой они называются

---

[32] «*Machinae autem per quas aedificatum est, transierunt... Omnia haec machinae deputantur, ut aedificaretur per has machinas illud quod manet in aeternum. Haec autem resurrectio Domini nostri Jesu Christi in coelo posita est*» (Aug. Sermones de diversis; PL 039, 1615). См. также (Sermones de diversis; PL 039, 1519); (Enarrationes in Psalmos; PL 037, 1084); (De doctrina Christiana, I, 39; PL 034, 36); (De sermone Domini in monte, I, 2; PL 034, 1233) и т.д.

[33] См. (Auctor incertus, De laudibus Domini; PL 6, 45C); (Auctor incertus, Hymnus ad Matutinum; PL 17, 1177); (Auctor incertus, De vocatione gentium; PL 17, 114B–C); (Coelus Sedulius, Carmen Paschale; PL 19, 577A); (Auctor incertus (Rufius Aquilciensis) Commentarius in Joel prophetam; PL 21, 1049A, 1051B); (Auctor incertus (Hieronymus Stridonensis) Regula monacharum, 30, PL 394A–B).

machinae[34]. Кажется, что универсум, небо и другие творения Бога могут быть рассмотрены как инструменты в более широком смысле. О них можно говорить как об орудиях для реализации Божественного замысла, неизвестного людям. Здесь мы сталкиваемся с кардинальной трансформацией античных представлений о космосе и его частях. Как уже отмечалось, в античной культуре и космос в целом, и любой природный объект мыслились как самодостаточные сущности, имеющие причину своего движения и изменения в самих себе[35]. В средневековой культуре причина их движения приобрела внешний по отношению к ним характер, оказавшись за их пределами, другими словами, природные объекты стали подобны механизмам по своей структуре.

Прежде чем двигаться дальше, обобщим сделанные наблюдения. Мы видели, что семантическая структура слова *machina* существенно изменяется при переходе от Античности к Средним векам. В частности, мы находим в средневековых текстах концептуальные метафоры трех типов, связанные с этим словом: метафора замыслов (обычно нечестивых) как осадной машины; метафора духовного строительства как строительства в материальном мире и духовного акта как вспомогательного инструмента в этом строительстве; метафоры мира, неба, тела, животного как механизмов. Эти трансформации сложно объяснить сдвигами в социально-экономической сфере: период с конца II по первую треть V в. известен как закат Римской империи, и называть его временем технологического прогресса было бы странно. Более того, проанализированные выше тексты не оставляют никакого сомнения в том, что технологический базис для новых метафор остался таким же, как и в Античности (осадные машины и т. д.). Происходящие изменения затрагивают наиболее фундаментальные константы культуры, открывая новые возможности для интерпретации старых объектов. Трансформация базовых элементов культурной модели от Античности к Средним векам ведет к большому числу локальных трансформаций и обеспечивает актуализацию связей, которые до этого находились в латентном состоянии.

Анализ текстов XII в. подтверждает и уточняет сделанные наблюдения. Легко заметить, что и число появлений слова *machina* в текстах, и процент употребляющих это слово авторов заметно возрастает. Семантические модели, которые были неочевидными и предполагали наличие специальных контекстов в раннем Средневековье, теперь воспринимаются как привычные и используются без специальных оговорок в широком круге текстов. Обратимся к более подробному анализу.

В приведенной выше таблице мы можем видеть два значительных изменения в семантических «весах» трех выделенных групп значений в сопоставлении с концом II – первой третью V в[36].

Во-первых, вторая группа в определенной степени теряет свою значимость (мы видим одновременно уменьшение и числа авторов, и числа употреблений). Этот факт может быть объяснен институциональной и догматической консолидацией Западной церкви. Изматывающая борьба с ересями постепенно уходит в историю, христианская

---

[34] В некоторых случаях слово machina может быть понято как указание на громадную массу объекта аналогично употреблению у Лукреция. См., например, описание слона в «Гексамероне» Амвросия Медиоланского: «И он не сгибает своих коленей, потому что его голени должны быть тверды как колонны, чтобы они могли нести громадную массу его тела (quo velut columnis tanta possit membrorum machina sustineri)» (Ambrosius Mediolanensis, Hexameron; PL 14, 253 B–C). Однако такое объяснение оказывается корректным только для небольшого числа случаев.

[35] На первый взгляд, творение мира божественным Творцом (δημιουργός) в «Тимее» Платона (Tim., 27d–29d) противоречит этому утверждению. Однако этот Творец появляется только в прологе, а затем космос описывается как самодостаточное живое существо с душой и телом.

[36] Резкое возрастание числа употреблений, относящихся к первой группе значений, не выражает какой-либо тенденции. Большинство подобных случаев (90 из 169) фиксируется в двух исторических хрониках: «Historia rerum gestarum in partibus transmarinis» Гийома Тирского и «Historia ecclesiastica» Ордерика Виталиса. Сопоставимый с данным массив исторических текстов отсутствует в рассмотренный выше период.

доктрина обретает жесткий каркас. В связи с этим метафоры осады и битвы становятся менее востребованными.

Во-вторых, третья группа становится более влиятельной: и общее число употреблений, и процент авторов (по отношению ко всем авторам, представленным в данных томах) ощутимо возрастают, и такие выражения как *machina mundi*, *rerum machina* используются уже почти как клише[37]. Спектр объектов, к которым применяется метафора механизма, выглядит следующим образом: универсум (*mundus*) – 51 случай из 67 (76,1%); Церковь (*Ecclesia*) – 8 случаев (11,9%)[38]; тело (*corpus*) – 4 случая (6%)[39]; небо (*coelum*) – 2 случая (3%)[40]; человечество (*humanitas*) – 1 случай (1,5%)[41]; храм (*templum*) – 1 случай (1,5%)[42]. Относительным изменением по сравнению с аналогичным спектром конца II – первой трети V в. оказывается трактовка авторами, принадлежащими данному периоду, Церкви как механизма. Например:

Несущие колонны в этом доме – епископы, поддерживающие здание Церкви (machinam Ecclesiae) словом и делом (Sicardus Cremonensis, Mirale sive Summa de officiis ecclesiasticus; PL 213, 22B).

Мы можем заметить любопытную инверсию, произошедшую здесь в области-источнике: если в Античности механизмы воспринимались как скульптурные или архитектурные объекты, то теперь архитектурные сооружения называются *machinae*. Это, разумеется, частная, но весьма показательная иллюстрация описанных выше трансформаций базовых элементов культурной модели от Античности к Средним векам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дальнейшая история эволюции механистических метафор хорошо известна. Такие метафоры, как «мир – это машина», «человек – это машина», «тело – это машина», становятся широко распространенными в эпоху Ренессанса (например, в трактатах Леонардо да Винчи)[43] и раннего Нового времени и, как мы уже отмечали во введении, в значительной степени формируют облик европейской философии и политической мысли XVII–XVIII вв. Труды Декарта, Лейбница, французских просветителей, политические трактаты Гоббса и Руссо насыщены подобными метафорами, которые начинают проникать из философских текстов также и в повседневную жизнь: см. об этом [Brandt 1986; Bertman 1991; Des Chene 2001; Smith, Nachtomy (eds.) 2010]. Однако основания для их интенсивного роста заложены в христианской культурной модели. Для иллюстрации этого утверждения я хотел бы обратиться к философии Лейбница. Он неоднократно называет тело и душу *automata*[44], т. е. считает их механизмами определенного рода и полагает, что они не могут взаимодействовать непосредственно, обосновывая согласованность их действий законом предустановленной гармонии:

Г-н Жакло в своей книге о соответствии разума и веры очень хорошо показал, что это совершается так же, как если бы кто-либо, зная все то, что я прикажу на другой день своему слуге, сделал автомат, который был бы совершенно похож на этого слугу и который на другой день со всей точностью выполнил бы то, что я ему прикажу <...> Как тот автомат, который исполняет

---

[37] См., например (Alanus de Insulis, De planctu naturae; PL 210, 445A); (Absalon Spinckirsbacensis, Sermones; PL 211, 173C–D); (Petrus Pictaviensis, Sententiae; 211, 958C).

[38] См. (Gerhohus Reicherspergensis, Expositio in Psalmos; PL 194, 595A); (Philippus de Harveng, Commentaria in Cantica canticorum; PL 203, 221B) и т. д.

[39] См. (Hugo Eterianus, De anima corpore exuta; PL 202, 208B); (Robertus Pullus, Sententiae; PL 186, 691A) и т. д.

[40] См. (Petrus Lombardus, Commentaria in Psalmos; PL 191, 1196C); (Aelredus Rievallensis, De bello Standardii; PL 195, 704C–D).

[41] См. (Alanus de Insulis, Anticlaudianus; PL 210, 499D).

[42] См. (Nicolaus Claraevallensis, In nativitate Domini; PL 184, 827D–828C).

[43] См. об этом [Гарэн 1986: 236–255, особ. 250–252].

[44] См. [Лейбниц 1989: 392], а также [Лейбниц 1982: 416, 424–425; 1989: 138, 161, 167–170].

функции слуги, будет зависеть от меня идеально, в силу знания того, кто, предвидя мои будущие приказания, сделал его способным служить мне с определенного момента на весь следующий день, так и знание моих будущих желаний побуждает к деятельности того великого творца, который затем создаст автомат: мое влияние при этом будет объективное, а его – физическое. Ибо, поскольку душа обладает совершенством и отчетливыми мыслями, Бог приноровил тело к душе и заранее устроил его так, что оно расположено исполнять приказания души; а поскольку душа несовершенна и ее представления смутны, Бог приноровил душу к телу таким образом, что душа увлекается страстями, возникающими из телесных представлений; это-то и производит такое действие и такое кажущееся состояние, как будто бы одно зависит от другого непосредственно и в силу физического влияния. Именно посредством этих смешанных мыслей душа представляет себе окружающие ее тела [Лейбниц 1989: 167–169].

Я думаю, не будет большим преувеличением сказать, что модель Лейбница в основе своей представляет собой весьма изощренную философскую актуализацию новых возможностей, открытых христианством в Средние века. Идея предустановленной гармонии и, в частности, метод гармонизации действий тела и души выглядят как трансформация средневекового образа Бога-Творца, предельного основания всех событий и действий, осуществляющихся в мире.

В заключение хотелось бы вернуться к двум обозначенным в начале работы проблемным полям и подвести общие итоги.

Первый из выводов относится к области философии и истории культуры. Проведенный анализ показывает, что авторы упомянутых во введении инвектив, осуждающие культуру Нового времени за крайний рационализм и механицизм, заметно упрощают ситуацию. Истоки этого механицизма и рационализма находятся в культуре Средних веков, опиравшейся на христианскую мировоззренческую парадигму[45]. Разумеется, актуализация новых возможностей, предоставляемых христианством, могла осуществляться по-разному, и интенсивность этой актуализации прочно связана с происходящими в XIII–XVIII вв. социально-экономическими и социокультурными процессами[46]. Однако сделанное замечание не отменяет общего тезиса о значимости христианских истоков механистического мировоззрения.

Второй вывод относится уже непосредственно к теории концептуальной метафоры Лакоффа – Джонсона. Анализируя эволюцию таких метафор, как «мир – это машина», «тело – это машина», «животное – это машина», мы видели, что причины для их появления и дальнейшей трансформации не связаны непосредственно с сенсомоторным опытом человека или с его социально-экономической деятельностью. Их основанием послужили такие абстрактные и далекие от повседневной жизни культурные сценарии, как творение Богом мира[47]. Следовательно, базовые постулаты теории Лакоффа – Джонсона оказываются не всегда корректными и требуют дополнения и уточнения.

Последнее утверждение следует конкретизировать. На первый взгляд, между проведенным в работе анализом и основами теории концептуальной метафоры нет существенного расхождения. Мы имеем дело с типичной концептуальной метафорой: область-

---

[45] Дополнительным аргументом для этого утверждения является изменение отношения к числу на рубеже Античности и Средних веков, ведущее к потере числом своей эйдетичности и его алгоритмизации. См. об этом [Глебкин 2009]; ср. [Касатонов 2011: 13–14].

[46] В этой связи интересно проследить эволюцию механистических метафор в культуре Византии. Можно предположить, что они не играли там роли, сопоставимой с западным Средневековьем.

[47] Разумеется, появление новых механизмов в XVIII–XX вв. активно влияет на распространение механистических метафор, порождая новые семантические модели и создавая линии эволюции механистических метафор, дополнительные к описанной. Более того, появление пантеистических моделей (таких, как философия Спинозы, например), кажется, возвращает нас к ситуации самодостаточного космоса, вызывающей прямые ассоциации с Античностью. Тем не менее в этом случае место Бога занимает Природа, а остальные объекты остаются механизмами, служащими воплощению ее замыслов. Эта связь ясно видна, например, в упомянутом во введении фрагменте «Левиафана» Гоббса.

источник (конструирование, структура и работа машины), область-цель (творение Богом мира) и система проекций первой области на вторую. Однако такая схема носит слишком общий характер и немногое объясняет в процессе метафоризации. Во-первых, деятельность машины может задавать разные направления концептуализации. В Античности, как мы видели, это направление выразилось в идее оригинального замысла, изобретательного решения. То, какие элементы в семантической структуре слова актуализируются, определяется весьма сложной системой факторов, в которой в данном случае доминируют абстрактные культурные сценарии. Другими словами, то, что мир воспринимается как *machina*, связано не с возросшей ролью механизмов в повседневной жизни, а с тем, что представления о структуре космоса кардинально изменились, и здесь, скорее, область-цель выступила в качестве генератора трансформаций, ища для себя подходящую область-источник. Во-вторых, будучи первоначально производным от работы конкретных механизмов, представление о мире как механизме и Боге как его творце, гениальном Инженере, в дальнейшем стало для культуры базовым и превратилось в основание для других метафор, т. е. переместилось в область-источник из области-цели.

Если распространить высказанные идеи на процесс семантической эволюции в целом, следует обратить внимание на еще одно слабое место в модели Лакоффа · Джонсона. Эта модель исходит из представления о языке как гомогенном с социокультурной точки зрения образовании. Однако такое допущение оказывается слишком сильным для построения динамической семантической теории, отражающей эволюцию языка не как вневременной структуры, а в режиме «реального времени». Лакофф и Джонсон опираются на представление о едином для всех представителей одного языкового ареала языке, универсальном средстве внутрикультурной коммуникации. Однако мы можем выделить в таком языке различные области, связанные с различными типами деятельности, различными коммуникативными моделями. Заметно упрощая ситуацию, я проиллюстрирую основную идею на примере трех подструктур: повседневный язык, отражающий повседневную жизнь, философские тексты, за которыми стоят базовые для культуры мировоззренческие идеи, художественная литература, также формирующая мировоззренческие и поведенческие нормы, но не с помощью теоретических конструкций, а посредством художественных образов. Каждая из этих подструктур обладает определенной степенью самостоятельности и одновременно возможностью экспансии в другие области, открывающей новые возможности для укоренившихся там культурных и семантических моделей. И хотя движение от повседневного языка к философским и литературным текстам является, судя по всему, доминирующим, мы не должны забывать и об обратных процессах, также весьма существенных для понимания эволюции семантической системы в целом[48]. Лишь когерентное описание динамики развития всех базовых подсистем, учитывающее их влияние друг на друга, даст нам возможность корректного динамического описания семантической системы языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гайденко 2003 – *П.П. Гайденко*. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.

Гарэн 1986 *Э. Гарэн*. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.

Глебкин 2002 – *В.В. Глебкин*. Теоретическое мышление как культурно-исторический феномен. Дис. … канд. филос. наук. М., 2002.

Глебкин 2007а – *В.В. Глебкин*. Мещанство // Культурология. Энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М., 2007.

Глебкин 2007б – *В.В. Глебкин*. Пошлость // Культурология. Энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М., 2007.

Глебкин 2009 – *В.В. Глебкин*. Число у Плотина и Августина // Число. М., 2009.

[48] О воздействии литературных моделей на повседневное поведение см. [Лотман 1994: 331–384; 1996: 106–122]. О решающем влиянии литературных и политических текстов на семантическую эволюцию таких слов, как *пошлость* и *мещанство*, см. [Глебкин 2007а; 2007б].

Гоббс 1991 – *Т. Гоббс*. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Т. Гоббс. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1991.
Гуссерль 1994 – *Э. Гуссерль*. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
Касатонов 2011 – *В.Н. Касатонов*. Метафизическая математика XVII в. М., 2011.
Ключевский 1987–1990 – *В.О. Ключевский*. Сочинения в 9 т. М., 1987–1990.
Лейбниц 1982 – *Г.-В. Лейбниц*. Монадология // Г.-В. Лейбниц. Сочинения в четырех томах. Т. 2. М., 1982.
Лейбниц 1989 – *Г.-В. Лейбниц*. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Г.-В. Лейбниц. Сочинения в четырех томах. Т. 4. М., 1989.
Лотман 1994 – *Ю.М. Лотман*. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994.
Лотман 1996 – *Ю.М. Лотман*. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XX века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII – начало XIX века). М., 1996.
НКРЯ – Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).
Толстой 1965 – *Л.Н. Толстой*. Собрание сочинений в двадцати томах. Т. 17. Письма. М., 1965.
Хоркхаймер, Адорно 1997 – *М. Хоркхаймер, Т. Адорно*. Диалектика Просвещения. М.; СПб., 1997.
Angier 2008 – *T. Angier*. Aristotle's ethics and the crafts: A critic. Ph.D. diss. Toronto, 2008.
Barsalou 1999 – *L. Barsalou*. Perceptual symbol systems // Behavioral and brain sciences. 1999. V. 22.
Barsalou 2010 – *L. Barsalou*. Grounded cognition: Past, present and future // Topics in cognitive science. 2010. V. 2. № 4.
Barsalou et al. 2008 – *L. Barsalou, A. Santos, K. Simmons, Ch. Wilson*. Language and simulation in conceptual processing // M. de Vega, A. Glenberg, A. Graesser (eds.). Symbols and embodiment: Debates on meaning and cognition. Oxford; New York, 2008.
Bergen 2007 – *B. Bergen*. Experimental methods for simulation semantics // M. Gonsales-Marquez, I. Mittelberg, S. Coulson, M. Spivey (eds.). Methods in cognitive linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
Bertman 1991 – *M. Bertman*. Body and cause in Hobbes: Natural and political. Wakefield (New Hampshire), 1991.
Brandt 1986 – *F. Brandt*. Thomas Hobbes's mechanical conception of nature. Copenhagen, 1986.
Cook 2007 – *J. Cook*. Machine and metaphor: The ethics of language in American realism. New York, 2007.
Deignan 2003 – *A. Deignan*. Metaphorical expressions and culture: An indirect link // Metaphor and symbol. 2003. V. 18. № 4.
Des Chene 2001 – *D. Des Chene*. Spirits and clocks: Machine and organism in Descartes. Ithaca, 2001.
Dictionary 1968– – Oxford Latin dictionary. Oxford, 1968–.
Evans 2009 – *V. Evans*. How words mean: Lexical concepts, cognitive models, and meaning construction. Oxford; New York, 2009.
Geeraerts 2006 – *D. Geeraerts*. Words and other wonders: Papers on lexical and semantic topics. Berlin; New York, 2006.
Geeraerts, Cuyckens 2007 – *D. Geeraerts, H. Cuyckens*. Introducing cognitive linguistics // D. Geeraerts, H. Cuyckens (eds.). The Oxford handbook of cognitive linguistics. Oxford; New York, 2007.
Geeraerts, Grondelaers 1995 – *D. Geeraerts, S. Grondelaers*. Looking back at anger. Cultural traditions and metaphorical patterns // J. Taylor, R. MacLaury (eds.). Language and the construal of the world. Berlin, 1995.
Gevaert 2005 – *C. Gevaert*. The ANGER IS HEAT question: Detecting cultural influence on the conceptualization of ANGER through diachronic corpus analysis // N. Delbecque, J. van der Auwera, D. Geeraerts (eds.). Perspectives on variation: Sociolinguistic, historical, comparative. Berlin; New York, 2005.
Gibbs 2006 – *R. Gibbs*. Embodiment and cognitive science. Cambridge; New York, 2006.
Gibson 1979 – *J. Gibson*. The ecological approach to visual perception. Boston, 1979.
Glenberg et al. 1987 – *A. Glenberg, M. Meyer, K. Lindem*. Mental models contribute to foregrounding during text comprehension // Journal of memory and language. 1987. V. 26. № 1.
Haken et al. (eds.) 1993 – *H. Haken, A. Karlqvist, U. Svedin* (eds.). The Machine as metaphor and tool. Berlin; New York, 1993.
Hampe, Grady (eds.) 2005 – *B. Hampe, J. Grady* (eds.). From perception to meaning: Image schemas in cognitive linguistics. Berlin; New York, 2005.

Heine 1995 – *B. Heine*. Conceptual grammatization and prediction // J. Taylor, R. MacLaury (eds.). Language and the cognitive construal of the world. Berlin; New York, 1995.
Johnson 1987 – *M. Johnson*. The body in the mind. Chicago; London, 1987.
Johnson 2005 – *M. Johnson*. The philosophical significance of image schemas // B. Hampe, J. Grady (eds.). From perception to meaning: image schemas in cognitive linguistics. Berlin; New York, 2005.
Johnson 2007 – *M. Johnson*. The meaning of the body: aesthetics of human understanding. Chicago; London, 2007.
Kövecses 2005 – *Z. Kövecses*. Metaphor in culture: universality and variation. Cambridge; New York, 2005.
Kövecses 2010 – *Z. Kövecses*. Metaphor: a practical introduction. Oxford, 2010.
Lakoff 1987 – *G. Lakoff*. Women, fire and dangerous things. Chicago; London, 1987.
Lakoff, Johnson 1980 – *G. Lakoff, M. Johnson*. Metaphors we live by. Chicago; London, 1980.
Lakoff, Johnson 1999 - *G. Lakoff, M. Johnson*. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought. New York, 1999.
Liddell, Scott 1961 – *H.G. Liddell, R. Scott* (eds.). A Greek-English lexicon. Oxford, 1961.
Maltock 2004 - *T. Maltock*. Fictive motion as cognitive simulation // Memory and cognition. 2004. V. 32.
Musolff 2010 – *A. Musolff*. Metaphor, nation and the holocaust: the concept of the body politic. New York, 2010.
Musolff, Zinken (eds.) 2009 – *A. Musolff, J. Zinken* (eds.). Metaphor and discourse. Basingstoke; New York, 2009.
Quinn 1991 – *N. Quinn*. The cultural basis of metaphor // J. Fernandez (ed.). Beyond metaphor: the theory of tropes in anthropology. Stanford (California), 1991.
Patrologia Latina Patrologia Latina / Ed. by J.-P. Migne. V. 1–217. Paris, 1844–1855; Patrologia Latina database. 5 CD. Alexandria (Virginia), 1995 (электронный ресурс).
Rizzolatti, Craighero 2004 - *G. Rizzolatti, L. Craighero*. The mirror-neuron system // Annual review of neuroscience. 2004. V. 27.
Rizzolatti, Fabbri-Destro 2010 – *G. Rizzolatti, M. Fabbri-Destro*. Mirror neurons: from discovery to autism // Experimental brain research. 2010. V. 200.
Rizzolatti, Sinigaglia 2007 – *G. Rizzolatti, C. Sinigaglia*. Mirror neurons and motor intentionality // Functional neurology. 2007. V. 22. № 4.
Roberts 2007 – *C. Roberts*. Wisdom in practice: Socrates' conception of *Technē*. Ph.D.diss. Kingston, 2007.
Roochnik 1996 – *D. Roochnik*. Of art and wisdom: Plato's understanding of *techne*. University Park (PPennsylvania), 1996.
Rosch 1978 – *E. Rosch*. Principles of categorization // Cognition and categorization. Hillsdale (N.J.); New York, 1978.
Smith, Nachtomy (eds.) 2010 – *J. Smith, O. Nachtomy* (eds.). Machines of nature and corporeal substances in Leibniz. Dordrecht, 2010.
Sweetser1990 – *E. Sweetser*. From etymology to pragmatics: metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge; New York, 1990.
Winters 2010 – *M. Winters*. Introduction: on the emergence of diachronic cognitive linguistics // M. Winters, H. Tissari, A. Berlin (eds.). Historical cognitive linguistics. New York, 2010.
Yeh, Barsalou 2006 – *W. Yeh, L. Barsalou*. The situated nature of concepts // The American journal of psychology. 2006. V. 119. № 3.
Yu 2009 – *N. Yu*. From body to meaning in culture: papers on cognitive semantic studies of Chinese. Amsterdam; Philadelphia, 2009.

Сведения об авторе:

Владимир Владиславович Глебкин
Гимназия № 1514
gleb1514@gmail.com

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2012

© 2012 г. Д.В. САВОВА

ПРЕДИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА ВЫСКАЗЫВАНИЯ В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье представлена идея о начальной стадии перехода ментальной пропозиции в речевое произведение в сознании говорящего. Согласно этой идее, в языках существуют системы синтаксических образцов, которые задают пропозиции определенную перспективу. Эти образцы составлены из основных элементов и приписывающихся им предикативных признаков. В работе представлена система таких синтаксических образцов (предикативных структур), выработанная для болгарского языка.

Как известно, в нашем сознании события из окружающей действительности получают когнитивное выражение в виде пропозиций, которые в разных языках неодинаковы, потому что формируются как элементы языковой картины мира конкретных языков. В настоящей статье пропозицией считается предельно недетализированное, синкретическое представление о данном событии, и поэтому мы согласны с точкой зрения С.Д. Кацнельсона о том, что пропозиция является мыслительным образом события, который «более непосредственно воспроизводит объективную реальность, нежели предложение. Она в этом отношении еще близка к наглядно-чувственному образу». Предикат в ней «не имеет прямого эквивалента в языке. Он может быть только описан, но не назван» [Кацнельсон 1974: 110], и включает в себя различные возможные конверсивные выражения данного значения.

Такая синкретическая пропозиция может найти языковое выражение, например, в пропозитивном существительном или в инфинитиве, но прототипической языковой формой для выражения пропозиций являются предикации, предложения.

Мы считаем, что на каком-то начальном уровне, который находится совсем близко от пропозиции, языковое сознание говорящего предпринимает один из первых шагов к языковому выражению, а отсюда – и к выражению события в речи, придавая пропозиции структуру, которую здесь будем называть **предикативной структурой** – это самая общая форма, в которой выразится вербализация; она может, кроме предиката, включать две основные семантические роли – совершителя действия[1] и пациенса, а кроме этого, в зависимости от порядка слов иногда может включать и локализатор. Мы говорим об «одном из первых», а не о «первом шаге», потому что перед этим говорящий должен сделать выбор конкретного лексического варианта существующего в синкретическом виде предиката, с помощью которого назовет событие (например, он выберет один из двух конверсивных предикатов: *покупаю ~ продаю*).

Мы называем структуру, которую рассмотрим в статье, «предикативной», потому что она связана с предикацией, с репрезентированием пропозиции в виде определенных, существующих в языке типов синтактических конструкций. Эта структура зависит от намерений говорящего в том смысле, что он может одну и ту же пропозицию (пря-

[1] Его мы называем еще **агенсом**, чтобы иметь возможность использовать введенный Пражским лингвистическим кружком термин **дезагентивность** (т.е. устранение агенса, совершителя), который мы противопоставляем **агентивности** (т.е. выражению совершителя = агенса в виде подлежащего).

мое когнитивное отражение внеязыкового события) представить разными способами, выбирая различные виды предикативной структуры. Например, можем себе представить следующее событие: говорящий видит, что в комнату входит незнакомое лицо. Подготавливая свое предложение, он может «подойти» к этому событию, отталкиваясь от вошедшего лица (*Какой-то человек вошел в комнату*), от места, где совершилось событие (*В комнату вошел какой-то человек*), может игнорировать совершителя, чтобы сфокусироваться на действии (*В комнату вошли*). Или другой пример: у какого-то лица какое-то событие вызывает страх. Говорящий может об этом построить высказывание: *Девочка испугалась*, если исходит из чувствующего субъекта, но может представить это событие, выделяя психологическое состояние как в какой-то мере самостоятельное явление, которое застигает девочку: *Девочке стало страшно*.

Возможность выбора перспективы, с которой будет представлено какое-то когнитивное явление (на уровне предложения это пропозиция), существует для говорящего, конечно, и на более высоком уровне – на уровне текста (см. об этом, например, исследование У. Лабова, посвященное различным трансформациям опыта из внеязыковой действительности, которые говорящий производит в связи с каким-то более общим событием, когда организует свой устный рассказ о нем [Labov 2011]). Различную перспективу говорящий может задать и на более низком уровне, в рамках одной и той же предикативной структуры – на уровне валентностей предиката (см. примеры: *She sprayed the paint on the wall* и *She sprayed the wall with paint*, на базе которых Т. Гивон [Givón 2001] показывает, как изменение позиции прямого и непрямого дополнения приводит к выражению разных дополнительных подразумеваемых значений, связанных с ними).

Отдельные типы предикативных структур, о которых пойдет речь в настоящей статье, находятся в каждом языке в готовом виде. Хотя выбор конкретного типа зависит, конечно, от говорящего, по нашему мнению, предикативная структура не принадлежит к уровню целенаправленного употребления языковых выражений в речи, а относится к уровню предикации, выражения событий из внеязыковой действительности, который больше связан с языком и его картиной мира, чем с фигурой говорящего. В свете теории речевых актов Дж. Серль помещает этот уровень в самую основу иллокутивного акта, называя его «общим содержанием» для какой-то группы иллокутивных актов, или «суждением (пропозицией)» [Серль 1986]. Ученый формулирует два различных показателя в предложении: пропозициональный (к которому принадлежит и наша предикативная структура) и показатель иллокутивной функции. Дж. Остин тоже помещает смысл предложения (его референцию) в область локуции, отличая ее от иллокуции [Остин 1996].

1. ЧТО ТАКОЕ «ПРЕДИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА»?

Как известно, порядок слов в разных видах предложений различается от языка к языку. Например, типичные декларативные предложения в номинативных языках связываются с так называемым прямым порядком слов: подлежащее + сказуемое /+ прямое дополнение/. Однако в таких эргативных языках, как тоба батак или малагасийский, типичный для таких предложений порядок слов имеет другую последовательность: сказуемое /+ прямое дополнение/ + подлежащее; см. об этом у Р. Ван Валина [Van Valin 2004].

В самом распространенном типе повествовательных предложений в болгарском языке – типе «подлежащее + сказуемое /+ прямое дополнение и другие части предложения/» – подлежащее обычно занимает начальную позицию. Ее мы будем называть **предикативным основным элементом** (ПОЭ), которому предикат вместе с дополнениями и обстоятельствами приписывает какой-то (глагольный или именной) признак. Такую предикативную структуру определим как «**исходный субъектный предикативный основной элемент +** приписываемый **предикативный признак**» (ПП). С одной стороны, начальная позиция в ней, занимаемая в конкретном случае подлежащим, обычно служит как база, от которой отталкивается развертывание дальнейшей информации в

высказывании[2], а с другой стороны, это развертывание совершается как приписывание предикативного признака. В этом представлении об исходном предикативном основном элементе содержится амбивалентное значение – информация в высказывании начинает развертываться от него, но одновременно с этим, развертываясь, она и приписывается ему, т.е. каким-то способом возвращается к нему; ср., например: ***Девушка*** *красива и молода*; ***Моя мама*** *сидит на диване.*

В нашем ментальном представлении о каком-то событии с агентивно[3] воспринимаемым действием, которое кто-то или что-то совершает, из целостного представления о событии выделяется как более самостоятельное по сравнению со всеми остальными элементами представление о совершителе. Языковое выражение этого представления, которое является основным, прототипическим для выражения агентивных событий, тоже обычно раскладывает событие хотя бы на совершителя и на остальную часть события. К примеру, высказывание[4] ***Повариха*** (ПОЭ) *готовит пищу* (ПП) адекватно отображает своей структурой **«исходный субъектный ПОЭ + ПП»** (т.е. субъект-совершитель, которому приписывается данное действие) пропозицию данного внеязыкового события с главной, порождающей действие ролью совершителя[5]. Наряду с разными синонимическими трансформациями это высказывание может подвергнуться и некоторым дезагентивным трансформациям, устраняющим агенс *повариха* с позиции исходного предикативного основного элемента и деформирующим эту адекватную структуру, например: *Пища готовится здесь*; *Здесь готовят пищу*; *Здесь готовится пища* и т.п. Во всех этих трансформациях действие, которое участвует в соответствующем референтном событии (конкретном или повторяющемся и обобщенном), сохраняет в пропозиции свою валентность для совершителя, которая, однако, в языковом выражении, еще на уровне оформления предикативной структуры, устраняется. Часто некоторые из дезагентивных трансформаций могут быть синтаксическими синонимами, ср.: *В этой комнате готовилась пища = В этой комнате готовили пищу = В этой комнате совершалось приготовление пищи* и т.д.

2. ПОНЯТИЯ О ПРЕДИКАТИВНОМ ОСНОВНОМ ЭЛЕМЕНТЕ И О ТОПИКЕ

2.1. Предикативный основной элемент и предикативная структура как часть информационной структуры высказывания

Термины **предикативный основной элемент** и **предикативная структура**, которые мы здесь ввели, являются частью пропозиционального (по терминологии Серля) уровня высказывания. Точнее, предикативная структура лежит в основе пропозицио-

---

[2] Поэтому еще в школе мы привыкли задавать вопрос: *Что делает X?*, чтобы найти сказуемое, отталкиваясь от подлежащего *X*.

[3] **Агентивным** будем называть действие, в пропозиции которого усматривается наличие **агенса** (= совершителя, по другой терминологии – «актора»), в отличие от безагентивного события, которое для говорящего совершается само по себе, например: *Темнеет*; *Тянет свежестью*; *На улице темно* и т.д.

[4] Как известно, терминами **предложение** и **высказывание** означается один и тот же языковой объект, только второй выражает употребление этого языкового объекта в речи. Так как часто не нужно, а иногда и трудно разграничить, предполагается ли, что данный пример из теоретического исследования, представляющий синтаксическую конструкцию, взят из речи, будем говорить в основном о высказывании. Основание для этого предпочтения даст нам сущность категории, которую здесь рассматриваем – она включает в качестве обязательного компонента **говорящего**, т.е. речевую ситуацию. Однако иногда мы можем как синонимический термин использовать и термин **предложение**, потому что синтаксические конструкции являются и частью языковой системы. В целях нашей работы достаточно использовать эти два термина синонимически.

[5] Эта главная роль находит отражение в известной самостоятельности предикативного основного элемента по отношению к остальной части высказывания, а тем самым – и по отношению к предикату (об этом см. ниже).

нального значения, она является первой «организацией» пропозиции, которая диктует дальнейшее построение пропозиционального значения. Можем провести аналогию между этим представлением, связанным с пропозицией и синтаксическими конструкциями, и разделением лексем на части речи, где для одного самого общего понятия, которое отсылает к какому-то внеязыковому явлению, язык тоже предоставляет говорящему несколько «форм», в которые он это значение может вылить (ср.: *белый*, *белизна*, *белеться*).

Мы придерживаемся того в значительной степени установленного, хотя и формально не унифицированного в литературе мнения, согласно которому у одного высказывания есть больше одного основного уровня информации. В нашем понимании информационную структуру можно разделить на два основных уровня. Более глубоким уровнем является подтекст, который охватывает значения, не получающие в соответствующем высказывании эксплицитного отражения (пресуппозиции, импликации и др.). Второй уровень – это значение эксплицитного текста, которое является суммой двух видов значений: «организованного» с помощью предикативной структуры пропозиционального значения, составленного лексическими и грамматическими значениями соответствующих языковых единиц, и коммуникативной перспективы, наложенной говорящим на пропозициональное значение (т.е. вариантов в упорядочении и перспективе представления инвариантного пропозиционального значения, включающих прагматические разделения на тему / рему, данное / новое и т.д.)[6]. Предикативный основной элемент и предикативный признак принадлежат к уровню значения эксплицитного текста, и поэтому их невозможно приравнивать к разделению на **пресуппозицию** и **ассерцию**, связанному с отношением подразумеваемое (остающееся невыраженным, имплицитное) ~ утверждаемое (что означает нечто иное по отношению к эксплицитному). Предикативный основной элемент не совпадает и с **темой, данным** и т.п., потому что, находясь в начале предложения и являясь исходным предикативным основным элементом, он связан не со сказанным или несказанным в предшествующем тексте, а с тем, что он дает начало развертыванию информации в пределах самого высказывания, а кроме того, часто его отличает более ограниченный охват по сравнению с охватом темы.

Прототипическая для агентивного события предикативная структура в болгарском языке представлена в двусоставном повествовательном предложении с порядком слов С–П (С – субъект, П – предикат). В нем предикативный основной элемент включает группу подлежащего, которой предикат приписывает какой-то предикативный признак. Этот признак можно выразить и глаголом, и именем, например: *Дъщеря ми свири на пиано в стаята / е много весела* ‘Моя дочь играет на фортепьяно в комнате / очень веселая’ и т.д.[7], причем предикативный основной элемент вместе с предикативным признаком образуют целостное языковое отображение внеязыкового события.

---

[6] Ср. и другие представления об информационной структуре предложения в том же духе: так, для Ламбрехта информационная структура – «это компонент грамматики предложения, в котором пропозиции как концептуальные отражения положений дел связаны с лексико-грамматическими структурами в соответствии с ментальным состоянием говорящих, употребляющих и интерпретирующих эти структуры как единицы информации в данных контекстах» [Lambrecht 1996: 5] (здесь и далее перевод наш. – Д.С.); ср. также представление Б. Бирнер и Г. Ворда об информационной структуре и ее связи с отношением данная ~ новая информация для дискурса и/или для слушающего, с каноническим и неканоническим порядком слов и т.п. [Birner, Ward 2009] и др.

[7] Возможен и вариант двусоставного предложения с тем же самым порядком слов, в котором начальная позиция будет занята иным членом синтаксической структуры, например: *В стаята **дъщеря ми** свири на пиано* ‘В комнате **моя дочь** играет на фортепьяно’, причем и в этом варианте предикативная структура – исходный ПОЭ + ПП, а синтагма в начале высказывания представляет собой какое-то обстоятельство, касающееся выражаемой пропозиции и помещенное в топикс. Важно в этом варианте то, что в нем отмечается маркированный порядок слов, о чем пойдет речь дальше.

Предикативный основной элемент для нас не просто синтаксическое понятие, которым называем начальную позицию в предложении; согласно нашему пониманию, у него есть свое соответствие в когнитивной сфере речевой деятельности. Когда говорящий производит какое-то высказывание, он мысленно «ступает», «опирается» на исходный предикативный основной элемент, придавая ему известную самостоятельность по отношению к предикату, и на этой опоре продолжает построение остальной части своего высказывания. В виде метафоры исходный предикативный основной элемент можно представить освещенной точкой в содержании[8] высказывания, к которой ментальный «взгляд» говорящего / слушающего устремляется в самом начале, затем высматривая от нее и следующие элементы этого содержания. Или иначе говоря: предикативный основной элемент – это отправная точка, от которой говорящий начинает вести слушающего к раскрытию информации.

2.2. Существующие в литературе близкие понятия

Как известно, терминология, как и вообще теоретическое освещение коммуникативной сферы языка, характеризуется на сегодняшнее время недостаточной установленностью и разработанностью. К представленному здесь понятию о предикативном основном элементе в существующей литературе приближаются отдельные термины, чаще всего, однако, идентифицирующиеся с подлежащим (в теоретическом осмыслении которого тоже не достигнуто единомыслие).

Например, С. Кацнельсон в процитированной выше статье говорит, что субъект (т.е. совершитель действия) – это тот аргумент, «который облечен функцией темы и, как правило, притягивает к себе интенцию предиката» [Кацнельсон 1974: 119]. В другой своей работе ученый выявляет основную функцию темы: она придает сообщению единство, соединяя его отдельные составные части в связное речевое произведение [Кацнельсон 1972]. Хотя в упомянутых исследованиях просматривается неунифицированность терминов в этой области языкознания (потому что автор говорит о субъекте в узком и в широком смысле, т.е. о подлежащем и о совершителе действия, а также и о теме, которой приписывает свойства, отличающиеся от традиционного понимания), идея о том, что какой-то составной элемент синтаксической и семантической структуры высказывания притягивает предикат, обеспечивая языковому сообщению единство, соответствует нашей идее о предикативном основном элементе, которому приписывается предикативный признак.

М. Нунэн пишет об «ориентации», или «рамке», связывая ее с начальной позицией в предложении. Хотя автор подчеркивает, что в английском языке, в отличие, например, от русского и испанского языков, чаще всего «подлежащее <...> задает также и ориентацию внутри предложения, или точку зрения для этого предложения, отграничивая рамку, в пределах которой интерпретируется остальная часть предложения» [Нунэн 1982: 364], он считает, что эта ориентация, или рамка, может и не совпадать с подлежащим. Эта точка зрения в большой степени приближается к представлению о предикативном основном элементе, которое мы здесь предлагаем, но с уточнением, что ориентация – это в сущности функция, выполняющаяся этим предикативным основным элементом.

В связи с названной выше ориентацией, или рамкой, Нунэн рассматривает и такие случаи, как русские предложения *Борис ударил Ивана* и *Ивана ударил Борис*, из которых второе в нашем теоретическом осмыслении будет иллюстрировать представление не о предикативном основном элементе, а о другом основном явлении – топике (впрочем, и другие авторы [Ли, Томпсон 1982] тоже связывали это явление с понятием о топике). Нунэн о топике пишет следующее: «Термин *топик* будет относиться здесь к таким ориентациям предложений, которые не являются одновременно подлежащи-

---

[8] Под **содержанием** высказывания понимаем его эксплицитно выраженную семантику, представленную в линейном виде, подобно тому как содержание книги, фильма и др. тоже представляет собой линейную последовательность.

ми» [Нунэн 1982: 370], отмечая, что топик не входит обязательно в какие-то отношения с глаголом (предикатом). Примеры, которые автор приводит для топика в английском языке, не подходят для болгарского; у топика в болгарском языке, по нашему мнению, есть другая особенность – дополнение в нем всегда дублирует краткая форма личного местоимения, например: ***Момичето го** извика майка му* (букв. '**Девушку ее** позвала ее мать'). Но и мы, как Нунэн, говорим о топике, когда начальную позицию в предложении не занимает подлежащее (с нашей точки зрения, однако, топик не совпадает и с предикативным основным элементом, тогда как у Нунэна топик, скорее всего, всегда совпадает с так называемой ориентацией).

В какой-то мере можно говорить о сходстве предложенного здесь понятия о предикативном основном элементе с «прагматическим пиком» Ван Валина и Фоли. Они определяют это понятие как «прагматически наиболее значимую именную группу в простом предложении» [Ван Валин, Фоли 1982: 390], утверждая, что прагматическую значимость задают, с одной стороны, выявленность в дискурсе (т.е. определенность, конкретность и данное), а с другой стороны – то, что «называется "*фокусом интереса*" говорящего» [Там же: 389].

Соответствие мы можем найти и во взглядах У. Чейфа, который подчеркивает, что «один из основных, а возможно и единственный способ сообщения нового знания, состоит в том, чтобы, приняв некоторый объект за исходную точку, сообщить слушающему дополнительную информацию об этом объекте» [Чейф 1982: 300], что созвучно с нашим представлением об исходном предикативном основном элементе как об отправной точке, от которой далее развертывается содержание высказывания. Автор останавливается на эксперименте, описанном в статье Перфетти и Голдмен, в ходе которого было устанавлено, что «подлежащее оказывается чрезвычайно эффективным средством восстановления того предложения, в которое оно входит, даже тогда, когда в предшествующем контексте речь шла главным образом о чем-то другом» [Там же: 301]. Если сделаем оговорку, что эта констатация имеет силу для подлежащего, которое совпадает с предикативным основным элементом, она подтверждает бóльшую когнитивную очерченность предикативного основного элемента в сознании говорящих.

В своем исследовании, посвященном актуальному членению, О. Селиверстова и Л. Прозорова употребляют, хотя и не вводят в качестве специального термина, понятие «исходная точка сообщения», от которого далее развертывается информационная структура высказывания; это понятие тоже в большой мере соответствует нашему исходному предикативному основному элементу [Селиверстова, Прозорова 1992].

Самое большое соответствие нашему представлению о предикативном основном элементе, точнее об **исходном субъектном** предикативном основном элементе (далее мы представим и другие его разновидности), находим у А.В. Бондарко, который определяет понятие о «носителе предикативного признака (НПП)» следующим образом: «Говоря о НПП, мы имеем в виду подлежащее и другие синтаксические единицы, выполняющие функцию предицируемого компонента синтаксической структуры предложения, которому соответствует семантический субъект (в пассивных конструкциях – объект), выступающий как субстанция, которой приписывается предикативный признак» [Бондарко 1992: 54–55]. К основному типу НПП (с дискретным выражением) автор причисляет НПП, представленный подлежащим (*Директор подписал документ*; *Он филолог*), заместителями подлежащего (***Курить** вредно*; *Пришло **более двухсот человек***), главным членом определительного сочетания (***Директору**, подписавшему документ, сказали...*). Ко второму типу НПП (с недискретным выражением) автор приводит следующие примеры, в нашей концепции являющиеся разными видами предикативного основного элемента, которые мы называем **имплицитными**: *Люблю тебя*; *Клянемся!*; *Пиши!*; *Звонят*; *Не знаешь, что и делать*. Однако, рассматривая этот второй тип глагольных форм в другой своей работе, автор утверждает, что соответствующий НПП содержится в самой форме сказуемого: «В одной и той же глагольной словоформе представлены как предикативный признак, так и его носитель» [Бондарко 1991: 132]. Мы же в случаях, подобных приведенным выше русским примерам, говорим о разных видах

имплицитных предикативных основных элементов, которые не содержатся в глагольной форме, а подразумеваются из речевой ситуации или из контекста, т.е. мы не считаем, что основным средством для выражения носителя предикативного признака являстся глагольное окончание (хотя, конечно, оно тоже способствует этому). В таком примере, как *Донесоха ми книгата ти* 'Мне принесли твою книгу', только речевая ситуация, контекст, но не глагольное окончание может решить, идет речь об агентивном предикатс с подразумеваемым агенсом или о дезагентивном неопределенно-личном предикате, ср.:

Вчера при мен идваха твоите братя. Донесоха ми книгата ти 'Вчера ко мнс приходили твои братья. /Они/ мне принесли твою книгу';
Някой ми донесе книгата ти 'Кто-то мне принес твою книгу'.

Представление А.В. Бондарко о предложении включает кроме НПП и предикативный признак, который ученый определяет как «приписываемый субъекту и способный сочетаться с объектом семантический признак действия, состояния, отношения, бытия (существования)» [Бондарко 1992: 32]. Такое представление подобно нашей идее о предикативной структурс, о которой выше шла речь (у нас, однако, это не единственный возможный вариант предикативной структуры).

2.3. Понятие о топике в концепции о предикативной структуре

Обычно в двусоставном предложении в болгарском языкс начальную позицию в предложении занимает подлежащее. В этом случае, на наш взгляд, начальная позиция объединяет в себе два отдельных синтаксических явления: исходный субъектный предикативный основной элемент (отправную точку в развертывании содержания высказывания, которой приписывается предикативный признак) и подлежащее (главную, первую валентность предиката, которая его грамматически подчиняет). Когда начальную позицию в предложении не занимает **исходный** предикативный основной элемент, мы будем говорить о **топике**. В литературс как будто нет возражений против утверждсния, что топик находится в начале предложения, тогда как о других его свойствах мнения часто не совпадают. Обычно этот термин употребляется как синоним тсрмина **тема** (иногда – «данное») в высказывании, противопоставленного **реме** (в других тсрминологиях – «новому», «комментарию», «фокусу»); см. об этом [Lambrecht 1996; Büring 1997; Schiffrin 2001; Van Valin 2004] и др[9]. Более подробно можно ознакомиться с современной разнообразнейшей картиной мнений о топике в монографии [Jaszczolt 2002], где автор представила существующие употребления этого термина в значениях части структуры предложения, дискурсивного топика, топик-рамки (= пресуппозиционного фонда), топика говорящего и т.д., предлагая в конце и свое понимание топика как «то, о чсм говорится в дискурсс или предложении» и отмечая, что «топик предложсния не обязатсльно совпадает с субъектом» [Там же: 165].

Согласно нашей концепции, **топик** в болгарском языкс представляет собой позицию в самом начале высказывания, но только в том случас, когда в ней не расположен **исходный** предикативный основной элемент, причем, когда в нсй находится пациенс или адрссат выражаемого действия[10], важно то, что заполненный топик выполняет две прагматические функции. С одной стороны, с помощью топика говорящий прямо указывает собеседнику на то, о каком объекте пойдет речь в данном высказывании, например: ***Подаръка го*** *донесоха твоите родители*[11] '**Подарок** принесли твои родители';

---

[9] Интересно представлсн с когнитивной точки зрения топик (= референт) в статье Т. Гивона [Givón 1992], где рассмотрены механизмы, которые сохраняют и активизируют топики в эпизодической памяти.

[10] В ней могут находиться и другие части предложения, как это имеет место в вопросительных предложсниях, в предложениях, выражающих эмоции, и т.д., но такие случаи здесь нс рассматриваются.

[11] Для болгарского языка, как мы уже упомянули, в топике характсрно дублирование кратким

За кучето си *не се безпокойте* '**О своей собаке** не беспокойтесь'. С другой стороны, этот объект, как правило, был уже ранее введен в текст и известен слушающему[12]. Таким образом, топик выполняет и вторую свою функцию: он обеспечивает связь данного высказывания с предшествующим текстом. Поэтому можно сказать, что заполненный пациенсом или адресатом топик играет в тексте роль коннектора: этой своей разновидностью предикативная структура непосредственно связывается с более высоким уровнем – уровнем текста и его построения. Именно эта связанная с построением текста семантика, по нашему мнению, дает основание некоторым авторам приравнивать топик к теме, но для нас эти термины не отражают одно и то же синтаксическое явление, потому что тема может включать более широкую часть эксплицитно выраженной семантики высказывания (может включать, кроме топика, и исходный предикативный основной элемент, и даже предикат, например: *Этот браслет* (топик + часть темы) *твоя бабушка мне подарила* (остаток темы) *пять лет назад* (рема)), а может и не находиться в самом начале предложения. Когда в начальной позиции нет топика, а есть исходный предикативный основной элемент, синтаксическая конструкция имеет **немаркированный** порядок слов, а когда в ней заполнен топик, охватывающий некоторую часть высказывания, которая не совпадает с исходным предикативным основным элементом, а чаще всего – и с подлежащим, порядок слов становится **маркированным** (ср. немаркированные варианты приведенных выше предложений: *Твоите родители донесоха* ***подаръка*** 'Твои родители принесли **подарок**'; *Не се безпокойте* ***за кучето си*** 'Не беспокойтесь **о своей собаке**').

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕДИКАТИВНОГО ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ПРЕДИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ

Итак, самой характерной чертой использованного здесь понятия о предикативном основном элементе является то, что предикат приписывает ему как относительно более самостоятельному семантическому элементу какой-то признак, причем вместе предикативный основной элемент и предикативный признак образуют предикацию, которая представляет данное внеязыковое событие как единое целое. Как мы уже отметили выше, прототипический для агентивного события вид предикативной структуры в болгарском языке представлен в двусоставных повествовательных высказываниях типа:

(1) ***Хората на улицата*** *разговарят* '**Люди на улице** разговаривают'

с препозитивным подлежащим в роли предикативного основного элемента и с предикативным признаком, выражаемым глагольным предикатом и приписывающим ему признак-действие; или

Хората на улицата *са радостни* '**Люди на улице** радостны'

с именным предикатом, который ему приписывает признак-характеристику.

В языке сформировались и другие модели предикативной структуры агентивных и дезагентивных высказываний, которые далее модифицируют эту основную, прототипическую языковую модель агентивного события.

Можем, например, привести трансформации представленного выше высказывания (1), в болгарском языке связанные с порядком слов в высказывании и с наличием / отсутствием постпозитивного определительного члена в форме подлежащего, которые из-

---

личным местоимением прямого дополнения и косвенного дополнения с предлогом *на* (т.е. аргументов с семантической ролью пациенса и адресата).

[12] Неизвестный объект может занимать эту позицию только в интродуктивном предложении, например: ***Едно момче*** *веднъж майка му го изпратила на гости при баба му* '**Одного мальчика** как-то раз мать послала в гости к бабушке'.

менят предикативный основной элемент. В предложении (2) опять представлена двусоставная структура, но с постпозитивным подлежащим (т.е. предикат + **субъект)** в форме без определительного члена:

(2) ***На улицата*** *разговарят хора* '**На улице** разговаривают люди'

С одной стороны, в таких предложениях исходный предикативный основной элемент в начальной позиции уже включает не подлежащее, а **локализатор** – *на улицата* 'на улице'. С другой стороны, предикативный признак, приписываемый этому локализатору (*что происходит на улице, почему говорящий ее упоминает?*), представляет отображение одного целостного события, которое вводится в речевой «кругозор» слушающего и приписывается локализатору *на улицата*. Однако в таких предложениях у предиката (мы назовем его **вводящим**) есть и другая основная функция: он вводит свое подлежащее как новую информацию в кругозор слушающего. Подлежащее снова займет позицию предикативного основного элемента, который в этот раз назовем **ожидаемым**. Таким образом, мы можем определить обратный порядок слов П – С как характерный (и немаркированный) именно для высказываний с вводящим предикативным признаком, который вводит как неупомянутого перед этим совершителя действия. Этот вид предикативной структуры: **/исходный локативный ПОЭ/ + вводящий ПП + ожидаемый ПОЭ**, представляет, по нашему мнению, другую основную разновидность предикативной структуры в болгарском языке, а в зависимости от того, есть ли в ожидаемом предикативном основном элементе агенс, или там находится пациенс, высказывание может быть агентивным или дезагентивным (конкретнее – пассивным). Локализатор заключаем в скобки, потому что он может и не эксплицироваться, хотя тогда будет подразумеваться. Это означает, что всегда в случае вводимого события с предикативной структурой второго основного типа (**вводящий ПП + ожидаемый ПОЭ**) это событие где-то локализуется, эксплицитно или имплицитно.

Как мы сказали, устранение агенса и из **ожидаемого** предикативного основного элемента превращает высказывание в болгарском языке из агентивного в дезагентивное, ср.: *По коридора непрекъснато минаваха някакви хора* 'По коридору все время проходили какие-то люди' (агентивное) ~ *По коридора непрекъснато се минаваше* 'По коридору все время проходили' (дезагентивное), буквально это предложение переводится с болгарского как 'По коридору все время проходилось'.

В таких вводящих данное событие высказываниях кроме исходного предикативного основного элемента, который представлен другой своей разновидностью – **локативным** предикативным основным элементом, в рамках вводимого события содержится и второй предикативный основной элемент на втором уровне – «ожидаемый» предикативный основной элемент, потому что в болгарском языке произнесенная фраза: *На улицата разговарят...* 'На улице разговаривают...' вызывает ожидание носителя выражаемого предикативного признака: *хора*[13] 'люди', т.е. этот ожидаемый предикативный основной элемент представляет для участников речевой ситуации когнитивную реальность. Он заканчивает, стабилизирует незаконченную без него предикативную структуру. Ожиданию постепенно поступающего языкового материала в произведении и рецепции языкового выражения особое значение придают, например, Р. Богранд и В. Дреслер, которые применяют к этим процессам процедуральный подход, т.е. рассматривают их

[13] Роль в толковании таких случаев со стороны слушающего играет и интонация высказывания, которая должна сигнализировать о незаконченности. Если интонация в этом примере будет выражать законченность, может подразумеваться и ?*На улицата разговарят* 'На улице разговаривают' в неопределенно-личной конструкции, хотя в болгарском языке, в отличие от русского, глагол *разговарям* 'разговаривать' в сочетании с локализатором *на улицата* 'на улице' не подходит для такой конструкции. В болгарском языке употребление неопределенно-личной формы обязательно предполагает, что конкретный устраненный агенс можно в какой-то степени восстановить из контекста, тогда как в приведенном высказывании это невозможно.

динамически, как применение стратегий с ошибочными и подтвержденными ожиданиями со стороны говорящего. В работе [Богранд, Дреслер 1995] цитируется исследование Стивенса и Румельгарда, в котором авторы «приходят к выводу, что синтаксические предсказания информантов о том, как с одного определенного места будут продолжаться тексты, приблизительно в 75 % случаев совпадают» [Там же: 59][14]. Сравним также и динамическую модель Д. Шифрин, которая считает, что «коммуникативное значение конструируется в процессе взаимодействия говорящего и слушающего и возникает из совместно распознаваемых последовательностей ожиданий и случайных событий в процессе смены коммуникативных ролей» [Schiffrin 2001: 67].

Мы могли бы, конечно, говорить и о других «ожидаемых» синтаксических элементах в предложении; например, предикат подобным образом вводит и свое прямое дополнение (когда оно является его обязательной валентностью), ср.:

Учениците носят... дневника / топката / тетрадките 'Ученики приносят... дневник / мяч / тетради'.

Здесь, однако, мы не можем говорить о предикативном основном элементе, потому что предикат не приписывается пациенсам, а скорее наоборот – они ему приписываются, дополняют его.

Когда вводящий предикат приписывает предикативный признак **ожидаемому** предикативному основному элементу, который всегда играет роль подлежащего, он разделяет с ним общие для имени и глагола категории (число и, если форма различает, род) и принимает личную форму в зависимости от характера предикативного основного элемента (существительное и местоимение в 3 л., местоимение в 1 или 2 л.), ср.:

*Под чадъра на терасата е седнала **майка ми** / сте седнали **вие*** 'Под зонтом на террасе уселась **моя мать** / уселись **вы**'.

Та же самая закономерность обязательна и для **исходного** предикативного основного элемента[15]. К другому вводимому члену предложения предикат не выражает подобной зависимости. Тот факт, что предикат разделяет грамматические особенности предикативного основного элемента, означает, что разделение в рамках предикативной структуры совершается ранее, чем оформление грамматических категорий в предложении.

Соответствие нашим двум основным разновидностям предикативной структуры можно найти в работе [Шахтер 1982], где автор определяет значение двух типов предложений: (а) *The book is on the table* и (б) *There is a book on the table* – как значение местонахождения и значение существования. П. Шахтер приходит к выводу, что рассматриваемые синтаксические структуры совершенно различны и что эта разница – широко распространенное в языках явление. Исследователь утверждает, что «в локативном предложении», т.е. в (а), «локализуемая сущность <...> выражена подлежащим, а в экзистенциальном предложении», т.е. в (б), «экзистент <...> синтаксически выражен как часть сказуемого» [Там же: 330]. Далее автор делает обобщение, что в разных языках у экзистенциальных предложений есть или структура без подлежащего, или конструкция с фиктивным подлежащим. Эти наблюдения, сделанные только на основе локативных отношений, соответствуют нашему разделению предикативной структуры немаркиро-

---

[14] О таком внутреннем «ожидании» последующих языковых элементов в речи говорит, например, и М. Пфютце [Пфютце 1978], называя такие языковые средства прямонаправленными, но он рассматривает их на более высоком уровне – на уровне межфразовых связей – и выдвигает перед ними большие семантические ограничения.

[15] В синкретических номинативных языках к согласованию предиката с совершителем действия добавляется и оформленность субъекта основным падежом (номинативом); ср. иное положение дел в языках с эргативно-абсолютивной моделью падежей, где субъект получает падежное оформление в соответствии не со своей семантикой совершителя действия, а с транзитивной / интранзитивной семантикой предиката; см. [Van Valin 2004].

ванных высказываний на два основных типа: на **исходный субъектный ПОЭ + приписываемый ПП** (которому локативное предложение соответствовало бы как одна из его разновидностей) и на вводящий предикативный признак с ожидаемым предикативным основным элементом, т.е. **вводящий ПП + ожидаемый ПОЭ** (одной из разновидностей которой является экзистенциальное предложение). Английскому порядку слов (в приведенных выше предложениях), при котором независимо от семантических и формальных различий между двумя вариантами сохраняется положение подлежащего перед сказуемым, в некоторых славянских языках – например в болгарском и русском – соответствуют два типа порядка слов в зависимости от намеченных двух типов предикативных структур (в их немаркированном варианте). При указании на местонахождение данного объекта эти языки строят высказывание по модели с **исходным субъектным** предикативным основным элементом (ПОЭ + ПП) и с порядком слов **С – П**, тогда как в экзистенциальном предложении, которое утверждает наличие чего-либо в каком-то локализаторе, высказывание должно иметь немаркированный порядок слов по модели: **вводящий** предикативный признак **+ ожидаемый** предикативный основной элемент, соответственно **П – С**. Болгарский язык, однако, эксплицирует семантическую разницу и с помощью иного предиката, тогда как в русском языке другой формальной разницы, кроме разницы в порядке слов, нет; ср.:

болг. *Книгата **е** на масата ~ На масата **има** книга*;
русск. *Книга на столе ~ На столе книга.*

Таким образом, первый вариант немаркированного порядка слов, с исходным субъектным предикативным основным элементом, является прототипическим для подлежащего, выражаемого определенной дескрипцией, которой приписывается предикативный признак; второй вариант является прототипическим для синтаксической семантики введения события как единого целого (поэтому П. Шахтер считает, что в экзистенциальном предложении экзистент является частью сказуемого), с вводящим предикатом и ожидаемым предикативным основным элементом, выражаемым неопределенной дескрипцией. Представление о прототипическом варианте, конечно, не отрицает существования также и периферийных проявлений, подчиненных обратной тенденции, ср.: *На дивана е твоята книга* ‘На диване – твоя книга’ (вводящий предикат с определенной дескрипцией в роли ожидаемого предикативного основного элемента) и *Един човек много обичал да пътува* ‘Какой-то человек очень любил путешествовать’ (с неопределенной дескрипцией в позиции исходного предикативного основного элемента). Но в болгарском языке все же невозможно, чтобы неопределенная дескрипция заняла это место в экзистенциальном предложении с немаркированным порядком слов (с глаголом *съм* или с безличным предикатом *има*): **Една книга има/е на дивана* ‘Одна книга – на диване’.

Наши рассуждения подтверждает один интересный пример различия в значении высказываний, который приводит Б.А. Успенский [Успенский 1970: 29], хотя и не с экзистенциальным предикатом, а с предикатом с семантикой динамического действия: (а) *Вошла Наташа* / (б) *Наташа вошла.* Для этих предложений мы бы определили предикативные структуры соответственно: **исходный субъектный ПОЭ + ПП** и **вводящий ПП + ожидаемый ПОЭ**. В первом предложении автор видит внутренний монолог, т.е. переход к точке зрения (фразеологической) самого наблюдающего героя, который констатирует вхождение Наташи, поясняя, что «мы, читатели, не можем знать кто такая Наташа, но нам предлагается точка зрения не внешняя, но внутренняя по отношению к воспринимающему герою». О втором предложении автор замечает, что «синтаксическая организация предложения такова, что не может соответствовать ни восприятию героя, ни восприятию абстрактного постороннего наблюдателя; скорее всего, тут используется точка зрения самой Наташи» [Там же]. В своей концепции мы не используем термин **точка зрения**, потому что то же самое прагматическое значение усматривается и у неодушевленных объектов, у которых нет точки зрения; разница в значении двух

предложений, рассматриваемых Успенским, как мы сказали, состоит в различных предикативных структурах: для (а) – **вводящий** ПП + **ожидаемый** ПОЭ; для (б) – **исходный** ПОЭ + ПП.

Представленное здесь разделение на две основные предикативные структуры может найти подтверждение и в примерах, которые анализирует в одной своей работе К. Ламбрехт [Lambrecht 1996]. Автор представляет себе ситуацию, предполагающую употребление интродуктивного предложения: в автобус входит новый пассажир и сообщает людям, которые уже там сидят, почему он тоже будет ехать на автобусе. Входя в автобус, этот человек на английском языке использует высказывание ***My car*** *broke down* с логическим ударением на субъекте *my car*. В духе нашей терминологии этим высказыванием говорящий вводит целое событие, включая и выраженный определенной дескрипцией субъект *my car*, в кругозор слушающих в качестве новой информации, что соответствует нашему пониманию о **вводящем** предикате и **ожидаемом** ПОЭ. Однако порядок слов С – П в этом английском предложении соответствует нашей предикативной структуре с **исходным субъектным** ПОЭ, которая в немаркированном виде в болгарском языке не может иметь значения введения целостного нового события. Далее автор приводит перевод английского предложения на итальянский язык: *Mi si e rotta la macchina*, где предикативная структура будет иной. В ней субъект *macchina* вводится в кругозор слушающих в позиции **ожидаемого** ПОЭ после предиката. В болгарском языке этим двум предложениям тоже будет соответствовать предикативная структура с **вводящим** предикатом и с **ожидаемым** ПОЭ *колата* после предиката: *Счупи ми се колата* 'У меня сломалась машина'[16]. Эта болгарская предикативная структура для введения нового события является немаркированной. То же самое событие говорящий может ввести как новое и предикативной структурой с субъектом в начальной позиции: ***Колата ми*** *се счупи* '**Машина** у меня сломалась', но тогда эта структура будет маркированной. В ней вводимый в текст **ожидаемый** ПОЭ *колата* вместо позиции после предиката находится в **топике**[17], и на него падает логическое ударение.

Сам автор анализирует английский пример и его итальянское соответствие[18], применяя семантический, прагматический, просодический и синтаксический критерии, и приходит к выводу, что если в английском языке синтаксическая структура в приведенном примере немаркирована, а просодическая (с логическим ударением в начальной позиции вместо немаркированной конечной позиции) маркирована, в итальянском предложении просодическая структура немаркирована, а синтаксическая – маркирована.

Другой подход к таким синтаксическим структурам, которые включены в более общую группу структур с неканоническим порядком слов, применяют Б. Бирнер и Г. Ворд [Birner 2006; Birner, Ward 2009], считая такие структуры чувствительными к статусу, который их элементы имеют по отношению к дискурсу и к слушающему (авторы анализируют отношение составных элементов к новой / старой для дискурса / для слушающего информации).

Вернемся теперь к нашим трансформациям ранее приведенного высказывания (1). Возможна (подобно приведенному выше предложению *На масата е твоята книга*) и следующая трансформация:

(3) ***На улицата*** *разговарят твоите хора* '**На улице** разговаривают твои люди',

---

[16] Местоимение в дательном падеже выполняет роль **экспериентивного** ПОЭ, которому приписывается ПП (о нем см. ниже). В итальянском и русском языках этот ПОЭ занимает начальную позицию в предложении, но в болгарском языке немаркированным является употребление краткой формы местоимения (*ми* вместо *на мене*), которая невозможна в начальной позиции.

[17] Это не исходный ПОЭ, а топик, потому что иначе бы дублировался **экспериентивный** ПОЭ *ми* 'у меня'.

[18] В [Lambrecht 1996] рассматривается еще и французский аналог высказывания, который является сложным предложением.

где подлежащее снова постпозитивно, но у него уже есть определительный член, т.е. оно является определенной дескрипцией. В (3), следовательно, исходному **локативному** предикативному основному элементу *на улицата* опять приписывается как предикативный признак событие, чей предикат вводит в выражаемую ситуацию свое подлежащее, но оно в принципе уже известно для слушающего. В рамках этого вводимого предикатом события, которое затрагивает известное подлежащее, можем снова выделить на втором уровне структуру с **вводящим** предикативным признаком (*разговарят*) и с **ожидаемым** предикативным основным элементом (*твоите хора*). К **исходному локативному** предикативному основному элементу можно ввести и событие с безличным **вводящим** предикатом, например: ***На улицата*** *има хора* 'На улице есть люди'.

Локативный исходный предикативный основной элемент может выступать в двух семантических разновидностях: 1) когда он кореферирует с заданным в предшествующем тексте локализатором; 2) когда он изменяет точку зрения. Метафорически его значение можно сравнить с биноклем, который фокусирует мысленный взгляд, переходящий с одной точки на другую. Ср. пример со значением, определенным в 1):

В ***стаята*** *беше тъмно и неуютно. В един момент обаче токът дойде и стана светло. Точно тогава* ***в стаята*** *влязоха твоите хора* '**В комнате** было темно и неуютно. Вдруг, однако, электричество включили и стало светло. Именно тогда **в комнату** вошли твои люди'.

Пример для значения 2):

В стаята *беше тъмно и неуютно, всички бяха напрегнати. Точно тогава* ***в двора*** *влязоха твоите хора* '**В комнате** было темно и неуютно, все были напряжены. Именно тогда **во двор** вошли твои люди'.

О специфике фокуса см. и у Т.А. ван Дейка, который подчеркивает, что «главное свойство фокуса как раз и состоит в *перемене фокуса*. Таким образом, вполне может оказаться, что в поверхностной структуре текста специфическими средствами обозначаются не сами фокализованные элементы как таковые, а лишь перемена фокуса». Среди средств, которыми выражается перемена в фокусе, Дейк указывает и на начальную позицию в высказывании под ударением [ван Дейк 1978: 322].

Чаще всего **локативный исходный** предикативный основной элемент имеет пространственную семантику; такое обстоятельственное пояснение только меняет фокус или задерживает его на месте, где совершается событие с вводящим предикативным признаком и ожидаемым предикативным основным элементом. В отличие от этого, обстоятельственные пояснения с темпоральным значением чаще всего занимают позицию в **топике** и выполняют специфическую прагматическую задачу (разновидность двух вышеупомянутых основных прагматических задач топика). Они служат говорящему сигналами того, что прежняя повествовательная нить прерывается и начинается новая, причем повествование ведется с перспективы исходного субъектного предикативного основного элемента, ср.:

В стаята беше тъмно и неуютно. ***След няколко минути*** *обаче твоите хора влязоха и атмосферата се подобри* 'В комнате было темно и неуютно. **Через несколько минут**, однако, твои люди вошли и атмосфера улучшилась'

(ср. и выражение *точно тогава* 'именно тогда' из примеров, приведенных выше, которое выполняет ту же самую роль). Темпоральная семантика намного реже может выполнять роль исходного локативного предикативного основного элемента, который бы служил базой для введения нового события с ожидаемым предикативным основным элементом, как это наблюдается, например, в предложении ***През пролетта*** *цъфтят цветята и грее слънце* '**Весной** цветут цветы и греет солнце' с немаркированной предикативной структурой: **/исходный локативный ПОЭ/ + вводящий ПП + ожидаемый**

ПОЭ, что объясняется именно неприспособленностью темпоральной семантики к характеризации – в отличие от пространственной[19].

4. ДРУГИЕ ВИДЫ ПРЕДИКАТИВНОГО ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ПРЕДИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ

В речи, конечно, встречаются и такие нераспространенные предложения, как, например, *Звъни се!* 'Звонят!' (букв. 'Звонится!'), в которых устранен локализатор (ранее мы указали на эту возможность скобками, в которые в приведенной выше схеме заключили эксплицитный исходный локативный предикативный основной элемент). В предикации тогда остается выраженным только предикативный признак, который, однако, не приписываясь лексически выраженному локализатору, закрепляется за таким имплицитным локализатором, который назовем термином **ситуативный** ПОЭ. Под этим термином мы имеем в виду подразумеваемое место, составляющее элемент выражаемой ситуации. В этом третьем виде предикативной структуры отсутствуют как исходный (субъектный или локативный), так и ожидаемый предикативный основной элемент.

Другой разновидностью имплицитного предикативного основного элемента является **дейктический** ПОЭ. Например, в речевой ситуации прямого диалога для высказываний в 1 и 2 л. в болгарском языке немаркированной является синтаксическая структура с опущенным подлежащим[20], например:

Занесох ти палтото на химическо чистене '/Я/ Отнесла твое пальто в химчистку';
Разказа ли на учителката за Иван? '/Ты/ Рассказала учительнице про Ивана?' и т.д.

Введение подлежащего в такие структуры в болгарском языке делает их маркированными каким-то специфическим семантическим нюансом, потому что, на наш взгляд, это подлежащее (*я*; *ты*) входит в топик (а не в позицию исходного предикативного основного элемента) и в ситуации прямого диалога формально является избыточным, потому что дублирует **дейктический** ПОЭ. Так, следующий вариант (без логического ударения) может подразумевать частицу *все пак* 'все-таки':

Аз ти занесох палтото на химическо чистене 'Я отнесла твое пальто в химчистку'
= *Аз ти занесох* ***все пак*** *палтото* 'Я **все-таки** отнесла твое пальто';
Ти разказа ли на учителката за Иван? 'Ты рассказала учительнице про Ивана?'
= *Ти разказа ли* ***все пак*** *на учителката за Иван?* 'Ты рассказала **все-таки** учительнице про Ивана?'

Эта фраза может подразумевать и упрек собеседнику в результате противопоставления: = *Аз ти занесох палтото, а ти не искаш да ми направиш тази услуга* 'Я отнесла твое пальто, а ты не хочешь мне услужить' и др.

Мы называем рассматриваемый тип имплицитного предикативного основного элемента «**дейктическим**», потому что он содержится в самой речевой ситуации. Поэтому, в отличие от приведенных выше предложений с агенсом в 1 или 2 л., если снова в прямом диалоге говорящий скажет своему собеседнику без предварительного текста: *Върнаха се в неделя* 'Возвратились в воскресенье' с предикатом в 3 л., собеседник не будет знать, кому приписывается предикативный признак. Говорящий потерпит коммуни-

---

[19] Ср. этот пример с предложением: ***През пролетта*** *Иван живя на село* '**Весной** Иван жил в деревне', где тот же самый локализатор уже расположен в топике и сигнализирует о начале новой повествовательной линии об Иване.

[20] К. Иванова и Р. Ницолова по этому поводу отмечают: «...в болгарском языке, в отличие от таких языков как немецкий, французский и английский, личные местоимения первого и второго лица можно опускать» [Иванова, Ницолова 1995: 21]. Мы утверждаем, что при немаркированном варианте высказывания с такими местоимениями их, как правило, не только можно, но и нужно опускать.

кативную неудачу, потому что референтный акт по отношению к выражаемому событию не совершится: предикативный основной элемент отсутствует в речевой ситуации, и у собеседника нет исходной точки, на которую бы он «встал», чтобы развернуть информацию о событии, приписывая ей предикативный признак. В прямом диалоге, как мы уже сказали, исходная точка находится в рамках самих речевых условий, в присутствии соответствующих лиц. Это присутствие имеет главное значение для правильного понимания данного высказывания, а глагольные окончания играют только дополняющую и подтверждающую роль. К примеру, если говорящий обратится к слушающему и задаст ему вопрос: *Разказа ли на учителката за Иван?* 'Рассказал учительнице про Ивана?', без подходящего предварительного текста слушающий, носитель болгарского языка, не поймет предложение как вопрос о третьем лице, хотя здесь аористная форма может относиться и к третьему лицу. Это происходит потому, что слушающий знает языковую конвенцию, согласно которой он должен приписать выраженный предикативный признак какому-то предикативному основному элементу, а без подходящего предварительного текста названный предикативный признак не может приписываться третьему лицу. Однако, если существует предварительный текст, в котором упоминается данный объект, предикативный основной элемент будет задан в предшествующих предложениях, без других языковых сигналов информация будет развертываться и предикативный признак припишется в направлении (или, как говорит Нунэн, – в «ориентации»), которое он определяет. Такой предикативный основной элемент назовем **контекстуальным** ПОЭ и будем его рассматривать как частный случай **исходного** ПОЭ; например,

Иванови *се върнаха от морето. Дойдоха си вчера по обед* '**Семья Ивановых** вернулась с моря. Пришли вчера около полудня'.

Он связан прежде всего с упоминанием в предшествующем тексте. У С. Димитровой [Димитрова 2009: 188] находим интересный пример **контекстуального** предикативного основного элемента, связанного со следующим текстом, в заголовке статьи в газете: *Изхарчили парите още през август, но ще се оправим* 'Потратили деньги еще в августе, но справимся' (далее в материале становится ясно, кому приписывается предикативный признак *изхарчили парите*).

Контекстуальный и особенно дейктический предикативные основные элементы более частотны в болгарском языке, нежели в русском, а также, как отмечают Иванова и Ницолова и в немецком, французском и английском языках (см. сноску 20).

Как следующую разновидность предикативного основного элемента выделяем и другой вид эксплицитного элемента, которому приписывается предикативный признак в одном специфическом употреблении неопределенно-личных предикатов. Речь идет о высказываниях типа: *Удариха* ***ме*** *много лошо* '**Меня** ударили очень больно; *Разпитаха* ***го*** *в полицията и* ***го*** *пуснаха* '**Его** расспросили в полиции и отпустили' и др. Здесь предикативный признак приписывается какому-то объекту, который в смысловом отношении объединяет некоторый отрывок текста и который мы называем **центральным персонажем**; например:

Иван *беше арестуван рано тази сутрин. Една съседка видя, че* ***го*** *откарват с полицейската кола. След това* ***го*** *разпитаха в полицията и* ***го*** *пуснаха.* '**Иван** был арестован рано утром. Одна соседка видела, что **его** увозят на полицейской машине. После этого **его** расспросили в полиции и отпустили'.

Такой вид эксплицитного предикативного основного элемента (который не может включать подлежащего) мы назвали **персонажным**.

Наконец, упомянем еще один вид эксплицитного предикативного основного элемента, который тоже никогда не может включать подлежащего, а используется в дезагентивных высказываниях с так называемым логическим субъектом, например: *Страх*

ме е ‘**Мне** страшно’; *Студено **му е*** ‘**Ему** холодно’ и т.п.[21] Назовем такой предикативный основной элемент **экспериентивным**, потому что он обозначает того чувствующего субъекта, того экспериентора, которому приписывается предикативный признак (*страх ... е; студено ... е*); ср.: *Страх **ме е*** ‘Мне страшно’ с экспериентивным предикативным основным элементом ***ме*** ~ ***Аз*** *се страхувам* ‘Я боюсь’ с совершителем-экспериентором ***аз*** в **исходном субъектном ПОЭ**.

5. НЕМАРКИРОВАННЫЙ И МАРКИРОВАННЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ

В нашей концепции, как уже упоминалось, высказывания можно разделить еще по одному признаку – по маркированности / немаркированности порядка слов. Речь идет о случаях, в которых говорящий прибавляет с помощью изменения немаркированного порядка слов дополнительное значение, связанное чаще всего с выражением эмоций, причинно-следственных логических связей, с требованием предшествующего текста и т.п. Например, высказыванием с немаркированным порядком слов *На улицата има хора* ‘На улице есть люди’ говорящий приписывает **локативному** предикативному основному элементу *на улицата* какой-то признак (событие – *има хора*) и не добавляет к этому ничего другого. Если этот немаркированный порядок слов заменить обратным, маркированным: *Има хора на улицата* ‘Люди на улице’, это уже делает языковую форму окрашенной, добавляет какой-то подтекст (т.е. дополнительный семантический элемент с первого из двух вышеупомянутых информационных уровней), скорее всего, связанный с причинно-следственными отношениями, например: *Има хора на улицата, **затова** недей да викаш!* ‘Люди на улице, **поэтому** не кричи!’.

Если же мы изменим порядок слов рассмотренного выше (в разделе 3) высказывания (3) с характером вводящего высказывания (**вводящий** ПП + **ожидаемый** ПОЭ) и с немаркированным порядком слов, мы можем получить две новые разновидности. Одна из них – следующая:

(4) ***Твоите хора*** *разговарят на улицата* ‘**Твои люди** разговаривают на улице’.

В трансформированном высказывании (4) с прямым порядком слов **С – П**, на первый взгляд, нельзя говорить о маркированном порядке слов, потому что оно просто меняет свой вид и становится высказыванием прототипического типа (1) – высказыванием, которым предикативный признак приписывается определенной дескрипции в качестве **исходного** предикативного основного элемента (**исходный субъектный** ПОЭ + ПП).

Чтобы объяснить, почему высказывание (4) может быть истолковано и как вводящая предикативная структура (типа **вводящий ПП + ожидаемый ПОЭ**), но с маркированным порядком слов, мы введем понятие **речевая форма**. У этого понятия в лингвистике нет общепринятого определения, и поэтому оно толкуется и употребляется по-разному. В своей статье О.И. Москальская [Москальская 1980] рассматривает различные подходы к понятию **речевая форма**, из которых два для нас наиболее важны. Так, Е. Виттмерс определяет речевую форму как «основные типы восприятия действительности (способы мышления) и представления действительности (способы текстообразования)». С другой стороны, М. Пфютц и Д. Блей о речевой форме говорят не только при исследовании текстов из художественной литературы, где она применяется, но и распространяют понятие на все виды речевой деятельности, характеризуют речевые формы – сообщение, описание, рассказ, динамическое описание, рассуждение – «как основные речемыслительные формы <...> и основные способы общественной комму-

---

[21] Выше мы определили такой ПОЭ и для предложения *Счупи **ми** се колата* ‘**У меня** сломалась машина’, в котором, хотя и не выражено внутреннее состояние, тоже представлено событие, которое как бы охватывает и включает в себя того, с кем это событие случилось (ср. аналогичные примеры, но о внутреннем состоянии: *Изтръпна **ми** кракът* ‘**У меня** онемела нога’, *Заболя **ме** зъб* ‘**У меня** заболел зуб’).

никации, применяемые как художественной литературой, особенно прозой, так и в различных сферах практической и научной деятельности» [Москальская 1980: 37]. В нашей работе мы принимаем именно такое толкование этого понятия. Схожими по своему значению с термином **речевая форма** являются такие понятия, как **регистры речи** (с **регистровыми вариациями**) у Г.А. Золотовой [Золотова 1995] или **речевые регистры** у С. Димитровой [Димитрова 2001], **композиционно-речевая форма передачи информации** у И.Б. Руберта [Руберт 1990], **функционально-смысловые типы речи** (или виды логических единиц) у В.В. Одинцова [Одинцов 1980] и др.

Если мы теперь вернемся к рассматриваемому выше высказыванию (4), в одной определенной речевой форме – **введении побочной повествовательной линии**, эта структура станет маркированной: когда в повествовании идет одна основная повествовательная линия о каком-то объекте, но в определенный момент вводится вторая, побочная линия повествования о другом объекте. Тогда немаркированным вариантом будет восприниматься упомянутое выше высказывание (3), которым эта вторая линия вводится, т.е. высказывание с **ожидаемым** предикативным основным элементом и с обратным порядком слов **П – С**, тогда как высказывание (4) станет маркированным, ср.:

Днес Петър беше много разсеян. Докато вървеше пеша, все за нещо си мислеше, нищо не му правеше впечатление. Твоите хора разговаряха на улицата, но той дори не ги забеляза 'Сегодня Петр был очень рассеян. Пока шел пешком, все о чем-то думал, ничего не замечал. Твои люди разговаривали на улице, а он их даже и не увидел';

немаркированным был бы вариант:

...нищо не му правеше впечатление. На улицата разговаряха твоите хора, но той дори не ги забеляза '...ничего не замечал. На улице разговаривали твои люди, а он их даже и не увидел'[22].

Как результат трансформации примера (3), кроме высказывания (4), мы можем получить следующее высказывание:

(5) *На улицата **твоите хора** разговарят* 'На улице **твои люди** разговаривают'

с прямым порядком слов **С – П**, который, однако, будет маркированным из-за позиции локализатора в топике вместо позиции после предиката (локализатор здесь не входит в исходный предикативный основной элемент, потому что тот включает препозитивное подлежащее *твоите хора* 'твои люди'). Этим высказыванием говорящий опять, более эксплицитным способом по сравнению с немаркированным вариантом (1), обеспечивает связь с предшествующим текстом, точнее – с эвентуальным локализатором, который должен быть перед этим уже введен в какой-то текст и с которым локализатор *на улицата* или имеет один и тот же референт, или, наоборот, заменяет его другой фокусирующей перспективой; ср. для первого значения:

*Надникнах **през прозореца** да видя има ли **навън** нещо съмнително. **На улицата** твоите хора разговаряха с някакъв непознат* 'Я глянул **в окно**, чтобы посмотреть, есть ли **на улице** что-нибудь подозрительное. **Там** твои люди разговаривали с каким-то незнакомцем';

для второго значения:

*Ние си седим **тук** на топло **в стаята**, а **на улицата** твоите хора разговарят със съседите* 'Мы **здесь** сидим **в комнате** в тепле, а **на улице** твои люди разговаривают с соседями'.

---

[22] Для этого наблюдения нам дало идею толкование с несколько иной точки зрения группы примеров, названной «условия появления случайного персонажа», в работе [Селиверстова, Прозорова 1992: 215–220].

Итак, как мы уже видели, локализатор в начале предложения принадлежит **исходному ПОЭ** при немаркированном порядке слов в случаях вводящего высказывания с обратным порядком слов **П – С**: 1) локализатор + *разговарят хора* (*хора* – неопределенная дескрипция) и 2) локализатор + *разговарят твоите хора* (*твоите хора* -- определенная дескрипция).

Отметив, что мы различаем оппозиции прямой / обратный и маркированный / немаркированный порядок слов[23], обобщим, что **немаркирован** для нас **прямой** порядок слов (**С – П**) в высказываниях типа **исходный субъектный ПОЭ + ПП**[24], ср.:

Хората разговарят на улицата 'Люди разговаривают на улице'.

С другой стороны, **немаркирован обратный** порядок слов (**П – С**) в вводящих высказываниях с предикативной структурой **исходный локативный ПОЭ + вводящий ПП + ожидаемый ПОЭ**, например:

На улицата разговарят хора 'На улице разговаривают люди' и
На улицата разговарят твоите хора 'На улице разговаривают твои люди'.

Немаркирован обратный порядок слов, **П – С**, и с предикатами, означающими эмоции и ощущения, выраженные, однако, глагольно-именной аналитической фразой с логическим субъектом (т.е. с упомянутым выше **экспериентивным** ПОЭ) типа: *обзема **ме** лудост / страх / гняв / радост* '**меня** охватывает сумасшествие / страх / гнев / радость' (= *полудявам / уплашвам се / разгневявам се / зарадвам се* 'сойти с ума / испугаться / разгневаться / обрадоваться'), *осенява **ме** мисъл* 'меня осеняет мысль', *хваща **ме** страх* 'меня берет страх' и др., например, в таких высказываниях:

Докато гледах тази сцена, обзе ме луда радост 'Пока я смотрел на эту сцену, меня охватила безумная радость';

Хвана ме страх само при мисълта за него 'Меня охватил страх уже при одной мысли о нем'.

Соответственно этому немаркированному порядку слов данная эмоция или ощущение вводится как **ожидаемый** предикативный основной элемент и воспринимается как одно целостное событие с вводящим предикатом, а не как **исходный** предикативный основной элемент (*радость*, *страх* и т.д.), которому бы приписывался предикативный признак (*охватывает меня*, *хватает меня* и т.д.), например: *Радость меня охватила*; *Страх меня охватил*.

Употребление таких аналитических предикатов со значением эмоции или ощущения и с **экспериентивным** предикативным основным элементом вместо соответствующего медиального глагола с субъектом-экспериентором (*зарадвам се* 'обрадоваться'; *ядосвам се* 'разозлиться') дает то преимущество, что фраза обогащается различными определениями, несущими семантические нюансы: *обзе го луда / наивна / отдавна забравена радост* 'его охватила безумная / наивная / давно забытая радость'. И при маркированном прямом порядке слов **С – П** сохраняется восприятие этих конструкций как событие, вводимое как одно целое, а не как событие с предикативной структурой **исходный субъектный ПОЭ + ПП**, хотя формально такой порядок слов соответствует именно второму толкованию, см. следующий текст (пример из [Селиверстова, Прозорова 1992]):

---

[23] Термин «**маркированный / немаркированный** порядок слов» является синонимом термина «**объективный / субъективный** порядок слов», который использует, например, В. Матезиус [Матезиус 1967].

[24] Но речевая форма «введение побочной повествовательной линии», как мы сказали, делает и его маркированным.

– Стой! Ни шагу, – крикнул он, хватая его за локоть. Ставрогин рванул руку, но не вырвал. *Бешенство охватило* его: схватив Верховенского за волосы левой рукой, он бросил его изо всей силы об земь и вышел в ворота.

Как отмечают авторы, такой (**маркированный**, с нашей точки зрения) порядок слов используется, когда из самого выражаемого события вытекает какое-то следствие (как и в примере: *схватив Верховенского за волосы левой рукой, он...*). Так, в выделенном предложении с прямым порядком слов не выражен исходный предикативный основной элемент *бешенство*, которому бы приписывался предикативный признак *охватило меня*, оно выражает одно целое вводимое событие: *его охватывает бешенство*. И при этом маркированном порядке слов говорящий выражает какой-то дополнительный подтекст, в данном случае – эксплицирование при помощи порядка слов упомянутой причинно-следственной связи.

Есть, конечно, и другие причины, которые заставляют говорящего трансформировать немаркированный порядок слов в маркированный (такой причиной в болгарском языке является также и эмоциональность, ср. немаркированное высказывание: *Тази къща е хубава* 'Этот дом – красив' с маркированным: *Хубава е тази къща!* 'Красив этот дом!'), но для нас достаточно отметить следующее:

– при немаркированном порядке слов **С – П** выражается структура **исходный субъктный ПОЭ + ПП**;

– при немаркированном порядке слов **П – С** вводится целое событие с **вводящим ПП** и **ожидаемым ПОЭ**, причем эта семантика сильнее выражается с подлежащим в форме без определительного члена;

– маркированный порядок слов не меняет прагматическую семантику, выражаемую немаркированным вариантом, а добавляет к ней дополнительный прагматико-семантический оттенок.

6. ВИДЫ ПРЕДИКАТИВНЫХ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

В различных языках основные предикативные структуры высказывания в большей или меньшей степени различаются, но в близкородственных языках, каковы, например, болгарский и сербский, сходства являются определяющими. Можем обобщить, что в высказывании непременно должен быть какой-то предикативный основной элемент, эксплицитный или имплицитный, которому приписывается предикативный признак. Из своих наблюдений над болгарским языком (как над агентивными, так и над дезагентивными высказываниями)[25] мы вывели следующие виды предикативного основного элемента:

Эксплицитные ПОЭ:

1) **исходный** с двумя разновидностями: а) субъектный или б) локативный, с вариантами:

2) **контекстуальный** исходный ПОЭ, тоже а) субъектный или б) локативный;

3) **ожидаемый** – только субъектный ПОЭ;

4) **экспериентивный** ПОЭ, который характерен для дезагентивов с логическим субъектом типа: *страх ме е* 'мне страшно';

5) **персонажный** – в неопределенно-личных конструкциях типа: *удариха ме* 'меня ударили'.

Два последних вида предикативного основного элемента отличаются от первых трех тем, что предикат грамматически не согласуется с ними, потому что они не принадлежат к двум основным видам предикативного основного элемента: исходного субъектного и ожидаемого;

---

[25] Возможность делать наблюдения и над дезагентивными наряду с агентивными высказываниями, по нашему мнению, в большой степени способствует проникновению в более глубокие слои синтаксиса и прагматики.

Имплицитные ПОЭ:

6) **дейктический** – только в агентивных высказываниях, где а) высказывание выражает конкретную внеязыковую ситуацию – с референтным агенсом (*аз, ние* 'я, мы'; *ти, вие* 'ты, вы'), и б) высказывание выражает генерализованную ситуацию – с генерализированным агенсом (с обобщенно-личными формами в 1 л. мн. ч. и 2 л.);

7) **ситуативный** – только в дезагентивных высказываниях: а) о конкретной ситуации и б) о генерализованной ситуации.

Приведем примеры для каждого из перечисленных видов:

1а) ***Момичето*** *полива цветята* '**Девушка** поливает цветы'; 1б) ***В градината*** *растат цветя* '**В саду** растут цветы' – в агентивных высказываниях;

1а) ***Градината*** *е полята* – 'Сад полит'; 1б) ***В градината*** *са посадени красиви цветя* '**В саду** посажены красивые цветы' – в дезагентивных высказываниях.

2а) ***Момичето*** *живее на долния етаж. Полива цветята си всеки ден по едно и също време* '**Девушка** живет на нижнем этаже. Поливает свои цветы каждый день в одно и то же время'; 2б) ***В градината ни*** *е много хубаво. Растат цветя, пеят птички* '**В нашем саду** очень красиво. Растут цветы, птички поют' – в агентивных высказываниях;

2а) ***Градината*** *е огряна от слънце. Полята е още рано сутринта* '**Сад** озарен солнцем. Полит еще рано утром'; 2б) ***В градината*** *ни всичко е прекрасно. Посадени са красиви цветя, пеят птички...* '**В нашем саду** все прекрасно. Посажены красивые цветы, птички поют...' – в дезагентивных высказываниях.

3) *В стаята влязоха* ***двама селяни*** 'В комнату вошли **два крестьянина**' – в агентивном высказывании; *В списъка бяха записани* ***5 нови имена*** 'В списке было записано **пять новых имен**' – в дезагентивном высказывании.

4) *Скучно* ***ми*** *е с Иван* '**Мне** скучно с Иваном'.

5) *Убедиха* ***ме*** *да си продам колата* '**Меня** убедили продать машину'.

6а) *Днес се връщаш вкъщи уморен* 'Сегодня /ты/ возвращаешься домой утомленным' – в высказывании о конкретном, референтном событии;

6б) *Връщаш се вкъщи уморен, но жена ти започва със скандалите – това живот ли е?!* '/Ты/ Возвращаешься домой утомленным, но твоя жена начинает скандалить – и разве это жизнь?!' – в генерализованном высказывании.

7а) *Я виж ти, построили са нов хотел!* 'Ты смотри, построили новый отель!' – с неопределенно-личной формой; *Чу ли, че се говори, че ще повишават заплатите?* 'Ты слышал, говорят (букв.: говорится), что повысят зарплаты?' с безличным пассивом;

7б) *Когато се яде, не се приказва!* – букв. 'Когда ется, не говорится!' (возможен только в безлично-пассивной конструкции; со сказуемым в неопределенно-личной форме такой предикативный основной элемент, закрепленный за генерализованной ситуацией, в болгарском языке, в отличие от русского, невозможен).

Наконец, кроме предикативного основного элемента и предикативного признака (а также, при необходимости, и пациенса) в предикативной структуре может участвовать и топик – он появляется только тогда, когда начальную позицию заполняет не исходный предикативный основной элемент, субъектный или локативный, а какая-то другая часть предложения (такой частью может быть и какая-нибудь из других разновидностей ПОЭ, ср.: ***Твоята кола я*** *намериха в парка* '**Твою машину** нашли в парке', где вводящий предикативный признак приписывается **персонажному ПОЭ** *твоята кола* 'твою машину', расположенному в топике вместо позиции после предиката). Заполнение топика всегда делает предикативную структуру маркированной, добавляя к семантике предложения более выраженную функцию коннектора в тексте (когда там помещен пациенс или адресат) или выражая какос-то дополнительное значение (ср. немаркированную предикативную структуру для приведенного выше примера: *Намериха колата ти в парка* 'Нашли твою машину в парке', где говорящий не акцентирует связанность с прежним текстом).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Богранд, Дресслер 1995 – *Р. дьо Богранд, В. Дреслер.* Увод в текстовата лингвистика. София, 1995.

Бондарко 1991 – *А.В. Бондарко.* К определению понятия «залоговость» // А.В. Бондарко (отв. ред.). Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.

Бондарко 1992 – *А.В. Бондарко.* Субъектно-предикатно-объектные ситуации // А.В. Бондарко (отв. ред.). Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.

Ван Валин, Фоли 1982 – *Р. Ван Валин, У. Фоли.* Референциально-ролевая грамматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М., 1982.

ван Дейк 1978 – *Т.А. ван Дейк.* Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978.

Димитрова 2001 – *С. Димитрова.* Към въпроса за изграждането на речеви формации в различни комуникативно-прагматични ситуации // С. Димитрова (ред.). Прагматика на текста. Българско езикознание. Т. 2. София, 2001.

Димитрова 2009 – *С. Димитрова.* Лингвистична прагматика. София, 2009.

Золотова 1995 – *Г.А. Золотова.* Говорящее лицо и структура текста // Ю.С. Степанов (ред.). Язык - система. Язык – текст. Язык – способность. М., 1995.

Иванова, Ницолова 1995 – *К. Иванова, Р. Ницолова.* Ние, говорещите хора. София, 1995.

Кацнельсон 1972 – *С.Д. Кацнельсон.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.

Кацнельсон 1974 – *С.Д. Кацнельсон.* О категории субъекта предложения // В.Н. Ярцева (отв. ред.). Универсалии и типологические исследования. М., 1974.

Ли, Томпсон 1982 – *Ч.Н. Ли, С.А. Томпсон.* Подлежащее и топик: новая типология языков // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М., 1982.

Матезиус 1967 – *В. Матезиус.* О так называемом актуальном членении предложения // Н.А. Кондрашова (ред.). Пражский лингвистический кружок. М., 1967.

Москальская 1980 – *О.И. Москальская.* Семантика текста // ВЯ. 1980. № 6.

Нунэн 1982 – *М. Нунэн.* О подлежащих и топиках // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М., 1982.

Одинцов 1980 – *В.В. Одинцов.* Стилистика текста. М., 1980.

Остин 1996 – *Дж. Остин.* Как с думи се вършат неща. София, 1996.

Пфютце 1978 – *М. Пфютце.* Грамматика и лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978.

Руберт 1990 – *И.Б. Руберт.* Коммуникативно-прагматический аспект типологии текстов малых форм // Е.А. Гончарова (отв. ред.). Прагматический аспект предложения и текста. Л., 1990.

Селиверстова, Прозорова 1992 – *О.Н. Селиверстова, Л.А. Прозорова.* Коммуникативная перспектива высказывания // А.В. Бондарко (отв. ред.). Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.

Серль 1986 – *Дж.Р. Серль.* Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986.

Успенский 1970 – *Б.А. Успенский.* Поэтика композиции. М., 1970.

Чейф 1982 – *У. Чейф.* Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М., 1982.

Шахтер 1982 – *П. Шахтер.* Ролевые и референциальные свойства подлежащих // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. М., 1982.

Birner 2006 – *B. Birner.* Inferential relations and noncanonical word order // Drawing the boundaries of meaning: Neo-Gricean studies in pragmatics and semantics in honor of Laurence R. Horn. Amsterdam, 2006.

Birner, Ward 2009 – *B.J. Birner, G. Ward.* Information structure and syntactic structure // Language and linguistics compass. 2009.V. 3. № 4.

Büring 1997 – *D. Büring.* The meaning of topic and focus: The 59th Street bridge accent. London, 1997.

Givón 1992 – *T. Givón.* The grammar of referential coherence as mental processing instructions // Linguistics. 1992. V. 30.

Givón 2001 – *T. Givón.* Syntax: An introduction. V. 1. Amsterdam, 2001.

Jaszczolt 2002 – *K.M. Jaszczolt.* Semantics and pragmatics meaning in language and discourse. London, 2002.

Labov 2011 – *W. Labov.* Oral narratives of personal experience // Cambridge encyclopedia of the language sciences. Cambridge, 2011.
Lambrecht 1996 – *K. Lambrecht.* Information structure and sentence form. Topic, focus and the mental representations of discourse referents. Cambridge, 1996.
Schiffrin 2001 – *D. Schiffrin.* Discourse markers: Language, meaning, and context // D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton (eds.). The handbook of discourse analysis. Oxford, 2001.
Van Valin 2004 – *R.D. Van Valin.* An introduction to syntax. Cambridge, 2004.

Сведения об авторе:

Димка Василева Савова
Софийский университет им. Св. Климента Охридского
dimkasav@abv.bg

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2012

© 2012 г. К.В. БАБАЕВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЯЗЫКАХ ГУР

Статья, подготовленная в рамках проекта по реконструкции нигеро-конголезской системы личного маркирования, содержит сравнительный анализ личных показателей в языках западноафриканской семьи гур и предварительную реконструкцию парадигмы личных местоимений праязыка гур. В статье приводятся доводы, позволяющие значительным образом скорректировать принятую внутреннюю генетическую классификацию языков гур.

В состав семьи гур[1] входит около 100 языков (96, согласно данным электронной базы Ethnologue), носители которых проживают в странах Западной Африки: прежде всего Буркина-Фасо, но также в ряде районов соседних стран: на юге Мали и Нигера, в северной части Кот д'Ивуара, Ганы, Того, Бенина, на северо-западе Нигерии. Можно говорить о значительной компактности языкового ареала гур: существующие в этом ареале анклавы языков других семей (прежде всего манде, но также кру и чадских) относительно невелики. Зона распространения языков гур граничит на юге с языками семьи ква, на западе – манде, на севере – догон и атлантическими, на востоке – преимущественно с языками сонгаи. Кроме последних, все перечисленные семьи языков, как и семью гур, объединяют в составе нигеро-конголезской макросемьи языков.

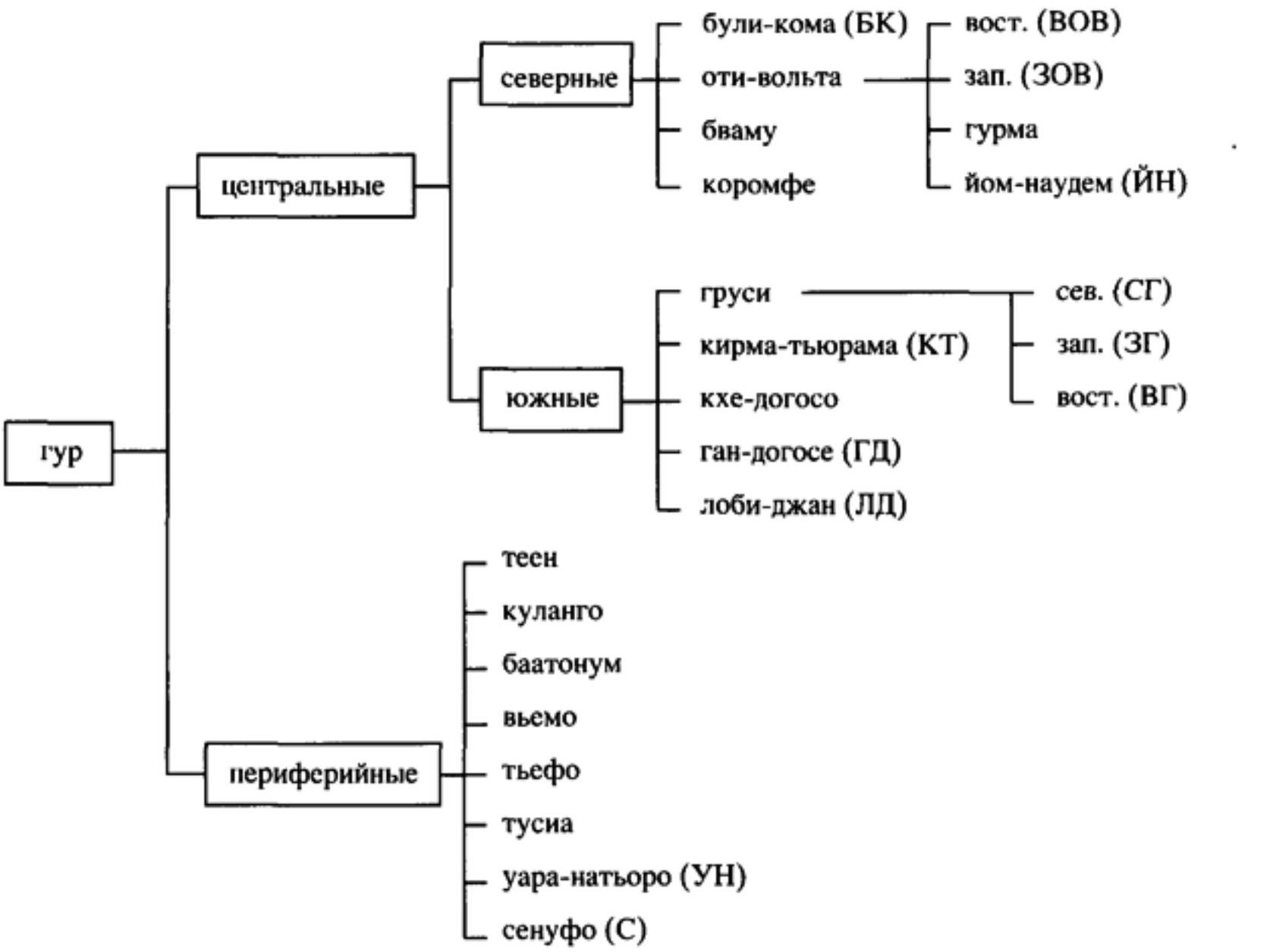
Из-за своего местоположения вдалеке от побережья языки гур сравнительно поздно стали известны лингвистам. Хотя первые сведения о них содержатся еще в «Полиглотте» С. Кёлле [Koelle 1854], говорить о системном изучении языков семьи можно только начиная с середины XX столетия. Тем не менее, благодаря активным усилиям команд полевых исследователей (прежде всего христианских миссионеров, а позже института SIL), на сегодняшний день существуют публикации грамматических очерков и словарей по большинству языков гур. Среди наиболее выдающихся исследователей можно назвать Г. Манесси, А. Проста, У. Вильсона, Дж. Бендор-Самуэля. Российские ученые, насколько нам известно, пока не публиковали работ, посвященных языкам гур.

В основе принятой по сей день внутренней генеалогической классификации языков семьи лежат работы М. Сводеша [Swadesh et al. 1966] и Дж. Бендор-Самуэля [Bendor-Samuel 1971], основанные целиком на лексикостатистическом анализе. Иной подход, с опорой на сравнительно-исторический метод, был использован в работе Г. Манесси [Manessy 1977], однако полученные им результаты классификации лишь незначительно отличаются от дендрограмм предшественников. Классификация Манесси была без существенных изменений воспроизведена в обзорной работе [Naden 1989], а также совсем недавно в [Miehe 2004] (см. Диаграмму 1; в скобках приведены сокращения для названий групп языков).

---

[1] Название было введено Г.-А. Краузе в конце XIX в. на основе созвучия глоттонимов гурма, гурунси (груси), гурманчема и других и употребляется в англо- и немецкоязычной литературе. Во франкоязычных работах устоялось название «вольтийские языки» (*voltaïques*, англ. *Voltaic*).

Диаграмма 1



Тем не менее дискуссия о принадлежности к семье гур ряда групп языков не утихает. Языки гур довольно четко делятся на две части: вполне гомогенную по своему лексическому составу центральную ветвь, объединяющую большинство идиомов семьи, и прочие языки, сгруппированные во многом по остаточному принципу терминами «вероятно центральные» (*Central possible*) и «сомнительно центральные» (*Central improbable*). Сюда относятся языки групп тусиа, уара-натьоро, языки теен, тьефо, вьемо и баатонум, а также большая группа языков сенуфо, которые в последние годы нередко выделяют из состава языков гур в самостоятельную семью [Segerer 2008][2]. Однако если общее генетическое происхождение языков сенуфо представляется довольно прозрачным, то статус других «сомнительных» идиомов, географически расположенных на крайнем западе ареала языков гур (кроме языка баатонум на востоке), остается совершенно неясным. Ранее некоторые из языков небольших групп также относили к сенуфо [Bendor-Samuel 1971]. Привязка многих из этих идиомов к языкам гур довольно условна и может объясняться недостаточным уровнем их изученности. Так, в числе «сомнительных» языков гур долгое время фигурировал язык семе, который по степени лексикостатистической близости с соседними языками гур вполне сравним с некоторыми из перечисленных выше идиомов. Более тщательное изучение семе неопровержимо доказало, что данный язык принадлежит к семье языков кру [Marchese 1986: 10].

Исследование систем личного маркирования может пролить дополнительный свет на проблему классификации и генетических связей различных групп языков, относимых к семье гур. Сравнительному анализу и реконструкции местоименных систем было

[2] В настоящей работе языки гур, не относящиеся к центральной ветви, в том числе языки сенуфо, будут совместно для краткости именоваться периферийными, что соответствует их как генетическому, так и географическому положению.

посвящено несколько исследований последних десятилетий, однако практически все они касались отдельных групп языков: это прежде всего работы Г. Манесси по языкам груси и оти-вольта [Manessy 1969; 1975], работа Э. Надена по западным языкам оти-вольта [Naden 1986], а также недавняя монография К. Самбьени [Sambiéni 2005] по языкам восточной подгруппы оти-вольта. Все три работы, впрочем, лишь мельком касаются реконструкции личных местоимений, часто недостаточно обосновывая приведенные праформы, и ограничиваются субъектными показателями. Ни одна из них, что примечательно, не рассматривает периферийных языков гур.

Важный шаг в направлении реконструкции местоимений праязыка гур сделан в статье Г. Миэ [Miehe 2004], однако выводы автора не следуют дальше определения круга наиболее распространенных моделей в качестве «кандидатов» в праформы, без дальнейшего анализа и собственно реконструкции праязыковой системы. Таким образом, сравнительно-исторический анализ местоимений в языках гур можно как расширить (включив материал языков, ранее не фигурировавших в сравнительных исследованиях), так и углубить (перейдя от постулирования набора возможных праформ к реконструкции целостной парадигмы).

Задачей нашего исследования является сведение воедино всех ранее достигнутых промежуточных результатов сравнения систем личного маркирования языков гур и проведение на основании максимально широкого грамматического материала реконструкции системы, существовавшей в праязыке семьи. Параллельно будет дана оценка существующей классификации языков гур и выделены группы языков, чья принадлежность к данной семье местоименным материалом не подтверждается.

При сравнительном анализе местоименных систем мы будем руководствоваться традиционным сравнительно-историческим методом. Подчеркнем при этом необходимость рассматривать местоимения не как отдельные лексические единицы, а как составные элементы парадигм, оказывающие взаимное влияние друг на друга. Именно парадигматическое сходство систем личных показателей будет считаться доказательством языкового родства, сходство же отдельных (при этом, как правило, фонологически кратких) местоименных лексем с большой вероятностью может являться результатом как ареального контакта и заимствования, так и случайного совпадения.

Еще одним методологическим приемом, используемым в настоящей работе, будет применение метода ступенчатой реконструкции: на основании сравнения современных языков будут реконструированы «промежуточные» системы личных показателей праязыков ряда групп, которые, в свою очередь, станут материалом для реконструкции системы, предположительно существовавшей в праязыке семьи гур. Этот метод, описанный и успешно примененный при праязыковой реконструкции, в частности, М. Хаас [Haas 1958; 1969], позволяет повысить точность реконструкции форм праязыков с возрастом более 5–7 тысяч лет. Так как в настоящем исследовании мы имеем возможность сравнивать довольно большое количество идиомов (82 из 96 языков семьи), групповые реконструкции будут вполне надежными.

Структурно приглагольные личные показатели в языках гур предшествуют предикату; нередко в форме префикса, что объясняет их сверхкраткую форму (C, V, реже CV). Приглагольные показатели субъекта в ряде языков кумулятивно выражают также некоторые грамматические значения собственно предиката, например аспекта, времени и отрицательной полярности. Прямой объект глагола, выраженный местоимением, располагается справа от него и может быть как клитикой, так и аффиксом (граница между этими двумя состояниями для множества языков остается крайне неопределенной). Притяжательное значение выражается префиксом или местоименной проклитикой слева от имени-обладаемого. Во многих языках объектные и притяжательные показатели идентичны соответствующим показателям субъекта глагола, однако нередко между ними имеются различия – как сегментные, так и супрасегментные, прежде всего тональные. Утверждение Г. Миэ о том, что «тоны [личных показателей] можно не принимать в расчет» [Miehe 2004: 100], таким образом, в корне неверно.

Особыми формами почти во всех языках семьи являются так называемые «абсолютные», или «независимые», местоимения, обладающие синтаксической автономностью в предложении и несущие грамматические значения фокализации и/или эмфазы, сродни франц. *moi*. Фонологически они имеют более долгую форму, чем субъектные или объектные показатели, так как их структура часто включает суффиксальный элемент дейктического происхождения или же является результатом редупликации.

В качестве собственно личных показателей в языках гур обычно принимаются только формы первых двух лиц. Третье лицо единообразно выражается именными и согласовательными аффиксами классов. Тем не менее игнорировать их при анализе местоимений очень опасно: в целом ряде языков аффиксы личного класса (имеется в виду сингулярно-плюральная пара маркеров, употребляющихся при именах, обозначающих лиц) оказывают непосредственное влияние на местоименные парадигмы, способствуя в том числе их изменению по аналогии. Мы будем учитывать именные аффиксы личного класса там, где это необходимо, и также коснемся вопроса их реконструкции на праязыковом уровне.

Ниже будут по очереди рассмотрены показатели четырех лично-числовых значений, данные по которым приведены в таблицах в Приложении. Материал таблиц сгруппирован согласно классификации, обозначенной на Диаграмме 1. При реконструкции праформ учитываются некоторые особенности вокализма языков гур, прежде всего противопоставление гласных фонем по признаку продвинутости корня языка (±ATR), создающее пары узких гласных *u/ʊ*, *i/ɪ*. В случае если значение этого признака в праформе неясно, гласная фонема обозначается, соответственно, как **U* или **I*. Согласно традиции, гласная неопределенного ряда и подъема будет обозначаться знаком **V*.

1.1 ЛИЦО ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

Первое лицо единственного числа в большинстве рассматриваемых языков представлено, пожалуй, наиболее широко распространенными в языках нигер-конго моделями личных показателей – *N* и *mV*.

Первая из них фонологически представляет собой носовую фонему, реализуемую в зависимости от последующей согласной ккк *n*, *ɲ*, *ŋ* или *m*. Гоморганный показатель характерен для тех языков, где личные показатели предшествуют сказуемому в качестве префиксов. В таком виде он может быть реконструирован для субъектного ряда в праязыках групп оти-вольта (**N*), гурма (**N*), кхе-догосо (**N*), подгруппы зап. груси (**N*). Отметим практически повсеместное отсутствие его в периферийных языках: форма *N-* встречается из них лишь в уара, баатонум и караборо. В качестве объектного (т. е. суффиксального) показателя гоморганный носовой показатель более редок и может быть восстановлен лишь для праязыков восточной подгруппы оти-вольта и группы гурма, т.е. там, где объектный и субъектный ряды показателей всюду совпадают. Как самостоятельные местоимения фокализованной серии рефлексы **N-* не встречаются нигде. Именно связанный (префиксальный) характер показателя *N-* в большинстве использующих его языков позволяет предположить вслед за Г. Манесси [Manessy 1969: 23], что он представляет собой редуцированную степень показателя *mV*, также широко распространенного в языках гур, однако уже в виде синтаксически автономного местоимения.

Данное местоимение преимущественно имеет вид *mI* или *ma*; другие огласовки (*me*, *mɛ*, *mʊ*, *mo*) весьма редки[3]. Огласовка среднего ряда и подъема *ə* в субъектной серии (например, в языках коромфе, турка и лама) представляет собой промежуточную стадию, ведущую к полной редукции гласной. С уверенностью можно восстанавливать праформу с узкой гласной для праязыков кирма-тьюрама (**mÌ*, субъект и объект), гандогосе (**mɪ*, субъект), этот показатель фигурирует также в других центральных языках

[3] Проверить исконный характер носового показателя можно было бы лишь перед начальной гласной последующей корневой морфемы, однако полнозначные лексемы в языках гур никогда не имеют вокалического анлаута.

гур: натени, винье, кхе, бваму, джан – и в ряде периферийных языков, включая некоторые языки сенуфо. Показатель **ma*, с другой стороны, реконструируется для праязыков групп йом-наудем (субъект, объект и посссив), вост. груси (**mà*, субъект и, возможно, объект), он также довольно частотен в языках других групп центральной ветви. Сводить к единой праформе показатели со столь различной огласовкой нельзя, однако для праязыка гур вполне возможно постулировать личное местоимение **mI/*ma* с некоторым перебоем в вокализме. Функционируя в качестве субъектного префикса сказуемого, данный показатель редуцируется, обычно теряя вокализацию, но в некоторых языках – губную носовую согласную: отсюда формы бирифор *ĩ*, бваму *mì/ì*, догосе *mɪ/ɪ* и другие.

Вокалическое чередование субъектных маркеров, породившее алломорфы **mI/*ma*, может быть объяснено грамматическим противопоставлением этих двух форм в праязыке, которое предполагал еще Г. Манесси [Manessy 1975: 176]. Уже упоминавшееся маркирование глагольных значений с помощью различных рядов личных местоимений не редкость в языках гур. В качестве примера можно привести периферийный язык куланго: субъектные местоимения здесь выражают, помимо лично-числовых, значения аспекта и наклонения: например, *mí* (сосл.), *mìì* (имперф.), *má* (хаб.). Все эти формы порождены слиянием первоначального личного местоимения с некоторыми аспектуальными и модальными показателями глагола. Немаркированным же в этом ряду форм представляется местоимение перфектива *mì* – этот вывод можно сделать не только на том основании, что типологически перфектив в языках Западной Африки является наименее маркированным значением глагола [Плунгян 2003], но и с помощью сравнения с единым показателем прямого объекта, который также содержит гласную **ɪ*: *mɪ*. В некоторых языках вариации вокализма представляют оппозицию субъектного и объектного значений (ср. в були субъект *mì-*, объект *-mu* и др.). Оппозиция схожего характера могла иметь место и в праязыке. Впоследствии отдельные языки обобщили форму с узкой или широкой гласной, что и привело к бинарной вокалической природе, которую мы наблюдаем в современных языках гур. Однако для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту точку зрения, необходимо рассмотреть другие элементы местоименной парадигмы, что будет сделано ниже.

Можно ли отнести к рефлексам той же праязыковой местоименной лексемы **mI/*ma* формы языков сев. груси, сводимые к **à*, сказать сложно. Форму **à* можно объяснить вокализацией носового показателя **N-* в субъектной позиции, произошедшей в том числе в целях устранения аналогии с формой 2 л. ед. ч. **Ǹ-*. В ином случае ее необходимо трактовать как локальную инновацию.

В фокализованной серии мы видим убедительное подтверждение реконструкции единой праформы **mI/*ma*. Формы этого ряда в большинстве языков семьи представляют собой расширение местоимения каким-либо суффиксальным элементом, имеющим, как уже говорилось, дейктическое происхождение. Во многих языках это носовая фонема: восстанавливаются праформы зап. оти-вольта **máN*, вост. оти-вольта **mIŋ*, гурма **min*, йом-наудем **man*, вост. груси **máŋ*, зап. груси **mIŋ*, сев. груси **(a)mɛ/*amo* (где **a-* – местоименный корень), ган-догосе **mɪna*. Сюда же относится, по-видимому, форма лоби *mirí*. Из периферийных языков данная модель бесспорно прослеживается только в куланго (диал. *mian*). Общую для этих промежуточных реконструкций форму праязыка центр. гур следует восстановить в виде **mIŋ/*maŋ*, с показателем фокуса **-ŋ*, который находим и в современных языках гур, см. в конкомба (группа гурма):

(1) *ucìnɪ-n* *nì* *sâji* *ubʷɔ́rɪ*
гиена-FOC PST быть вождь
'Вождем была [именно] гиена' [Adouna 2009: 87].

Несмотря на возможность реконструкции, образование фокализованных и эмфатических местоимений в ряде языков следует все же считать относительно недавним явлением. Повсюду аффиксальный элемент в местоимениях соответствует именному маркеру фокуса или эмфазы, в том числе в тех языках, где этот последний является

инновацией: так, в касем видим форму *amʊ* (фокал.), содержащую именной показатель фокуса *-mʊ*, ср.:

(2) *diin-mʊ* *a* *tuə*
вчера-FOC 1SG приходить
'Я пришел вчера' [Niggli, Niggli 2008: 29].

Таким образом, праязыковую конструкцию следуст рассматривать как **mI-ŋ/*ma-ŋ*, где показатель фокуса воспринимался скорее клитическим, но не связанным элементом застывшей формы.

Другой стратегией образования фокализованных и эмфатических местоимений является редупликация: примеры ее видим в натени *mmĩ* (видимо, с добавлением **-ŋ*, ср. с неназализованной формой субъекта *mi*), нотре *mma* (при объектном местоимении *ma*), нчам *mama* (субъект *máá*), конкомба *mmɛ* и некоторых других центральных языках гур.

Приведенный анализ, как можно заметить, практически обходит стороной периферийные языки семьи, формы которых кажутся не только несводимыми к общим праформам, но и редко соотносятся с реконструкциями, предлагаемыми для языков центральной ветви. С уверенностью можно говорить лишь об общей для обеих ветвей реконструкции местоимения **mI*, которое находим во многих периферийных языках: куланго *mɪ*, вьемо *mɪ*, чебаара *mi*, джимини *mi* и пр. Однако для периферийных языков характерен и ряд других форм: прежде всего форма местоимения *ne/na*, в ряде языков редуцированная до *n-* в субъектной позиции. Мы видим это местоимение в баатонум, тьефо, уара, мамара, а в объектной серии – также во вьемо и большинстве языков сенуфо (в том числе сосуществующим с алломорфами *la*, *ta*, *ra*). В отличие от периферийных, центральные языки совсем не используют данную форму в субъектной серии, но в объектной она обнаруживается в подгруппе сев. груси (**né*), некоторых языках гурма, зап. груси и зап. оти-вольта. Для реконструкции морфемы на уровне праязыка гур оснований недостаточно. Для языков сенуфо объектный показатель **na* вполне надежно реконструируется; возможно, появление его в других языках гур объясняется языковыми контактами: большинство таких языков расположены в западной части ареала.

Прежде чем подытожить сравнительный анализ форм личных показателей 1 л. ед. ч., следует сказать несколько слов о возможности реконструкции их праязыкового тона. Низкотоновые формы показателей субъекта восстанавливаются для праязыков були-кома (**Ǹ*), сев. груси (**à*), вост. груси (**mà*), кирма-тьюрама *(*mÌ*); среди центральных языков низкий тон демонстрируют также мооре, нотре, наудем, бваму, чакали, лег, пвие, кхе, лоби и другие, а среди периферийных – куланго. Высокотоновый рисунок обнаруживается лишь в нескольких языках: мампрули *Ń*, нчам *ḿ* (наряду с *m̄*, их распределение неясно), акаселем *Ń*. Это дает больше оснований реконструировать именно низкотоновый характер праязыкового субъектного показателя. В большинстве языков ему соответствует и низкотоновый притяжательный префикс.

Иная картина складывается при анализе объектных и фокализованных показателей. Оппозиция «низкий тон показателя субъекта – высокий тон показателя объекта и/или фокализованного местоимения» может быть реконструирована для праязыков сразу нескольких групп: були-кома субъект **Ǹ*– фокал. *mí*, *mán*; зап. оти-вольта субъект **Ǹ*– объект *má*, фокал. *má(ŋ)*; вост. груси субъект **mà* фокал. **máŋ*; сев. груси субъект **à* – объект **né*. В языках йом-наудем низкому тону субъектных маркеров соответствует средний (в йом) или высокий (в наудем) тон объектных и фокализованных показателей. Тональную оппозицию с более высоким регистром несубъектных местоимений логично, таким образом, восстанавливать для праязыка центральной ветви семьи гур. Вновь приходится отмечать, что периферийные языки этому правилу в основном не соответствуют (кроме, видимо, языков баатонум и южн. тусиа).

В Таблице 1 приведены реконструкции показателей 1 л. ед. ч. в промежуточных праязыках и праязыке гур. Сомнения обозначены знаками вопроса.

Таблица 1

	субъектн. / притяж.	объектн.	фокал. / эмфат.
були-кома	**Ǹ*		
вост. оти-вольта	**N*	**N*	*?*mIŋ*
зап. оти-вольта	**N*	**má(m)*	**má(N)*
гурма	**N*	**N*	**min*
йом-наудем	**mà*	**ma*	**man*
сев. груси	**à*	**né*	**amɛ/*amo*
зап. груси	**Ǹ*		**mIŋ/*mɛŋ*
вост. груси	**mà*	**mV*	**máŋ*
кирма-тьюрама	**mǸ*	**mI*	
ган-догосе	**mɪ*	**mI*	**mɪnV*
лоби-джан	**mI*	**mI*	**mInɪ*
сенуфо	*?*me/*mi*	*?*na*	
гур	**Ǹ-*, **mǸ/*mà*	**-mÍ/*-má*	**mÍ-n(V)/*má-n(V)*

Выводы, которые можно сделать исходя из такой двухступенчатой реконструкции, вкратце таковы.

1) Базовым праязыковым личным местоимснием 1 л. ед. ч. была форма **Ǹ-/*mǸ/*mà* с вокалическим чередованием, которое может объясняться как грамматичсское. Исходя из данных периферийных языков гур, включая сенуфо, немаркированной ступенью скорее можно считать форму **mI*, имеющую к тому же широкие внешние соответствия в других языках нигеро-конголезской макросемьи, от банту [Babaev 2008] до догон [Prokhorov 2010]. Субъектная форма при сказуемом несла низкий тон. Нулевая ступень **Ǹ-* выступала в качестве личного глагольного или притяжательного префикса перед согласными, огласованные алломорфы выступали в качестве показателей прямого объскта и по аналогии могли также распространяться на другие позиции.
2) Местоимение в абсолютной позиции несло значение фокуса, топика или эмфазы; уже в праязыке оно могло осложняться усилительной клитикой **nV* > **-ŋ* и характеризовалось повышением тона. При развитии в отдельных языках гур других дискурсивных частиц с указанными значениями эти последние могли заменять **nV* и в местоименной системе.
3) Учитывая глубокий возраст семьи гур, сохранность рефлексов праязыкового местоимения можно считать очень хорошей. Основной инновацией в рамках подгрупп центральной ветви является форма **à* (субъект) в сев. груси, где исконное местоимение нс сохранилось нигде, кроме языков каламсе и пана (в несубъектных формах).
4) Формы периферийных языков в целом слабо соответствуют реконструируемой нами системе: не прослеживается тонального противопоставления между низким тоном субъектных и высоким тоном несубъектных показателей, не обнаруживается фокализованных форм на **-ŋ* (кроме диалектных форм куланго *men*, *mian* и, возможно, лоби *mìrí* < **mìní*?), полностью отсутствует показатель нулевой ступени **Ǹ-* (префикс *N-* в языке уара восходит к *ni*). В языках сенуфо, уара-натьоро, баатонум, тьефо видим субъектные местоимения типа *nV* (*ni*, *na*, *ne*, *nɛ*), отсутствующие в других языках гур; любопытно, что форма сев. груси **né* (объект) также может быть отнесена к этому кластеру. Фактически единственным, что объединяет центр и периферию гур, является форма **mi*. Однако, как указано выше, это местоимение распространено по всей макросемье нигер-конго, так что данное сходство может принадлежать

хронологически более раннему периоду, чем праязык гур. Исходя из этого периферийные языки гур не укладываются в картину реконструкции показателей 1 л. сд. ч. Некоторые языки сенуфо демонстрируют варьирование *nV/mi* в диалектах (нафаанра, мамара), что наводит на мысль об ареальном распространении одной из лексем на данные языки.

2. 2 ЛИЦО ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

Формы 2 л. ед. ч. в языках гур демонстрируют значительно большее разнообразие: в частности, Г. Миэ [Miehe 2004: 102] выделяет шесть распространенных моделей, многие из которых осложнены вариациями. Так как анализ Миэ выполнен вполне корректно, приведем ее модели в качестве основы дальнейшего анализа:

- *fV (fu, fi, fe) / bV / (ve, bE, pO)*;
- *hV (ho, hi)*;
- *mV (mu, mi, ma, n, N)*;
- *(w)o / (w)u*;
- *i / e*;
- *a*.

Мы полагаем, что можно уйти от этого многообразия, сведя некоторые из указанных моделей к единым праформам.

Наиболее перспективной в этом смысле выглядит праформа с алломорфами **fɪ/*fʊ* (с более редким вариантом **fa*). Местоимение **fi* реконструируется для праязыков були-кома (субъектная, посессивная и фокализованная серии, в объектной серии **fʊ*), лоби-джан (субъект и объект **fi*, фокал. **fi-ni*). Ее алломорф с гласной заднего ряда, восходящей к **ʊ*, уверенно восстанавливается для праязыка оти-вольта, несмотря на то что в восточной подгруппе он сохраняется только в фокализованной функции (в виде **fon/*fɛn*). Фокализованное местоимение **fin/*fun* есть основания реконструировать и для праязыка гурма, а форма *fo* в бваму завершает вполне стройную картину рефлексов, достаточную для реконструкции праформы гур с двумя вариантами вокализма **fɪ/*fʊ*, праязыковое чередование между которыми остается неясным. То, что мы имеем дело с более открытыми или напряженными праязыковыми гласными, чем **i* и **u*, хорошо отслеживается по варьированию их рефлексов, соответственно, между *i / ɪ / e* и *u / ʊ / o / ɔ* [Manessy 1975: 63–64]. Вариант **fa* может быть предположен по совокупности форм дитаммари, моба, а также по многочисленным субъектным маркерам формы *a*, которые будут подробнее разобраны ниже.

Список рефлексов указанной праформы должен быть пополнен с учетом мутации начального **f-* в целом ряде языков гур [Manessy 1975: 33–34, Tab. III]. К рефлексам праформы **fɪ/*fʊ* можно отнести личное местоимение в группе йом-наудем **be* (субъект и посессив), **binV* (фокал.). В некоторых языках зап. оти-вольта, в языках кхе-догосо и зап. груси происходит ослабление щелевой артикуляции начального **f* > *h*, *ʔ* вплоть до последующего исчезновения согласного. Среди языков зап. груси придыхание или ларингальный приступ сохраняются в субъектной серии только в языке дег, но среди фокализованных местоимений – почти во всех языках подгруппы, что позволяет реконструировать фокализованное местоимение зап. груси **hIŋ*.

Регулярность соответствий между *f – h – h/ʔ* в указанных языках можно проиллюстрировать следующими лексическими примерами:

йом *bīl* ‘грудь’ – дег *ʔili*;
моорe *fuage* ‘красть’ – дег *ʔówɛ̀* – наудем *bāw*;
лоби *fāā* ‘не’ – наудем *bɛ̀*;
моорe *fugu* ‘кожа’ – наудем *báŋ*;
дег *hɛ̀gɛ̀-* ‘песок’ – наудем *bɛ̀ʔɛ̌-*, йом *bĭ-*.

О регулярности соответствия между начальным *f-* и нулем согласного в субъектных местоимениях *i/ɪ* в зап. груси, гурма, зап. оти-вольта и кхе-догосо говорить не прихо-

дится просто потому, что в языках гур вокалический анлаут существует только в очень немногочисленных служебных лексемах. Известно, однако, что начальная *f-* отсутствует в целом ряде языков указанных групп, включая бирифор, сафалиба, конкомба и др. [Manessy 1975: Tab. III].

Весьма любопытно, что разброс форм местоимений *fV*, *bV* и *V* часто присутствует в парадигме одного и того же языка. Так, в гурманчема, моба, тайяри, тамари и уама субъектный показатель 2 л. ед. ч. представляет собой одиночную гласную, в то время как фокализованное местоимение восходит к **fI/*fU*. В йом видим субъектную форму *bə̀* и объектный аффикс *-ʋ*. Этот факт, замеченный Г. Манесси [Manessy 1975: 176], так и не был им объяснен; наиболее разумным толкованием является естественная редукция морфемы в результате ее перехода из автономного синтаксического статуса в связанный: то же явление описано выше для форм 1 л. ед. ч. Там, где субъектный маркер представляет собой глагольный префикс, его форма сократилась до *V-* или *C-*; то же, видимо, произошло с суффиксальным объектным показателем в йом: **-fu* > *-ʋ*, в то время как в субъектной позиции **fu* > *bə* с регулярным переходом начальной щелевой в смычную.

В этой связи особо нужно сказать о формах типа *a* в ряде языков гур. Их исключительное ограничение субъектной позицией дополняется наличием в фокализованной (т.е. синтаксически автономной) серии местоимений, образованных от других лексем. Это, скорее всего, говорит о том, что *a* является редуцированным вариантом этих последних. Сравним, в частности, формы субъектного и фокализованного личных показателей в таких языках:

дитаммари *a* (субъект) – *fɔ̀*, *fɔ̃*, *fa* (фокал.) < **fʋ*;
натени *a* (субъект) – *fɔ̀*, *fɔ̃* (фокал.) < **fʋ*;
дагбани *a* (субъект) – *ɲini* (фокал.) < **ɲi-ni*;
гурманчема *à* (субъект) – *fin(i)* (фокал.) < **fi-ni*;
моба *a* (субъект, диал. *fa*) – *fun*, *fin* (фокал.) < **fi-ni/*fʋ-ni*;
баатонум *ā* (субъект) – *wúnɛ̄* (фокал.) < ?**fʋ-nV*;
вьемо *a* (субъект) – *wa*, *waa* (фокал.) < ?**fa*.

Таким образом, хотя по происхождению формы *a* могут быть различными, все они, скорее всего, являются редуцированными в субъектной позиции местоимениями, генетически связанными с реконструированными нами лексемами.

Наконец, к **fʋ* могут восходить формы ряда периферийных языков гур: теен *ʋ*, куланго *ʋ / wʋ / wo* (ср. негативную частицу в лоби *fãã̃*, теен *wa*, куланго *a*). Формы *wu* засвидетельствованы также в периферийных баатонум и вьемо. Здесь, однако, для доказательства родства необходимо иметь больше материала.

Если **fi/*fʋ* уместно восстанавливать как варианты праязыкового субъектно-объектного местоимения, то для фокализованно-эмфатической серии мы можем реконструировать формы **fʋ-n* (вост. оти-вольта), **fi-nV/*fʋ-nV* (зап. оти-вольта и гурма), **bɪ-n(V)* (йом-наудем), **hɪ-ŋ* (зап. груси) и, возможно, **fi-ni* (лоби-джан). Добавим сюда формы конни *fĩniŋ* и кхе (посессив) *hiné*. Фокализованное местоимение *wúnɛ̄* в баатонум также может быть отнесено к этому пучку рефлексов, приводящих нас к праязыковому **finV/*fʋ-nV* с тем же носовым маркером фокуса или эмфазы, который мы восстанавливали в предыдущем разделе.

Таким образом, рефлексы субъектно-объектного местоимения **fi/*fʋ* и/или фокализованного местоимения **fi-nV/*fʋ-nV* реконструируются для праязыков всех групп центральной ветви гур, кроме вост. и сев. груси, кирма-тьюрама и ган-догосе. Среди периферийных языков видимые рефлексы этих праформ отсутствуют в языках групп тусиа, уара-натьоро и сенуфо, а также в языке тьефо.

Среди других моделей из приведенного выше списка Г. Миэ необходимо упомянуть формы *ā* (субъект, вост. оти-вольта, гурма, тусиа, а также языки баатонум и вьемо), *N* (субъект, вост. и сев. груси, кирма-тьюрама, а также язык коромфе) и *ma/mʋ* (ган-догосе, уара-натьоро, тьефо, сенуфо, а в объектной позиции – также в сев. груси). Последние две праформы вполне сводимы к одной, по крайней мере в языках ссв. груси:

*Ǹ- в префиксальной субъектной позиции вполне может являться результатом редукции *mʊ (сохраняющейся в объектной и независимой сериях) так же, как в 1 л. ед. ч. та же форма является редукцией *mì/*mà. Таким образом, перед нами, по-видимому, единая изоглосса *mʊ для языков сев. груси, ган-догосе, тьефо и сенуфо. Ее образованию, возможно, послужила аналогия с формами *mV 1 л. ед. ч.; во всяком случае, внешних генетических связей для формы 2 л. ед. ч. *mʊ в языках других семей нигер-конго мы не видим.

Следует, однако, заметить, что субъектная форма *Ǹ в восточных языках груси и языках кирма-тьюрама к праформе *mʊ отношения не имеет: в этих языках мы видим объектные формы, восходящие к праформе *ɲɪ/*ɲa, и фокализованные местоимения из *ɲa-ŋ. Редукция этих местоимений также привела к появлению *Ǹ в субъектной позиции. Показатели на *ɲ- (не упомянутые в списке Г. Миэ) приходится постулировать как особую инновацию в рамках двух подгрупп (а также кластера из нескольких языков зап. оти-вольта и языка коромфе).

Что касается тональной структуры местоимений 2 л. ед. ч. в праязыке гур, материала современных языков пока недостаточно для однозначной ее реконструкции. Языки груси и кирма-тьюрама являются единственными группами, позволяющими определить низкий тон праязыковых субъектных показателей и высокий тон фокализованных местоимений – т.е. картину, идентичную 1 л. ед. ч. Однако в других группах ситуация значительно более сложная – как из-за недостатка информации о тоновых характеристиках форм, так и из-за противоречия источников и наличия грамматически обусловленных тоновых чередований местоимений в глагольной клаузе.

Таблица 2 суммирует реконструкции личных показателей 2 л. ед. ч. в праязыках различных групп и подгрупп семьи гур, а также в праязыке гур.

Таблица 2

	субъектн. / притяж.	объектн.	фокал. / эмфат.
були-кома	*fɪ	*fʊ	*fi(-ni)
вост. оти-вольта	*ā	*ā	*fon/*fɔn
зап. оти-вольта	*fʊ/*fɪ	*fʊ	*fʊn(V)/*fin(V)
гурма	*fa		*fin(V)/*fun
йом-наудем	*be		*bɪnV́
сев. груси	*Ǹ	*mʊ	*Nmʊ
зап.груси	*hɪ	*hɪ	*hɪŋ
вост. груси	*Ǹ	*ɲa/*ɲɪ	*ɲá(ŋ)
кирма-тьюрама	*Ǹ		
ган-догосе	*mʊ	*mʊ	*mʊna
лоби-джан	*fl	*fl	*flnɪ
сенуфо	*ma/*mu	*ma/*mu	
гур	*fɪ/*fʊ/*fa		*fɪ-nV/*fʊ-nV

Таким образом, список из шести предполагаемых праформ Г. Миэ удается свести к двум морфемам, добавив к ним одну новую:

- *fɪ/*fʊ/*fa > fV, bV, wU, ve, hI, I, e, U, a
- *mʊ/*ma > mU, ma, N
- *ɲɪ/*ɲa > nI, ɲa, N, a

Мы полагаем, что лишь первая из них может быть надежно восстановлена на уровне праязыка гур, в то время как две другие реконструируются на уровне не выше, чем праязыки отдельных ветвей. Местоимение **fV* реконструируется по данным всех крупнейших групп центральной ветви гур и периферийных языков теен, куланго, вьемо и баатонум. Остальные периферийные языки этой реконструкции не поддерживают. Данное местоимение имеет широкие параллели в нигеро-конголезских языках Западной Африки, включая атлантические [Pozdniakov, Segerer 2004], ква [Бабаев 2010] и бенуэ-конго [Babaev 2010], его возможные соответствия обнаруживаются в манде (**dí*) и банту (**we/*wo*).

Формы языков сенуфо, тьефо, уара-натьоро имеют общее происхождение от местоимения **ma/*mʊ*, к ним же относятся две группы центральных языков – зап. груси и ган-догосе. В указанных языках согласная фонема формы **mʊ* может объясняться аналогией с формой 1 л. ед. ч. **mɪ*. В частности, как отметил К.И. Поздняков (личное сообщение), в языках ган-догосе прослеживается следующая закономерность фонетической структуры субъектных личных местоимений:

Таблица 3

	ед. ч.	мн. ч.
1 л.	**mɪ*	**a*
2 л.	**mʊ*	**ĩ*

Видно, что в единственном числе присутствует схема mV, в то время как во множественном – схема V. Подобная схема могла быть причиной выравнивания по аналогии форм обоих чисел.

То же обоснование может иметь форма **mV* в языках сенуфо: ср. формы 1 л. ед. ч. **mi/*me*. Здесь фонетическим маркером сингуляриса также является носовой сонант (в то время как маркером плюралиса – ртовый, ср. ниже реконструкции форм 1 л. мн. ч. **wo* и 2 л. мн. ч. **ye* при чрезвычайно распространенной палатализации *w* > *y* перед передними гласными не только в нигер-конго, но и в других языках субсахарской Африки [Щеглов 1970: 4]).

Группы кирма-тьюрама и вост. груси объединяются общей изоглоссой **ɲɪ/*ɲa/*N-*, происхождение которой может быть как инновационным, так и древним: ср. субъектное местоимение **ɲi-* в банту, формы **N-* в языках бенуэ-конго, кру [Werle, Gbalehi 1976] и манде [Бабаев, в печати]. Как интерпретировать эти внешние параллели, пока неясно.

Две указанные изоглоссы **ma/*mʊ* и **ɲɪ/*ɲa/*N-* являются важным материалом для внутренней классификации языков гур, к вопросу которой мы вернемся ниже.

3.1 ЛИЦО МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

Формы 1 лица обоих чисел всегда остаются в языке более стабильными, чем их соседи во 2 и тем более в 3 лице; этот хорошо известный типологический феномен «иерархии Силверстейна» может быть проиллюстрирован и на примере языков гур. В 1 л. мн. ч. практически все группы семьи гур демонстрируют показатель, образованный по модели *tI/ɖI*. Местоимение с глухой зубной смычной может быть уверенно восстановлено для праязыков групп були-кома (субъект **tì*, объект **tI*), оти-вольта (субъект **tI*, объект **ti*), гурма (субъект и объект **tI*), йом-наудем (субъект **tè*, объект **té*). В вост. груси (субъект **ɖì*) и сев. груси (субъект **ɖɪ*, объект **ɖɪba*) наблюдается явление сонаризации (или ретрофлексивизации) старой начальной **t-*: этот процесс, происходящий регулярно в вост. груси после гласной [Manessy 1969: 23], был, видимо, распространен и на начальную согласную личных показателей. В языках лоби-джан начальная согласная может объясняться спирантизацией **t-* > **s-* перед передними гласными (ср. лоби syɛ ‘красный’ vs. ваама *tɛ́ɛ̄rī*). К сожале-

нию, на имеющемся материале мы не можем показать регулярности соответствия между *y-* в кирма-тьюрама и *t-* в других языках гур, однако типологически развитие **t-/*ɖ -> y-* в языках Западной Африки довольно частотно, а вокализм формы **yi* позволяет по крайней мере предположить такую возможность. Выпадение начальной **ɖ-* произошло в языках пана и каламсе (сев. груси), а также, вероятно, в кхе.

Другие варианты вокализма, распространенные в остальных лично-числовых значениях, присутствуют и здесь, преимущественно маркируя несубъектные формы, обычно при сохранении *-i-* в серии субъекта: були *tà-mā* (фокал.), фарефаре *tõ-ma* (фокал.), нотре *to* (объект), *tò-ntó* (фокал.). В ряде подгрупп чередование гласных возводится к прауровню: вост. груси **ɖɪ̀* (субъект) – **ɖʊ* (объект) – **ɖá(ŋ)* (фокал.). Исходя из распределения вариантов вокализации по сериям в различных языках гур можно сделать предположение, что ситуация, близкая к праязыку вост. груси, существовала и в праязыке всей семьи. Среди наращений, формирующих фокализованные местоимения, наиболее распространенными, как и в других лицах и числах, являются **-ŋ*, **-ma/*-mɪ*, **-nɪ/*-nɪma*, однако единой праформы не просматривается. В ряде языков формы данной серии образованы с помощью редупликации (мооре *tondo*, ваама *tinti* и др.).

На основании приведенных соответствий можно вполне уверенно реконструировать формы **tɪ/*t/*ta* для праязыка гур. Однако мы вновь сталкиваемся с отсутствием рефлексов праязыковой морфемы в большинстве периферийных языков: сенуфо, тусиа, тьсфо, куланго, теен. На уровне праязыка сенуфо надежно восстанавливается субъектно-объектное местоимение **wʊ* (рефлексы *wu/wo/o*), соответствий которому в других группах мы не находим. Несмотря на то что эта форма разительно сходна с формами личных классных префиксов, исполняющих роль местоимений 3 л. ед. ч., – аналогия обнаруживается в супьире, чебаара, мамара, – типологически общее происхождение двух этих форм довольно нетипично для региона, так что постулировать общее происхождение сенуфо **wʊ* (1 л. мн. ч.) и **wu/*wi* (3 л. ед. ч.) нет оснований.

Сложным является вопрос о генетической связи показателя **tɪ/*tʊ/*ta* и местоимений *a/ya/ʔa* в языках зап. груси и, возможно, юж. тусиа. Такого соответствия начальных согласных в лексических источниках не обнаруживается (а соответствие с нулем согласного, как уже говорилось, в принципе возможно только в служебных морфемах). Тем не менее, исходя прежде всего из типологии языков региона, следует предполагать в соответствиях *y/ʔ-/ø-* реликт некоторой праязыковой согласной. В языках же ган-догосе форма **a* может объясняться вокалической структурой форм схемы V, созданной в результате выравнивания, о котором см. выше в Таблице 3 и замечаниях к ней.

Форма фокализованного местоимения в баатонум *bɛ̀sɛ́* не имеет аналогов в гур, однако находит чрезвычайно близкие соответствия в языках бенуэ-конго, с ареалом которых соприкасаются носители баатонум – крайне восточного языка семьи гур. В бенуэ-конго формы плюральных личных маркеров на *bV-* происходят из плюрального префикса именного класса лиц **ba-*. Аналогичное происхождение можно предположить по крайней мере для теен и баатонум – здесь **bV-* также обнаруживается во всех местоимениях множественного числа. Можно отметить и ряд новообразований, характерных лишь для одного языка: так, местоимение тьефо *ʔeyuɔ̀* перекликается с существительным *ʔeyuo* ‘люди’ [Miehe 2004: 105].

Таким образом, можно отметить, что показатели 1 л. мн. ч. в гур демонстрируют относительную гомогенность. Реконструкции приведены в Таблице 4.

К сожалению, супрасегментного материала недостаточно для восстановления их праязыковой тонологии. Тем не менее некоторые признаки общего тяготения субъектных форм к низкому тону, а фокализованных – наоборот, к высокому, видны и здесь.

Реконструкция местоимения 1 л. мн. ч. **tɪ/*tʊ* вполне надежно подтверждается данными внешнего сравнения, ср. банту **tʊ̀-* [Nurse 2007: 377], бенуэ-конго **ti/*tu* [Babaev 2010], а также местоимения ряда языков ква: аделе *ti*, *te*, *ẹté*, логба *-tu*, *atu*, мбато *do/lo* и адьюкру (инкл.) *s-/se* [Бабаев 2010]. Местоимение **tɪ/*tU*, таким образом, может восходить как минимум к уровню праязыка вольта-конго (т.е. нигер-конго после отделения атлантических, манде, иджо и догонских языков).

Таблица 4

	субъектн. / притяж.	объектн.	фокал. / эмфат.
були-кома	**tɪ*	**tɪ*	
вост. оти-вольта	**tɪ̄*	**tɪ̄*	**tɪ̄nti*
зап. оти-вольта	**tɪ/*to*	**tɪ/*to*	
гурма	**tɪ*	**tɪ*	**tiN-bV́*
йом-наудем	**tè*	**té*	**teni*
сев. груси	**ɖɪ*	**ɖɪba*	
зап. груси	**ya*	**ya*	**yama*
вост. груси	**ɖi*	**ɖʊ/*ɖa*	**ɖá(N)*
кирма-тьюрама	**yi*		**mí(N)*
ган-догосе	**a*	**ʔa*	**abɛ*
лоби-джан	**sI*	**sI*	**sinɪ*
сенуфо	**wʊ*	**wʊ*	
гур	**tI/*tʊ/*ta*	**tI/*tʊ/*ta*	

4. 2 ЛИЦО МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

При анализе личных показателей 2 л. мн. ч. приходится принимать во внимание довольно большой разброс данных, вызванный новообразованиями, изменениями форм по аналогии и другими процессами, всегда сильнее деформирующими плюральные, нежели сингулярные формы.

Тем не менее бесспорным статистическим лидером среди языков семьи является форма *nI/ɲI* и ее возможный алломорф *na/ɲa* с тем же типом вокалического чередования, что и тот, который мы наблюдали в других лично-числовых значениях. Есть основания реконструировать ее для субъектной серии праязыков були-кома (**nɪ̀*), вост. оти-вольта (**nɪ̄*), зап. оти-вольта (**ɲì/*ɲa*), гурма (**nI*), йом-наудем (**ni*), кирма-тьюрама (**ɲi/*ná*), лобиджан (**ɲI*).

Широко распространенный в языках мира и уже неоднократно наблюдавшийся нами процесс редукции форм субъектных показателей типа CV > V хорошо виден и здесь: процесс *ɲI > yI/ʔI > I/Ī* отчетливо проявляется даже в языках одной подгруппы (например, в зап. оти-вольта: дагара *ɲi*, дагбани *yi*, нотре *i*), а подчас и в диалектах одного языка (ср. биали *yi*, *i* или куланго *ɲyãã*, *neâ*). Исходя из этого назализованные формы в языках ган-догосе, восходящие к **ĩ* (объект ** ʔɪ*), а также формы диалектов куланго из **ʔĩ* и местоимение кхе *iN* можно отнести к той же праформе. Менее очевидно происхождение схожих местоимений в теен (*ɪ*) и баатонум (*i/ɪ*) и субъектных местоимений в вост. груси из **Ì*. Похожая форма субъектного показателя, по-видимому, существовала и в праязыке зап. груси (ср. дег *hi* и вагла *î*), причем преаспирация в дег предполагает праязыковую начальную согласную; однако в целях устранения аналогии с формой 2 л. ед. ч. **fì > I* субъектное местоимение было в большинстве языков вытеснено объектной формой **ma*.

О происхождении формы **ye*, общей для языков сенуфо, с уверенностью судить нельзя, однако нестандартный вокализм (отсутствие чередования *e/i* не позволяет реконструировать фонему **ɪ*, как в других ветвях гур) не предполагает ее непосред-

ственной связи с **nI*. Ее, однако, логично связать с местоимением **ye* в языках тусиа, с которыми группа сенуфо имеет соответствия и в других местоимениях. В качестве фокализованного местоимения в сенуфо восстанавливается форма **yele* с суффиксом, обнаруживаемым и в формах 1 и 3 л. мн. ч.

В числе локальных инноваций местоимений 2 л. мн. ч. можно назвать объектное местоимение *ma* в языках зап. груси, а также форму **á*, реконструируемую для праязыка сев. груси. Эта форма, впрочем, может происходить из **ɲa*: несмычные начальные согласные в местоимениях вида CV данной подгруппы везде отпадают, редуцируя форму личных местоимений до вида V.

Реконструкции праформ местоимений 2 л. мн. ч. различных ветвей семьи гур представлены в Таблице 5.

Таблица 5

	субъектн. / притяж.	объектн.	фокал. / эмфат.
були-кома	**nì*	**nI*	
вост. оти-вольта	**ni*		**niŋni*
зап. оти-вольта	**ɲì*		**ɲinima*
гурма	**nI*	**nI*	**nIŋbi*
йом-наудем	**nI*		
сев. груси	**á*	**ába*	
зап. груси	**hí*	**ma*	**mama*
вост. груси	**ì*		
кирма-тьюрама	**ɲi/*na*		**nVNmá*
ган-догосе	**ĩ*		**ĩNbɛ*
лоби-джан	**ɲì*	**ɲi*	
куланго	**ɲi*		**ɲa*
тусиа	**ye*	**ye(m)*	
сенуфо	**ye*	**ye*	**yele*
гур	**nI/*ɲI/*na/*ɲa*		

Определить исходную артикуляцию носовой согласной в праформе гур довольно сложно. Сделанные Г. Манесси реконструкции фонетических систем праязыков двух крупнейших групп гур – груси и оти-вольта – содержат и дентальную, и палатальную носовые фонемы [Manessy 1969: 24–25; 1975: 37]. Обе указанные фонемы типологически весьма часто могут ослабляться до *y*, особенно в сверхкратких морфемах. Интересно, что аналогичные варианты демонстрируют и данные внешнего сравнения (языки семьи бенуэ-конго): в языках кроссривер реконструируется личное местоимение 2 л. мн. ч. **i-nI(n)*, в джукуноидных языках – **ni*, но в йорубоидных, платоидных и некоторых бантоидных языках видим рефлексы **ɲin* [Babaev 2010]. В других семьях нигеро-конголезских языков доминирует зубная артикуляция: в атлантических языках предположительно реконструируется **nV* с полным спектром гласных по различным языкам [Pozdniakov, Segerer 2004], в кордофанских (группа хейбан) – **-no* [Schadeberg 1981: 156]. И все же, хотя назальная природа согласного элемента в праформе гур не подвергается сомнению, вопрос о его точной артикуляции в праязыке семьи остается открытым.

5. ВЫВОДЫ И ДИСКУССИЯ

По итогам проведенного анализа можно предложить реконструкцию парадигмы личных показателей для праязыка гур, представленную в Таблице 6.

Таблица 6

	субъектн. / посессив.	объектн.	фокал. / эмфат.
1 л. ед. ч.	**Ǹ-, *mÌ/*mà*	**-mÍ/*-má*	**mÍ-n(V)/*má-n(V)*
2 л. ед. ч.	**fi/*fù/*fà*	**fi/*fù/*fà*	**fɪ-nV/*fʊ-nV*
1 л. мн. ч.	**tÌ/*tù/*tà*	**tÍ/*tú/*tá*	
2 л. мн. ч.	**nÌ/*ɲÌ/*nà/*ɲà*	**nÍ/*ɲÍ/*ná/*ɲá*	

Сравним данные результаты с ранее опубликованными реконструкциями субъектных личных показателей ряда групп и подгрупп гур (Таблица 7).

Таблица 7

	груси [Manessy 1969: 21, 25]	оти-вольта [Manessy 1975: 175]	вост. оти-вольта [Sambiéni 2005: 265]	зап. оти-вольта [Naden 1986: 284]
1 л. ед. ч.	**ME/A*	**mɪ/a/ʊ*	**n̄*	**N*
2 л. ед. ч.	**È, *Ǹ*	**ɪ/a/ʊ, *fɪ/a/ʊ, bɪ/ʊ*	**ā*	**ɪ, *Fʊ*
1 л. мн. ч.	**DE/A/O*	**ʧɪ/a/ʊ*	**tī*	**Tɪ*
2 л. мн. ч.	**É/Á, *ME/A*	**yɪ/a, *nɪ/a, *ɲɪ/a/ʊ*	**dī*	**(N)YA*

Как видим, наиболее близкой к результатам нашего анализа является система праязыка группы оти-вольта, реконструированная Г. Манесси, где сохранились как все четыре консонантные базы личных показателей, так и праязыковая система чередования гласных. В языках груси, как и на уровне различных подгрупп оти-вольта, праязыковая картина значительно деформирована процессами редукции и унификации местоименных лексем, а также, возможно, появлением инноваций.

Праязыковая система личных показателей в гур характеризовалась следующими характеристиками.

1. Местоимения каждого лично-числового значения были гомогенными, т.е. являлись производными одной лексической единицы. Это существенно отличает местоименную систему гур от систем соседних языков нигер-конго, таких как бенуэ-конго и манде, где, по-видимому, уже на праязыковом уровне различные значения (например, в бенуэ-конго – субъсктное и объектные) выражались различными местоименными лексемами.

2. На праязыковом уровне весьма явственно восстанавливается чередование гласных, имевшее от двух до трех степеней (**I/*a/*ʊ*). Его следы прослеживаются во всех четырех лично-числовых значениях, во всех основных группах и нередко, как уже указывалось выше, в рамках парадигм отдельных языков. В современных языках данное чередование всегда имеет грамматическое значение: оно либо противопоставляет субъектный показатель объектному (например, кусунту *mà* ‘я’, *-má* ‘меня’), либо отражают оттенки видо-временных, полярных и модальных значений сказуемого (например, куланго *mɪ* ‘я’ (перф.), *má* ‘я’ (хаб.)). Формы на **-I*, судя по имеющемуся в нашем распоряжении сравнительному материалу, были наименее маркированными: они в целом более

частотны, чаще встречаются в качестве субъектных показателей и чаще выражают значение перфектива, являющегося основной формой глагола в языках Западной Африки. Однако все же определение принципов праязыковой системы вокалических чередований пока не представляется бесспорным.

3. По-видимому, уже в праязыке наметилось разделение личных показателей на три серии по синтаксической функции: субъектно-притяжательную, объектную (точнее, прямообъектную) и независимую, выражавшую значения фокуса, топика и эмфазы. Данное разделение передавалось несколькими способами, прежде всего позицией в клаузе: субъектные показатели располагались перед сказуемым (в качестве проклитики, но еще не префикса), объектные клитики следовали за ним. Эта схема соответствовала, таким образом, порядку слов типа SVO, наиболее распространенному и сегодня в языках гур. Фокализованные местоимения могли (как и в современных языках) располагаться в левой или правой крайней позиции. Фонетически три серии личных показателей также различались уже в праязыке: возможно, указанным выше чередованием гласных, но с большей вероятностью тональным регистром: субъектные показатели, по всей видимости, несли низкий тон, в то время как объектные и фокализованные формы обладали высоким тоном. Кроме того, проклитическая позиция субъектных показателей уже на ранних этапах способствовала их редукции – особенно в форме 1 л. ед. ч., которая могла уже в праязыке существовать в качестве префикса.

4. Эмфатический оттенок значения независимых местоимений способствовал присоединению к нему различных усилительных частиц. На уровне праязыков отдельных групп и подгрупп гур восстанавливаются следующие из них: **-ŋ*, **-mV*, **-na*/**-ne*, **-nI*/**-nIma*, **-ŋba*/**-ŋbi*, **-le*, однако единой праязыковой праформы реконструировать не удается. Г. Манесси [Manessy 1975: 178–180] восстанавливает для праязыка оти-вольта эмфатические частицы **-mV* и **-nV*. В некоторых подгруппах независимые местоимения приобретают усилительное значение с помощью носового аффикса и редупликации (например, ваама *ti* – фокал. *tinti*). Следует полагать, что в праязыке гур усилительные морфемы служили энклитиками к личным местоимениям, подобно частице *же* в русском языке или *-δε* в древнегреческом.

Все вышесказанное, однако, в большей степени относится к центральным языкам гур, чем к периферийным. При анализе личных показателей обнаруживаются фундаментальные различия между системой, легко реконструируемой для центральной ветви, и несхожими ни с ней, ни подчас между собой системами периферийных языков семьи. Таблица 8 демонстрирует расхождения между реконструированными нами праформами гур и субъектными показателями языков периферийных групп. Темным выделены формы, рассматриваемые нами как рефлексы праязыковых.

Таблица 8

	1 л. ед. ч.	2 л. ед. ч.	1 л. мн. ч.	2 л. мн. ч.
гур	***mV**	***fV**	***tV**	***nV*/*ɲV**
теен	***mɪ***	*ʋ*	*bɪ*	*ɪ*
куланго	***mɪ, me***	*ʋ/wʋ*	*bI*	***ɲi***
баатонум	*nā*	*ā*	*sā, su*	*ī*
вьемо	***mɪ, mə***	*a*	*sa, sə*	***ã***
тьефо	*no, nāà*	*mo*	*ʔeyuò*	*buò*
уара	*ni*	*ma, mi*	***si, ti***	*mi*
тусиа	***mɛ***	*ó, a*	*á, ne*	*ye*
сенуфо	****mi***	**ma/*mu*	**wʋ*	**ye*

Как можно видеть, ни один из периферийных языков в таблице не имеет более двух (из четырех) соответствий с реконструированной праязыковой системой. Наибольшее количество соответствий мы видим в формах 1 л. ед. ч., однако выше уже подчеркивалось, что **mi/*me* – чрезвычайно распространенная форма местоимения 1 л. ед. ч. во всех основных ветвях нигеро-конголезских языков, так что это соответствие восходит к более высокому хронологическому уровню, чем уровень семьи гур. В остальном же соответствий довольно мало. Не обнаруживается их и при анализе других элементов системы: например, периферийные языки не имеют тональных противопоставлений между сериями, реконструированных выше для праязыка гур, а также характерных для центральных языков усилительных частиц **-nV/*-mV*. Значительные различия существуют и в показателях личного именного класса: если для центральных языков гур характерны формы классного аффикса ед. ч. *u/o*, мн. ч. *ba*, то, к примеру, в языках сенуфо реконструируются формы **wi/*wu* и **pe/*pu* соответственно. Сенуфо **p* – гур **b* является одной из важнейших фонетических особенностей языков сенуфо (ср. дег *bíè* – чебаара *pyàa* 'ребенок'; дег *bà* – тагвана *pã* 'приходить'; дег *bɛ́ɛ́* – тагвана *pèe* 'другой') [Mensah, Tchagbale 1983].

Среди периферийных языков наибольшую близость местоименных систем демонстрируют: куланго и теен; сенуфо и тусиа; баатонум и вьемо. Первые две из указанных пар представлены в географически смежных ареалах, так что их близость может быть результатом как генетического родства, так и конвергентного развития. Языки же баатонум и вьемо друг от друга удалены, и их сходство должно свидетельствовать о сравнительно близких генетических связях. Языки тьефо, тусиа и группа сенуфо кажутся наиболее удаленными от центральных языков гур, и в свете проведенного анализа их принадлежность к последним, как представляется, может быть пересмотрена.

Таким образом, анализ лишь одной из парадигматических систем морфологии языков семьи гур привел к ряду интересных предположений о внутренней классификации рассматриваемых идиомов. Перспективной задачей в этом русле станет сопоставление полученных выводов с результатами сравнительного анализа других подобных систем – прежде всего показателей именных классов и, вероятно, демонстративных маркеров. Совпадение результатов такого анализа с приведенными выше резко повысит надежность выводов как о реконструкции, так и о генетическом составе семьи гур.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

буд. – будущее время
возвр. – возвратное
ед. ч. (SG) – единственное число
имперф. – имперфектив
косв. – косвенный объект
л. – лицо
мн. ч. – множественное число
отр. – отрицательное
перф. – перфектив
пот. – потенциалис
притяжат. – притяжательное
прош. (PST) – прошедшее время
сосл. – сослагательное наклонение
уменьш. – уменьшительное
фокал. (FOC) – фокализованное
хаб. – хабитуалис
эмфат. – эмфатическое

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бабаев 2010 – *К.В. Бабаев.* О реконструкции личных местоимений в праязыке ква // ВЯ. 2010. № 4.

Бабаев, в печати – *К.В. Бабаев.* Реконструкция личных местоимений праязыка манде: Предварительные замечания // Исследования по языкам Африки 4. В печати.

Плунгян 2003 – *В.А. Плунгян.* Африканские глагольные системы: Заметки к типологии // В.А. Виноградов, И.Н. Топорова (ред.). Основы африканского языкознания: Глагол. М., 2003.

Щеглов 1970 – *Ю.К. Щеглов*. Очерк грамматики языка хауса. М., 1970.
Adouna 2009 – *G. Adouna*. Description phonologique et grammaticale du konkomba, langue gur du Togo et du Ghana – parler de Nawaré. Thèse de Doctorat en Cotutelle Internationale. Rennes, 2009.
Albro 1998 – *D. Albro*. Nawdem-English dictionary with examples. Manuscript. 1998.
Babaev 2008 – *K. Babaev*. Reconstructing Niger-Congo personal pronouns I: Proto-Bantoid // Journal of West African languages. 2008. V. XXXV. № 1–2.
Babaev 2010 – *K. Babaev*. Reconstructing Niger-Congo personal marking II: Proto-Benue-Congo // Вопросы языкового родства. 2010. № 4.
Beacham 1968 – *C.G. Beacham*. The phonology and morphology of Yom. Ph.D. thesis. Hartford, 1968.
Bendor-Samuel 1971 – *J. Bendor-Samuel*. Niger-Congo, Gur // T. Sebeok (ed.). Linguistics in Sub-Saharan Africa. The Hague; Paris, 1971.
Beyer 2006 – *K. Beyer*. La langue pana (Burkina Faso et Mali). Description linguistique, lexique, textes. Köln, 2006.
Brindle 2009 – *J.A. Brindle*. On the identification of noun class and gender systems in Chakali // M. Matondo et al. (eds.). Selected proceedings of the 38th Annual conference on African linguistics. Somerville, 2009.
Cahill 1999 – *M. Cahill*. Aspects of the morphology and phonology of Konni. Columbus, 1999.
Casimir 1988 – *K.K. Casimir*. Lexikon der Tagbana-Sprache. Ph.D. Dissertation. Bielefeld, 1988.
Crouch, Smiles 1966 – *M. Crouch, N. Smiles*. Collected field reports on the phonology of Vagala. Accra, 1966.
Delord 1976 – *J. Delord*. Le Kabiyɛ. Lomé, 1976.
Elders 2007 – *S. Elders*. Complex verb morphology in Kulango (Gur): Similarities and dissimilarities with Bantu // SOAS working papers in linguistics. 2007. V. 15.
Haas 1958 – *M. Haas*. Algonkin-Ritvan: The end of a controversy // IJAL. 1958. V. 24.
Haas 1969 – *M. Haas*. The prehistory of languages. The Hague, 1969.
Jose 2008 – *F. Jose*. Mamara-French-Bambara-English dictionary. Manuscript. 2008.
Koelle 1854 – *S. Koelle*. Polyglotta africana. London, 1854.
Lamothe 1966 – *C. Lamothe*. Esquisse du système grammatical lobi. Paris, 1966.
Lexique, manuscrit – *L. Dun, R. Huerlimann*. Lexique cerma-français. Manuscrit.
Listes 1983 – Listes lexicales «Gur». Projet «Atlas et études sociolinguistiques», 2ème phase. Porto-Novo, 1983.
Manessy 1969 – *G. Manessy*. Les langues gurunsi. Essai d'application de la méthode comparative à un groupe de langues voltaïques. V. I. Paris, 1969.
Manessy 1975 – *G. Manessy*. Les langues oti-volta. Classification généalogique d'un groupe de langues voltaïques. Paris, 1975.
Manessy 1977 – *G. Manessy*. Linguistique historique et traditions ethniques: Les peuples voltaïques dans l'est de la boucle du Niger // W. Möhlig et al. (eds.). Zur Sprachgeschichte und Ethnohistorie in Afrika. Berlin, 1977.
Marchese 1986 – *L. Marchese*. Tense / aspect and the development of auxiliaries in Kru languages. Arlington, 1986.
Marmor 1979 – *T. Marmor*. Enquête sur le langage des enfants kabiye. Lama-Kara, 1979.
Mensah, Tchagbale 1983 – *E. Mensah, Z. Tchagbale*. Atlas des langues gur de Côte d'Ivoire. Abidjan, 1983.
Miehe 2004 – *G. Miehe*. Les pronoms personnels dans les langues gur // D. Ibriszimow, G. Segerer (eds.). Systèmes de marques personnelles en Afrique. Louvain; Paris, 2004.
Mills 2003 – *R. Mills*. Dictionnaire sénoufo–français. Sénanri parler tyébara (Côte d'Ivoire). T. I. Köln, 2003.
Moran 2006 – *S.P. Moran*. A grammatical sketch of Isaalo (Western Sisaala). Ph.D. thesis. Ypsilanti, 2006.
Müller 1905 – *P. Müller*. Beitrag zur Kenntnis der Tem-Sprache (Nord-Togo) // Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen. J. VIII. Abt. 3: Afrikanische Studien. Berlin, 1905.
Naden 1986 – *A. Naden*. Western Oti-Volta pronoun systems // U. Wiesemann (ed.). Pronominal systems. Tübingen, 1986.
Naden 1989 – *T. Naden*. Gur // J. Bendor-Samuel (ed.). The Niger-Congo languages. New York; London, 1989.
Niggli, Niggli 2007 – *U. Niggli, I. Niggli*. Lexique ninkare–français. Ouagadougou, 2007.
Niggli, Niggli 2008 – *U. Niggle, I. Niggli*. Grammaire élémentaire du kasim. Ouagadougou, 2008.

Nurse 2007 – *D. Nurse*. Tense and aspect in Bantu. Oxford, 2007.
Pozdniakov, Segerer 2004 – *K. Pozdniakov, G. Segerer*. Reconstruction des pronoms atlantiques et typologie des systèmes pronominaux // D. Ibriszimow, G. Segerer (eds.). Systèmes de marques personnelles en Afrique. Louvain; Paris, 2004.
Prokhorov 2010 – *K. Prokhorov*. Towards a reconstruction of the Proto-Dogon pronominal system // Доклад на междунар. конф. «Personal pronouns in Niger-Congo languages». СПб., 13–15 сентября 2010 г.
Prost 1964 – *A. Prost*. Contribution à l'étude des langues voltaïques // IFAN. Dakar, 1964.
Prost 1972a – *A. Prost*. Enquête sommaire sur le ko, langue gourounsi de Haute-Volta // Bulletin de l'IFAN. T. 18. Dakar, 1972.
Prost 1972b – *A. Prost*. Le dogose ou langue des godobe ou doghossié // Bulletin de l'IFAN. T. 19. Dakar, 1972.
Prost 1974 – *A. Prost*. Les langues de l'Atakora, VII. Le Notre, langue des Notəba dits Bulba // Bulletin de l'IFAN. T. 36. Dakar, 1974.
Prost 1979 – *A. Prost*. Le viemo // Bulletin de l'IFAN. T. 23. Dakar, 1979.
Rattray 1918 – *R.S. Rattray*. An elementary Mõle grammar with a vocabulary of over 1000 words. Oxford, 1918.
Rennison, manuscript – *J. Rennison*. Koromfe – English / French / German dictionary. Manuscript.
Rowland, Rowland 1965 – *R. Rowland, M. Rowland*. Collected field reports on the phonology of Sisala. Accra, 1965.
Sambiéni 2005 – *C. Sambiéni*. Le Proto-Oti-Volta-Oriental. Essai d'application de la méthode historique comparative. Köln, 2005.
Schadeberg 1981 – *T. Schadeberg*. A survey of Kordofanian. V. 2. The Talodi group. Hamburg, 1981.
Schwarz 2005 – *A. Schwarz*. Aspekte der Morphosyntax und Tonologie im Buli mit Schwerpunkt auf dem Buli von Wiaga. Dissertation. Berlin, 2005.
Segerer 2008 – *G. Segerer*. Les langues Niger-Congo // А.Ю. Желтов (ред.). Языки нигер-конго: Структурно-динамическая типология. СПб., 2008.
Spratt, Spratt 1972 – *D. Spratt, N. Spratt*. Kusal syntax // Collected language notes. 1972. № 13.
Surugue 1979 – *B. Surugue*. Études gulmance (Haute-Volta). Phonologie, classes nominales, lexiques. Paris, 1979.
Swadesh et al. 1966 – *M. Swadesh et al.* A preliminary glottochronology of Gur languages // Journal of West African languages. 1966. V. 3. № 2.
Welmers 1950 – *W. Welmers*. Notes on two languages in the Senufo group I. Senadi // Language. 1950. V. 26. № 1.
Welmers 1952 – *W. Welmers*. Notes on the structure of Bariba // Language. 1952. V. 28. № 1.
Werle, Gbalehi 1976 – *J.-M. Werle, D.J. Gbalehi*. Phonologie et morphonologie du bété de la region de Guiberoua. Abidjan, 1976.
Wichser 1994 – *M. Wichser*. Description grammaticale du kar, langue senoufo du Burkina Faso. Thèse en vue de l'obtention du diplôme de l'école pratique. Paris, 1994.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ФОРМЫ ЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЯЗЫКАХ ГУР

Языки в таблицах распределены по группам, которые обозначены аббревиатурами (БК – були-кома, ВОВ – вост. оти-вольта, ЗОВ – зап. оти-вольта, ЙН – йом-наудем, ВГ – вост. груси, СГ – сев. груси, ЗГ – зап. груси, КТ – кирма-тьюрама, ГД – ган-догосе, КД – кхе-огосо, ЛД – лоби-джан, УН – уара-натьоро, С – сенуфо). Формы, указанные через запятую, являются диалектными вариантами или алломорфами, распределение которых в источниках не указано. Источниками большинства данных являются работы [Prost 1964; Manessy 1969; 1975; Mensah, Tchagbale 1983; Listes 1983; Miehe 2004]. Ссылки на другие источники даны в виде постраничных сносок к таблице форм 1 л. ед. ч.

1 лицо единственного числа

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
Центральные языки				
були (БК)[4]	Ǹ, mì-, ḿ	-mu, mʊ, mo	Ǹ-, mí	mí, mí
конни (БК)[5]	Ǹ, ma	muŋ, mu, ma	Ǹ, Ń	máníŋ, mán
биалс (ВОВ)	N	N		ŋwe
дитаммари (ВОВ)	N	N	moun	mĩ(ĩ), moun
ваама (ВОВ)	N	N		mɛn
натени (ВОВ)	n, mi	n, a		mmĩ
дагаари (ЗОВ)	m̀	má		màán
бирифор (ЗОВ)	ĩ	ma		maa
фарсфаре (ЗОВ)[6]	ma, m, man	m, ma	m, mam	mam
моорс (ЗОВ)[7]	m̀, em, m, em	má, máam, mam	mám	mám, máam
нотре (ЗОВ)[8]	Ǹ	ma, mã, mõ		mma, má, mà
дагбани (ЗОВ)	N	ma		máni
ханга (ЗОВ)	N	ma		maN, mani
камара (ЗОВ)	N	na, ma		mani
кусаал (ЗОВ)[9]	N, nɛ̃N	mám, na, m	m	mâne, mânɛ̃, mam
мампрули (ЗОВ)	Ń	má, ma	N	màn, man(i)
сафалиба (ЗОВ)	Ǹ	má		máàŋ
нчам (гурма)	m̄, ḿ, máá	m̄, -m̄	m̄-	māmā, māñ, mān
нгангам (гурма)	ñ, n-	nnī		mīn
гурманчема (гурма)[10]	N	nnì		mìnì
акаселем (гурма)	Ń	m, ḿm̀ɛ̃, mba		ḿm̀è, mba
конкомба (гурма)[11]	N	mi	m-	mɛ, mmɛ, min
моба (гурма)	N, ma			min
наудем (ЙН)[12]	mà, máń	má, mà	mà	mán
йом (ЙН)[13]	mà, mā (пот.)	mā	mà	māā, māá
бваму	ĩ, mì	mɪ	mì	
коромфе[14]	m(ɔ), maa (отр.)	m(ɛ)		məkɔ
баго (ВГ)	mà, mʊ́	mɛ		
кусунту (ВГ)	mà	-mɛ		máŋ

[4] [Schwarz 2005]
[5] [Cahill 1999]
[6] [Niggli, Niggli 2007]
[7] [Rattray 1918]
[8] [Prost 1974]
[9] [Spratt, Spratt 1972]
[10] [Surugue 1979]
[11] [Adouna 2009]
[12] [Albro 1998]
[13] [Beacham 1968]
[14] [Rennison, manuscript]

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
чала (ВГ)	mà	-maŋ		máŋ
дело (ВГ)	mɛ, má	-ma		
кабийе (ВГ)[15]	mɛŋ	m	m, ma	má
лама (ВГ)	mə̀, má, m		m	
лукпа (ВГ)	ma(a)	m(a)		
тем (ВГ)[16]	ma, máká, m	máɗ, mã	mede, mãde	mã
касем (СГ)[17]	a	amo, né, Ń, -nɪ	a	amʊ, amo
льеле (СГ)	à	né		amè, myɛ
нуни (СГ)	à	ne, nə̀, na	á	amo, amɛ
пана (СГ)[18]	à	à, ne	á	mɛ́, mi, amese
каламсе (СГ)	à	mɛ́		mɛ́
чакали (ЗГ)[19]	ŋ̀	-N	N	mɪŋ, mɪ̀ɪ́ŋ, mɛŋ
дег (ЗГ)	ǹ			mɛŋ
пхуйе (ЗГ)	Ǹ, õ	nà, -nà, rɛ		nà
сисаала (ЗГ)[20]	ŋ	ŋ, ɛ̃, ɛ́, -n	n	miyaŋ, nà, mìná
тампулма (ЗГ)	n, mo	mʊn, mo, mɛn, men		mɛn, men
вагла (ЗГ)[21]	N	ŋ	ǹ	mɪ̀ŋ
винье (ЗГ)[22]	mi, mə	mi, m, me, mənɛ, mɛ		mɛ̀, mə
черма (КТ)[23]	mì	mì, miĕ (косв.)	mɛ̂I, mì	mɛ̂i, múɔ̆, mõ
турка (КТ)	mə̀, mɛ, mo, mu	m		máá
каанса (ГД)	mɪ	mɪ		mɪna
догосе (ГД)[24]	ɪ, mɪ, me	mɛ, me	mi	mi, mɪɛ
кхиса (ГД)	mɪ	m		mɪna
кхе (КД)	N, mì	míné		
джан (ЛД)	mi	mi		mie
лоби (ЛД)[25]	mì, ĩ, ma (буд.)	mì, mor (косв.)		mìrí, mɪrɛ

[15] [Delord 1976; Marmor 1979]
[16] [Müller 1905]
[17] [Niggli, Niggli 2008]
[18] [Beyer 2006]
[19] [Brindle 2009]
[20] [Rowland, Rowland 1965; Moran 2006]
[21] [Crouch, Smiles 1966]
[22] [Prost 1972a]
[23] [Prost 1964; Lexique, manuscrit]
[24] [Prost 1972b]
[25] [Lamothe 1966]

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
Периферийные языки				
тесн	mɩ/mi	mɩ/mi		mɩɩ
куланго[26]	mɩ, me, mì/mɩ (перф.), míì (имперф.), má (хаб.), mí (сосл.)	mɩ, m, men, -mɩ		mia(n), myaa, méà
баатонум[27]	nā, n	mān	nɛ́n	nɛ́
вьемо[28]	mɩ, mə	na	na	ma, maa
тьефо	no, nāà	no	no	
юж. тусиа (тусиа)	mɛ	ń, nɛ́	m	mó
сев. тусиа (тусиа)	mɛ	ḿ		mbɛ
уара (УН)	ni, N	n, na		
мамара (С)[29]	me, nɛ, ni, ne, na, mă (перф.), nà?á (буд.)	na, ne, mi	na, nè, mi	nayɛ, nɛyɛ (refl), nɛ < niya, mè
супьире (С)	mìi	mìi, na		
сенара (С)	m(i), n, mia (перф.)			
вост. караборо (С)[30]	N-	tā, rā		ñdōò
зап. караборо (С)	n	la	la	nugo
чебаара (С)[31]	mi, mìī	mìī, mì	mìī	mìī
джимини (С)	mi			
тагвана (С)[32]	mì, mí	nã, mũ	nã, mi	mũ
палака (С)	ni			
нафаанра (С)	mi, náà, mii			

2 лицо единственного числа

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
Центральные языки				
були (БК)	fi-, fí, fe, fĭ	-fu, fo, fʊ	fi-, fĭ	fĭ
конни (БК)	ø, fu, fi, fɪ	fu, fʊ	fi, fĭ	fĭníŋ
биале (ВОВ)	a	a		awe
дитаммари (ВОВ)	ā	a	ā	fɔ̃, fõ, fa
ваама (ВОВ)	ó			fɛn
натени (ВОВ)	a	a		fɔ̃, fõ

[26] [Elders 2007]
[27] [Welmers 1952]
[28] [Prost 1979]
[29] [Prost 1964; Josc 2008]
[30] [Wichser 1994]
[31] [Mills 2003; Welmers 1950]
[32] [Casimir 1988]

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
дагааре (ЗОВ)	fù			fùún
дагара (ЗОВ)	b-, fo	fu, -b		fũũ̃, fõ
дагаари (ЗОВ)	bū	hʊ		hʊʊn
бирифор (ЗОВ)	fu	fu		fuun
фарефаре (ЗОВ)	fo, fʊ		fʊ	fom, hom, fõn
мооре (ЗОВ)	f-		fo	fom
нотре (ЗОВ)	fi, fo	fo		nfo, fò, fõ
дагбани (ЗОВ)	a			ɲini, ɲíne
ханга (ЗОВ)	c	i		ɲini
камара (ЗОВ)	i, e			ɲini
кусаал (ЗОВ)	fo, fũ	(e̋)fo, (e̋)f		fone, fowa, fʊn
мампрули (ЗОВ)	ì, yi	i, yi	i	ɲín(i)
сафалиба (ЗОВ)	ɪ			ìɲá
нчам (гурма)	ā, á, áá	sī, -sī	ā-	sīsī, sīī
нгангам (гурма)	ā	ŋɛ̄, ŋɛ		sīn
гурманчема (гурма)	à	a		fin(ì)
акаселем (гурма)	é, i			ésc̆, ise̋
конкомба (гурма)	i, aa	si		isɛ
моба (гурма)	a, fa			fun, fin
наудем (ЙН)	bé, vè	vé	bé, bɛ̀	bíná, vén
йом (ЙН)	bə̀, bə (пот.), ø-	-ó, -ʊ	bə̀	bīī, bīí
бваму	fo, go, ko, ũ̃-	fô		
коромфе	N	n(ɛ)	N	ŋkɔ
баго (ВГ)	Ǹ	nɪ, -nɪ		ná
кусунту (ВГ)	Ǹ	nɪ, -nɪ		náŋ
чала (ВГ)	ɲà, n	ɲaŋ, -aŋ		ɲáŋ
дело (ВГ)	Ǹ	nɪ, -nɪ		ɲá
кабийе (ВГ)	N	ŋ	ŋ	ɲá, ɲé
лама (ВГ)	Ǹ		ɲē	ɲá
лукпа (ВГ)	N	N, ɲa, ŋ		ɲa
тем (ВГ)	N, ɲá	ɲã, ɲa-	ɲede, ɲãde	ɲã
касем (СГ)	n	-m, mo, m̀		nmʊ
льеле (СГ)	Ǹ, Ń	mɔ		nmɛ̀
нуни (СГ)	N	mo, amò, mú		ǹmò, mmɛ
пана (СГ)	ǹ	ǹ	ń	nò
каламсе (СГ)	Ǹ, Ń	Ń		
чакали (ЗГ)	ì	ɪ	ɪ	hɪŋ, hɪ́ŋ
дег (ЗГ)	hì, ʔì			hìŋ
пхуйе (ЗГ)	ì	-yà, ɪ, e, narɛ		yàá
сисаала (ЗГ)	e, i, ii	-e	e	ene, ǹná
тампулма (ЗГ)	ɪ			hín

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
вагла (ЗГ)	ì, i	ɪ	i	hɪŋ
виньe (ЗГ)	ĩ, ẽ	i, ɛ, ɪnɛ		ĩŋe, ẹŋe, en
черма (КТ)	ŋ̀, n, ni	ni, niẽ (косв.)	náŋ	náŋ, núə̌, nõ
турка (КТ)	n	n		yíí, yi
каанса (ГД)	mʊ	mʊ		mʊna
догосе (ГД)	mʊ, mo	mʊ, mo	mo	mo
кхиса (ГД)	mʊ	mʊ		mʊna
кхе (КД)	hì	mì, mìné	híné	
джан (ЛД)	fi	fi		fie
лоби (ЛД)	fií, fì, fa (буд.)	fi, for (косв.)		fìrí, fèr, fɪrɛ
Периферийные языки				
теен	ʊ	ʊ, gʊ, kʊ		gãa
куланго	ʊ, wʊ, wô, wʊ̀	ʊ, kʊ, gʊ, wʊ, -wʊ, -gʊ		waa, woâ
баатонум	ā	nūn	wúnén	wúnē
вьемо	a	wu, wo, u	wo	wa, waa
тьефо	mo, muà	mo	mo	
юж. тусиа	ó	ǹ	o	awo
сев. тусиа	a	m̀		arɛ, are
уара (УН)	ma, mi, m	ma, ḿ		
мамара (С)	ma, mu	mu, ma	mu, ma	mayɛ (возвр.), m'i, mudi (фокал.)
супьире (С)	mu, mā	mu, ma		
сснара (С)	mu, mià (перф.)			
вост. караборо (С)	mā	mā		n̄bōò
зап. караборо (С)	mɛ	mɛ	mɛ	mugo
чебаара (С)	mí, mi (перф.), maa (имперф.)	mi, mɔ	mi	mɔ̃
джимини (С)	mã, mõ	mã, mõ		
тагвана (С)	mã, mõ	mã, mõ, mɔ̃	mã, mɔ́	mɔ̃
палака (С)	mo			
нафаанра (С)	mu			

3 лицо единственного числа (аффиксы именного класса лиц ед. ч.)

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
Центральные языки				
були (БК)	wà-, ɔ̀-, wá	-wa	wà-, ɔ̀-, wá	wá(lá)
конни (БК)	ù, ù		ù, ù	
биали (ВОВ)	ù			
дитаммари (ВОВ)	ò, ō		ō	
ваама (ВОВ)	ò			
натени (ВОВ)	ò			
фарефаре (ЗОВ)	a		a	ĕŋa
мооре (ЗОВ)	a		ɲe, a	a
нотре (ЗОВ)	a	ɲɛ̄		ɲɛ̄ɲɛ̄
ханга (ЗОВ)	o, wune	u	o	wune
кусаал (ЗОВ)	o	o	o	on, ona
мампрули (ЗОВ)	u	u	u	ŋwan(a)
нчам (гурма)	ù, ú, wàá	-ù	-ū	
гурманчема (гурма)	ô			wōn
конкомба (гурма)	ù			úmá
наудем (ЙН)	à	wé, wè	à	
йом (ЙН)	à, wə	à, -ù	à, ā	ālɛ
коромфе	d-, də, daa (отр.), ga (уменьш.)	d(ɪ), ga (уменьш.)		dəkɔ gakɔ (уменьш.)
начам (груси)	ù, ù			
лама (груси)	i, ɲi		ɲī	
тем (груси)	e-, w-	yi, i, e	ede	ɛɛle
кабийе (ВГ)	o, ɛ	i, ɪ	o, ɛ	
касем (СГ)	o	-o		wʊm, wʊntʊ
льеле (СГ)	ń, m	mɔ		
нуни (СГ)	ò			
пана (СГ)	ò		ó	ónò
чакали (ЗГ)	ʊ	ʊ	ʊ	wa
дег (ЗГ)	ʔʊ			
сисаала (ЗГ)	o	-o	o	o
вагла (ЗГ)	ù, ʊ	ʊ	ʊ	wabʊ
винье (ЗГ)	a	o		uyc
черма (КТ)	u, o	u, o (прям.), yɔ (косв.)		
турка (КТ)	o, u, wu	yè, yə, è		wu, wa
догосе (ГД)	o	o	o	o
лоби (ЛД)	a, ana (буд.)	ə́, or (косв.)		ʊrʊ, uré, or

Периферийные языки				
тсен	a			
куланго	hɔ̃	-ɛ		
баатонум	u, ù	nùn, ùi	wín	wí
вьемо	yi			
юж. тусиа	ò	ò	m	mò
мамара (C)	(w)u, wa (перф.)	u	ù, ú	
супьире (C)	wāa, wū			
сенара (C)	u, wa (перф.)			
зап. караборо (C)	(w)u	(w)u	u	ugo
вост. караборо (C)	ū	ū	ū	wōò
чебаара (C)	wī, wū, u, wāā (имперф.)	wōrò, wí, ú	wōrò	wōrò
тагвана (C)	wi, wii, wí	wi	wi, wu	wi
джимини (C)	wi			
палака (C)	u			

1 лицо множественного числа

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
Центральные языки				
були (БК)	tɪ, te, tì-, tàmá, tàā	-ti, tɪ, te	tì-, tàmá, tàā	tàmā, tàā
конни (БК)	tɪ, tì	tɪ	tì, tí	tíníŋ, tinam
биали (BOB)	tə, ti	tə, ti		tebe
дитаммари (BOB)	tī	ti	tī	ti, tīntī
ваама (BOB)	ti	ti		tinti
натени (BOB)	ti, t	ti, t		tīntī, tindi
дагаари (ЗОВ)	tí, tɪ	tí		tùín, tiín
бирифор (ЗОВ)	si	si		simi
фарефаре (ЗОВ)	to, tɪ		tɪ	temãm, tɪn, tõma
моорe (ЗОВ)	ton, ə̀d, d, ed	dó, dú, tőndò	ton	tondo, tőndò, dò
нотре (ЗОВ)	ti, tɪ̀	to		tòntó
дагбани (ЗОВ)	ti, te	ti, te		tinima, tenemá, temli
ханга (ЗОВ)	ti	te		tirma
камара (ЗОВ)	ti	ti		tidima
кусаал (ЗОВ)	te, ti, tɪ	ěté, te		tenám, tɪnam
мампрули (ЗОВ)	tì, tɪ	tí, tɪ	tɪ	tə́n, tɪdɪm(a)
сафалиба (ЗОВ)	tɪ			tɪ̀ŋú
нчам (гурма)	tī, tí	tī, -tī	tī-	tīm̄bì

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
нгангам (гурма)	tī, ti-	tɛ̄, tɛ-		tūnbì
гурманчема (гурма)	tì	tɪ̀		tímbà
акаселем (гурма)	té	tem, te		tèm
конкомба (гурма)	tɪ, ti	timi		tɪmbɛ̀, timi
моба (гурма)	ti, t			tim
наудем (ЙН)	té, tè	té	té, tē	téń
йом (ЙН)	tə̀, tè	té, tē	tə̀	tīnī, tīní
бваму	wà	wɪâ		
коромфе	ʋ, waa (отр.)	hɔ̃	ʋ	ʋkɔ
баго (ВГ)	ɖì	rʋ, ɖʋ		ɖá
кусунту (ВГ)	ɖì	-rʋ		ɖáŋ
чала (ВГ)	dɪ̀	dáà, -dáà		dáà
дело (ВГ)	dɛ̀	-dáà		dá
кабийе (ВГ)	ɖí, ɖʋ́	ɖʋ́		ɖá
лама (ВГ)	də̀, tā		tā	dá
лукпа (ВГ)	tə	to, ta		ta
тем (ВГ)	d-, ɖá	da	dede	da, ɖáká
касем (СГ)	dí, də́, nə́, rə́	díbam		dɪbam, də́bàŋ
льеле (СГ)	né	neba		némè
нуни (СГ)	ne, nɔ́, na	neba, də́bà, níbə́		nemo, nəmmɛ, dómò
пана (СГ)	è	è	é	èmá
каламсе (СГ)	ɪ̀			yírí
чакали (ЗГ)	yà	ya, -yɛ	ya	yawa, yáwáá
дег (ЗГ)	yà	yáá, yáà, yāā		
пхуйе (ЗГ)	á	-àà, ámá, amarɛ		àà
сисаала (ЗГ)	á, à	-a	a, ma, mamaa	a, ámaa,ɭánà
тампулма (ЗГ)	ya	yà		ya
вагла (ЗГ)	yàá	yaa		yàá
виньє (ЗГ)	ã	ã, ãbɛ, an		áámbɛ̀, ãbɛ
черма (КТ)	í, yíɛ (прош.)	yĭɛ, í, y(e), yɛ (косв.)		míɛ̌
турка (КТ)	yi, i	yè		hā́mī́ī́, hami
каанса (ГД)	a	ʔa		abɛ
догосе (ГД)	à	à	a	á
кхиса (ГД)	a	ʔa		abɛ
кхе	ɪ̀	íwɛ́ɪ̀		ɪ̀
джан (ЛД)	si	si		sie
лоби (ЛД)	sɪ̀, sa (буд.)	sɪ, sor (косв.)		sìrí, sèr, sɪrɛ

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
Периферийные языки				
тсен	bɪ	bɪ		bɛɛ
куланго	bɪ, bì, be, bê	bɪ, bi		byaa, bia, beâ
баатонум	sā, su	sūn	bèsén	bèsɛ, bèsé
вьемо	sa, sə	sa	sa	sava
тьефо	ʔeyuò, ʔeyuà	ʔeyuò	ʔeyuò	
юж. тусиа	á	á	a	api
сев. тусиа	ne	nem		nerɛ
уара (УН)	si, ti	si, ti		
мамара (С)	wèe, woro, wère, wù, wo, we	we, wo	we	wùyɛ (возвр.)
супьире (С)	wùu, wū	wùu, wu		
сенара (С)	wù, ura (перф.)			
вост. караборо (С)	wó	wó		wíì
зап. караборо (С)	wo	wo	wo	wougo
чебаара (С)	wò, wō (перф.), wāā (имперф.)	wò, wòlè	wòlō	wòlō, wòle, wòlò
джимини (С)	su, wo, we	wo		
тагвана (С)	wo, wòó	wo	wo	wo
палака (С)		wo		álē
нафаанра (С)	o	o		

2 лицо множественного числа

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
Центральные языки				
були (БК)	nì-, nɪ, ne	-ni, nɪ, ne	ni-, nàmá, nàā	nàmā, nàā
конни (БК)	nì, nɪ	nɪ	nì	nínɪ̀ŋ
биали (ВОВ)	i, yi	i, yi		
дитаммари (ВОВ)	ɖī, di		ɖī	ɖīnɖī
ваама (ВОВ)	i, yi			iɲi, yiɲi
натени (ВОВ)	nɛ, na	nɛ, na		néná, nena
дагааре (ЗОВ)	yè	yɛ		yèɛ́n
дагаари (ЗОВ)	ɲo			
дагара (ЗОВ)	ɲi			
бирифор (ЗОВ)	ɲi	ɲi		ɲimi
фаребаре (ЗОВ)	ya			yamam, yāma
моорe (ЗОВ)	ɲam, yi, ri, ì, i	yā́mbà, yā, ila	ɲam	ɲamma, ɲā́mbà
нотре (ЗОВ)	i, ì	hi, ɪ, i		hingi, ìɲí

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
дагбани (ЗОВ)	yi, ye	ya		yinimá
ханга (ЗОВ)	ya, e	ya, i		yarma, ɲini
камара (ЗОВ)	ya, yɛ			yadima
кусаал (ЗОВ)	e, i, yá	(é)ya	ya, nam	yinám, yawá
мампрули (ЗОВ)	yì, yà	yí, yá	ya	yán, yɛdɪm(a)
сафалиба (ЗОВ)	ya			bàmá
нчам (гурма)	nī, ní	nī, -nī	nī-	nīmbì
нгангам (гурма)	nī	nɛ̄-		nūnbi, nim
гурманчема (гурма)	i	ì		yimba
акаселем (гурма)	né, be, bi, ni	nem, ne	ne, ni	bé
конкомба (гурма)	nɪ, ni	nimi		nɪmbɛ̀, nimi
моба (гурма)	yi			yim
наудем (ЙН)	nè	né	ne	néń
йом (ЙН)	ì	ī	ì	ī̀, ī́
бваму	mì			mɪ̂
коромфе	na	na	na	nakɔ
баго (ВГ)	ì	ŋɛ, -ŋɛ		àmɛ́
кусунту (ВГ)	ì	àmɛ́		àmɛ́
чала (ВГ)	ì	àmíɛ̀		àmíɛ̀
дело (ВГ)	è, ì	ɛ, -ɛ		àmɛ̀
кабийе (ВГ)	ɩ́, ɛ́	mɩ́		mɩ́, mɛ́
лама (ВГ)	i, mī		mī	mi
лукпа (ВГ)	i	mɛ		mə
тем (ВГ)	ɪ, mi, mí	mi, mɩ́ɩ́	mide	mi, mɩ́ká
касем (СГ)	á, áa	abam, ábàŋ, ábɛ̀		abam, ábàŋ, ábɛ̆́
льеле (СГ)	á	aba		aba
нуни (СГ)	á	ába, ámò, ábɔ́		ámo, ámɛ
пана (СГ)	ɔ̀	ɔ̀, o	ɔ́	ɔ̀má
каламсе (СГ)	yà	yàrɩ́		yàrɩ́
чакали (ЗГ)	ma, màá	ma	ma	mawa, máwáá
дег (ЗГ)	hí, pí			híyà
пхуйе (ЗГ)	ʔyá	-ʔyá, yahõ		ʔyá
сисаала (ЗГ)	é, ma	-é, ma, èwá, mamaa	é	éne, mamaa
тампулма (ЗГ)	ma	mà		
вагла (ЗГ)	ɩ́	ia		ɩ́ɩ́
винье (ЗГ)	nã, na	na, mabɛ		nábɛ̀, mabɛ
черма (КТ)	ná	nɛ̆i, ná, naɛ (косв.)	ná	námă, namma
турка (КТ)	ɲi	ɲã		ɲĩmɑ̃́ɑ̃́, ɲima
каанса (ГД)	ɪ	ʔɪ		ĩmbɛ

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
догосе (ГД)	ì̃, ẽ	ì̃, e	e	ĩẽ, ẽ
кхиса (ГД)	ɪ	ʔɪ		ĩmbɛ
кхе	ìN	ĩ(ŋ)wêì		ìN
джан (ЛД)	yi	yi		yie
лоби (ЛД)	nì, na (буд.)	nɪ, nor (косв.)		nírí, nèr, nɪrɛ
Периферийные языки				
тесн	ɪ	ɪ		bɔɔ
куланго	ʔĩ, ẽ ĉĩ	ʔĩ, yã, yẽ, yĩ		ʔyãã, neâ
баатонум	i, ī	bɛ̀ɛ, bɛ̀ɛ́	bɛ̀ɛ́n	bɛ̀ɛ, bɛ̀ɛ́
вьемо	ã	ãvɪ, ãve	ãve	ãva
тьефо	buò, buà	buò	buò	
юж. тусиа	ye	ye	yɛ	yepi
сев. тусиа	ye, yir	yem		
уара (УН)	mi	mi		
мамара (С)	ye, mu	ye	yɛ	muyɛ (возвр.)
супьире (С)	yìi	yìi, yi		
сенара (С)	yi, yera (перф.)			
вост. караборо (С)	yé	yé		yéè
зап. караборо (С)	yɛ	ye	ye	yeyege
чебаара (С)	yè, yē (перф.), yāā (имперф.)	yèlē, yèlè	yèlē	yɛ̀lē, yèlè
джимини (С)	ye			yele
тагвана (С)	ye, yé	ye	ye	ye, yele
палака (С)		yɛ		yilē
нафаанра (С)	e	e		

3 лицо множественного числа (аффиксы именного класса лиц мн. ч.)

	субъект	объект	притяжат.	эмфат./фокал.
Центральные языки				
були (БК)	bà-, bá	-ba	bà-, bá	bá(lá)
конни (БК)	bà		bà	
биали (ВОВ)				
дитаммари (ВОВ)	bɛ̄		bɛ̄	
ваама (ВОВ)	bà			
фарефаре (ЗОВ)	ba		ba	bãma
мооре (ЗОВ)	bam, b-		bam	bamma
нотре (ЗОВ)	ba	ba		bamba
ханга (ЗОВ)	ba, a	ba, a	ba, a	barma
кусаал (ЗОВ)	ba	ba	ba	ban
мампрули (ЗОВ)	ba	ba, a	ba, a	ban, badəm(a)

нчам (гурма)	bì, bàá	-bì	bī-	bíḿbì
гурманчема (гурма)	bì			bānī
конкомба (гурма)	bì			
наудем (ЙН)	bɛ		bə̀, bɛ	
йом (ЙН)	bà	bà	bà	bepa
коромфе	ba, baa (отр.)	ba	ba	ba, bakɔ
кабийе (ВГ)	pa, po, pɛ, po	pe, pɛ	pa, po, pɛ, po	
лама (ВГ)	wa, mpá		mpā	
тем (ВГ)	b-, be-	we	bede, bade	bɛle
касем (СГ)	ba	-ba		bam, bantʊ
льеле (СГ)	be, bə	be		
нуни (СГ)	bà			
пана (СГ)	ɔ̀		ɔ́	ɔ̀má
чакали (ЗГ)	ba	ba	ba	bawa
дег (ЗГ)	bà			
сисаала (ЗГ)	ba	-ba	ba	ba
вагла (ЗГ)	ba	a		
виньс (ЗГ)	ma	ma		mabɛ
черма (КТ)	bà, báa (прош.)		bà	
турка (КТ)	ba	ba		ba
догосе (ГД)	pe	me	pe	be
лоби (ЛД)	wʊ, u	wé, wer (косв.)		wer, were
Периферийные языки				
куланго	bɔ̀	-bɛ		
баатонум	bu			
юж. тусиа	pe	pe	pe	pepi
мамара (С)	pu, pe, pə, pa (перф.), pá?á (буд.)	pə	pu	puyɛ (возвр.)
сенара (С)	pe, pa (перф.)			
зап. караборо (С)	pi	pi	pi	pepige
вост. караборо (С)	pē	pē	pē	pōò
чебаара (С)	pē/bē, pāā/bāā (имперф.)	pōrò, bé	pōrò	pōrò, pèlè, bēlē
тагвана (С)	pe, pé, pèé	pe	pe	pe
джимини (С)	pe			
палака (С)	pe			
нафаанра (С)	pe			

Сведения об авторе:
Кирилл Владимирович Бабаев
Институт востоковедения РАН
babaev@yandex.ru

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2012

© 2012 г. И.А. БАХМУТОВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ-МЕННОНИТОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматривается вариант литературного немецкого языка, используемого российскими немцами-меннонитами Омской области, в частности особенности фонетики и лексики. Цель статьи – уточнить представленные в исследовательской литературе данные о положении литературного немецкого языка в сообществах российских немцев.

В работах, посвященных языку российских немцев, основное внимание традиционно уделялось структурному описанию диалектов (см. обзор в работе [Berend, Jedig 1991]). Литературный немецкий язык находился скорее на периферии исследовательского интереса и обычно попадал в поле внимания ученых только в связи с практическими задачами его преподавания. Наиболее известной работой этого направления является работа А. Штрема [Ström 1928]. Рассматривая основной вопрос (как обучать «правильному» немецкому языку), автор уделяет внимание диалектной интерференции, наблюдаемой в литературном немецком языке российских немцев. Этот материал используется последующими исследователями как один из основных источников сведений о том, что представлял собой этот языковой вариант в довоенное время [Berend 1998: 12–17].

В работах, обращенных – с бóльшей или меньшей степенью подробности – к бытованию литературного немецкого языка у российских немцев в послевоенное время, литературный немецкий язык также чаще всего соотносился со школьной сферой (соответственно, вопрос сводился к общей характеристике уровня преподавания литературного немецкого языка российским немцам в школе); в случае меннонитов отмечалось также и использование этого языка в различном объеме в церковной сфере [Nieuweboer 1998: 191; Москалюк 2003: 49–51].

Вследствие этого в специальной литературе в общем и целом преобладает мнение о незначительной роли литературного немецкого языка в сообществах российских немцев. С одной стороны, как специально указывает часть авторов, и в довоенное, и в послевоенное время этот язык не был связан у российских немцев с приватной сферой [Berend 1998: 13]. С другой стороны, со второй половины 1930-х гг. он стал терять и бóльшую часть своих общественных функций (язык администрации, церкви и школы), которые – в разном объеме в различных сообществах российских немцев – были присущи ему прежде.

Кроме того, тотальное изменение языкового ландшафта российских немцев во время Второй мировой войны и в послевоенное время привело к значительному сокращению носителей не только диалектов, но и литературного немецкого языка. Все это – отчасти как объективная характеристика языковой ситуации, отчасти как стереотип исследовательского взгляда – обусловило отсутствие как более или менее подробных лингвистических описаний литературного немецкого языка российских немцев, так и анализа его роли в языковом сообществе.

В настоящей статье мы последовательно охарактеризуем функции литературного немецкого языка в сообществе немцев-меннонитов Омской области и круг его носителей, опишем его лингвистическое своеобразие и отдельно остановимся на том, какие его особенности являются наиболее существенными («ярлыками» этого варианта), с точки зрения его носителей. Затем мы обратимся к восприятию российскими немцами-меннонитами варианта литературного немецкого языка, функционирующего в их сообществе. Последний аспект особенно интересен постольку, поскольку в последние два десятилетия стал возможен активный контакт этого варианта с литературным немецким языком современной Германии.

Статья основывается на материалах экспедиций в меннонитские деревни Омской области, предпринятых автором в 2007 и 2008 гг. Функционирование литературного немецкого языка и представления о нем носителей описываются на основании социолингвистических интервью с членами языкового сообщества. Используется качественный метод анализа, позволяющий получить более детальные сведения о восприятии носителями этого языка и о его значении в языковом сообществе.

Часть этих интервью – вопросы и ответы – проводилась на литературном немецком языке; эти ответы использованы как материал для описания лингвистических особенностей этого варианта.

1. ОБ ИСТОРИИ СООБЩЕСТВА

Российские немцы-меннониты – ветвь одного из религиозных течений, возникших во время Реформации. В XVI веке на севере Нидерландов бывший католический священник Менно Симонс сплотил вокруг себя группу так называемых «перекрещенцев» (анабаптистов), которых позднее стали называть «меннонитами». Спасаясь от «гонений за веру» в Нидерландах, многие меннониты переселились в Западную Пруссию, в устье Вислы (окрестность Данцига), где жили несколько столетий и переняли обиходный диалект местного населения, так называемый Plautdietsch (один из восточнонижненемецких диалектов). В конце XVIII-го века меннониты стали переселяться в Российскую империю. Их колонии были основаны сначала на Украине, затем – в других районах страны, в том числе в Западной Сибири (подробнее об истории меннонитов см. [Ипатов 1978; Соколовский 1996]).

Полевые исследования, на материалы которых опирается эта статья, проводились в нескольких деревнях юга Омской области: д. Аполлоновка, д. Петровка и с. Солнцевка Исилькульского р-на, д. Миролюбовка Москаленского р-на. Это так называемые «старые» немецкие поселения, основанные в начале XX в. переселенцами из Украины; вплоть до конца 1980-х гг. немцы-меннониты составляли в них большинство жителей. Сегодня в этих деревнях, несмотря на значительные миграции второй половины XX в., сохраняются компактные поселения немцев-меннонитов.

2. ФУНКЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ НОСИТЕЛИ

В первой трети XX в. языковая ситуация в сообществах немцев-меннонитов Омской области носила диглоссный характер. Нижненемецкий диалект служил языком семейного и дружеского бытового общения, литературный немецкий язык был языком церкви, школы и делопроизводства. Как язык школы и администрации литературный немецкий язык перестал использоваться в 1930-х гг.

Н. Беренд, описывая использование литературного немецкого языка у российских немцев в послевоенное время, не связывает его с «реальной», домашней сферой жизни, а определяет только как предмет изучения в школе, где он был равен любому другому иностранному языку (вне зависимости от того, изучался немецкий язык как родной язык или как иностранный) [Berend 1998: 25]. Как общая характеристика языковой ситуации у российских немцев в целом это описание верно, однако в рассматриваемой

группе связь литературного немецкого языка с «реальной» жизнью сообщества представляется гораздо более тесной: он широко использовался как язык религиозных собраний, и кроме того, в некоторых семьях был и остается семейным языком.

Основным языком религиозных собраний литературный немецкий язык служил до конца 1980-х – средины 1990-х гг. Церковная жизнь образует стержень повседневной жизни меннонитов[1]; молитвенный дом является основным публичным пространством, где члены общин собираются на богослужения, репетиции хора и т. д. как минимум два-три раза в неделю. Это определяло значимое место литературного немецкого языка в рассматриваемом сообществе не только с точки зрения престижа, но и собственно объема его использования: он был неотъемлемой частью языковой ситуации, частью повседневной жизни большой части языкового сообщества. Сегодня регулярные части религиозных собраний на литературном немецком языке сохраняются только в общинах с. Солнцевка. В общинах остальных деревень он используется на собраниях лишь спорадически, чаще всего в том случае, если проповедуют гости из Германии.

Как показывают материалы интервью, члены рассматриваемого сообщества связывают литературный немецкий язык именно с религиозной сферой и противопоставляют освоение этого языка «на собраниях» изучению его в школе. При этом использование литературного немецкого в религиозной сфере осмысляется как область «своего», приватного, используемого «дома»:

Говорить мы научились дома, не в школе. Это мы знаем Hochdeutsch, литературный с собраний, а не из школы (муж., 1960 г. р., Солнцевка)[2].

Кроме того, в рассматриваемом сообществе литературный немецкий язык в некоторых семьях служил и служит языком семейного общения. Например:

1) В одной из семей с. Солнцевка несколько поколений назад отец (школьный учитель и проповедник) стал говорить с детьми в быту на литературном немецком, а не на обычном для этой сферы нижненемецком диалекте. Мотивировалось это, по-видимому, желанием, чтобы дети лучше освоили литературный немецкий, обладающий престижем и ценностью как язык церкви и школы. В последующих поколениях использование литературного немецкого языка дома сохранилось как семейная традиция. При этом муж с женой говорят друг с другом на нижненемецком диалекте (в случае, если так удобнее одному из супругов, привычным бытовым языком для которого является диалект), с детьми же стараются говорить на литературном немецком языке.

2) Как «домашний» язык литературный немецкий используется и в семьях немецких баптистов, в определенный момент включившихся в сообщество меннонитов. Не ясно, какой язык был традиционным бытовым языком в этих семьях до их включения в меннонитское сообщество: был это какой-либо диалект или идиом, близкий литературному немецкому языку (то есть аналогичный сегодняшнему языку общения в этих семьях). Можно сказать только, что сегодня языковой вариант, который использует и первая из выделенных групп, и вторая (потомки баптистов), обозначаемый сообществом как «литературный язык», един в своих первичных[3] (прежде всего фонетических) особенностях.

Члены обеих отмеченных групп, использующие литературный немецкий язык как домашний, обладают в сообществе двойной идентификацией: они считаются «литературными» немцами («Hochdietsche» – так они называют себя сами, так их обозначают

---

[1] Речь идет о религиозных членах сообщества, т. е. «меннонитах» в изначальном смысле этого слова. Уточнение необходимо постольку, поскольку обозначение «меннонит» одновременно означает сегодня и определенную конфессиональную принадлежность, и принадлежность к особому сообществу, близкому по своему характеру этническому сообществу [Ипатов 1978: 4].

[2] Имена информантов, чьи слова цитируются в статье, заменены указанием на их пол и возраст и место записи.

[3] Мы используем понятия первичных и вторичных признаков в традиции предложившего их В.М. Жирмунского и понимаем первичные признаки как наиболее заметные (в восприятии говорящих и слушающих) отклонения от нормы литературного языка и вторичные – как менее заметные [Жирмунский 1976: 496, 512].

и другие члены сообщества), но не исключаются собственно из группы меннонитов – «платских»[4] немцев («Plautdietsche»). Часто именно члены этих семей занимали и занимают высокие должности в своих религиозных общинах (одна из общин Солнцевки, община Миролюбовки).

Литературным немецким языком в описываемом сообществе сегодня свободно владеют (способны к свободной монологической речи) люди рождения второй половины 1920-х гг. – те, кто ходил в немецкие школы, закрытые в конце 1930-х гг., а также члены семей, где этот язык был семейным языком общения (в том числе молодежь конца 1980-х – начала 1990-х гг.р.) Члены языкового сообщества 1940-х – 1960-х гг. р., которые застали регулярное использование литературного немецкого языка в церкви, обладают более или менее развитой пассивной компетенцией (могут читать и читают на литературном немецком), уровень их активной компетенции различен.

Можно выделить следующие области использования литературного немецкого языка в описываемых деревнях: чтение книг, проповеди в церкви (ограниченная возможность, поскольку в большинстве общин основным языком собраний стал русский), общение друг с другом в тех семьях, где бытовым языком был литературный немецкий (как правило, это общение между братьями или сестрами старшего поколения, а также между поколениями – например, между дедом и внуками – в тех же семьях). Относительно новая возможность использовать литературный немецкий язык – это общение с молодыми родственниками из Германии, детьми меннонитов-переселенцев из этих деревень, которые владеют стандартным немецким языком или региолектом и не владеют русским языком и нижненемецким диалектом Plautdietsch.

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА МЕННОНИТОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Статус описываемого варианта, используемая терминология

В работе, посвященной языковой адаптации российских немцев в Германии, Н. Беренд, характеризуя языковой репертуар группы до переселения, пишет о возможности рассматривать литературный язык российских немцев в целом как «национальный вариант немецкого языка, распространенный у немцев России», и справедливо указывает на явное его отличие от литературного немецкого языка современной Германии [Berend 1998: 24–25]. Понятие национального варианта языка предполагает, однако, не только лингвистическое своеобразие идиома, но и наличие сложившейся нормы [Домашнев 1990: 7].

О норме литературного немецкого языка российских немцев говорить сложно прежде всего потому, что результаты интерференции со стороны различных диалектов, один из источников его своеобразия, не были одинаковы у различных групп российских немцев. Один из наиболее ярких примеров – отсутствие различения в произношении глухих *p*, *t*, *k* и звонких *b*, *d*, *g* в литературном языке носителей южнонемецких и средненемецких диалектов, в отличие от литературного языка меннонитов, где, как и в нижненемецком диалекте Plautdietsch, это различение проводится[5]. Литературный язык российских немцев не обладает, кроме того, кодифицированной нормой, которая фиксировала бы особенности этого варианта, обусловленные влиянием диалекта, русского языка или его самостоятельным развитием вне языковой метрополии, позволяющие говорить о нем как отдельном, «национальном» варианте немецкого языка. Так, при обучении российских немцев литературному немецкому языку как в довоенное, так

---

[4] Платские – русскоязычное самоназвание группы, производное от лингвонима Plattdeutsch.

[5] Эта ситуация по существу аналогична языковой ситуации в Германии, где в различных регионах особенности обиходной речи, а также некоторые особенности устной литературной речи обусловлены специфическим влиянием местных диалектов.

и послевоенное время предполагалось ориентироваться (по крайней мере в идеале) на норму литературного немецкого языка Германии[6].

Вероятно, можно говорить о локальных «нормах»: вариантах литературного немецкого языка в отдельных группах российских немцев, обладающих некоторыми устойчивыми чертами, в нашем случае – о литературном немецком языке, распространенном среди немцев-меннонитов Омской области [7].

Если влияние диалектов на литературный немецкий язык российских немцев в достаточной мере специфично, то влияние русского языка скорее стандартно, то есть проявляется похожим образом у разных групп российских немцев (описание многих типичных черт см. [Berend 1998: 126–162]). Отчасти поэтому, отчасти в связи со спецификой нашего материала[8] в данной статье не рассматриваются подробно особенности, обусловленные контактом с русским языком.

Влияние русского языка проявляется у различных носителей в неодинаковой мере. К примеру, на фонетическом уровне следует говорить о двух вариантах, «русифицированном произношении» (его основной источник – овладение литературным немецким языком в школе через опору на русский язык) и «аутентичном». Наиболее явным и осознаваемым носителями признаком первого варианта является русифицированный *h* в начальной позиции, произносимый как щелевой.

Здесь описывается «аутентичный» вариант литературного немецкого языка, то есть усвоенный через семью, немецкую школу и церковь, а не приобретенный в «русской» школе на уроках немецкого языка как родного или немецкого как иностранного. Этот подход объясняет и выбор в качестве информантов преимущественно людей старшего поколения.

Описываемый языковой вариант мы называем в данной статье «литературным немецким языком». С одной стороны, мы следуем в этом за его носителями; с другой стороны, это соответствует традиции отечественной германистики в обозначении немецкого языка российских немцев, соотносимого с нормативным языком Германии: используются обозначения «литературный немецкий язык» [Жирмунский 1976; Москалюк 2003], «russlanddeutsches Hochdeutsch», «hochdeutsche Standardsprache» [Berend 2008].

Сегодня в меннонитских деревнях Омской области этот вариант функционирует, однако, преимущественно в устном бытовом общении. Тем самым его объективное соответствие (с точки зрения и выполняемых функций, и связанных с этим собственно языковых особенностей) письменной литературной норме, занимающей важное место в понятиях «Hochdeutsch», «литературный язык», кажется не бесспорным.

Возможно, в связи со спецификой сегодняшнего использования описываемого варианта уместнее рассматривать его как разговорную непринужденную речь (Alltagssprache, Umgangssprache), чем как собственно литературный язык. Тем более что для немецкой языковой ситуации характерно выраженное присутствие в разговорной речи местных особенностей[9], что свойственно и описываемому варианту.

---

[6] Здесь мы прежде всего имеем в виду разработанную в 1920-х гг. концепцию преподавания литературного немецкого языка в диалектной среде, предполагавшую преподавание идиома, близкого письменному языку, а не диалектно окрашенного варианта, возникшего под влиянием диалекта «колонистов» и меннонитов [Berend 1998: 14]. В реальности тем не менее, насколько позволяет судить записанная нами речь пожилых членов сообщества, обучавшихся в немецких школах, в школе использовался именно диалектно окрашенный литературный немецкий.

[7] Не вполне ясно, в какой степени этот вариант типичен для всех меннонитов прусского происхождения, проживающих в разных странах. Нам не удалось найти развернутых описаний особенностей этого варианта, обозначаемого иногда как «mennonitisches Standarddeutsch» [Moelleken 1996: 18, 28].

[8] При выборе информантов предпочтение отдавалось тем, чья речь не проявляла сильного влияния русского языка.

[9] Как отмечает Девкин, «для немецких языковедов понятие разговорной речи неотделимо от диалектальной характеристики» [Девкин 1979: 21].

Мы будем использовать далее понятие «литературный немецкий язык» как обозначение того нормативного языка, с которым описываемый вариант соотносится, но следует помнить, что в данном случае речь идет о разговорной речи[10].

3.2. Характеристика языкового материала, принципы описания языковых особенностей

Литературный немецкий язык, распространенный у меннонитов Омской области, описывается на материале речевых отрезков разной длины, записанных от четырех информантов[11].

Основным источником данных при этом служит материал, записанный в ходе биографического интервью с одним из информантов (информант A), мужчиной 1937-го года рождения. Язык интервью не оговаривался специально заранее, однако было очевидно, что для информанта удобнее или по каким-либо причинам предпочтительнее говорить на литературном немецком языке, который и стал основным языком беседы. Интервью содержит продолжительные монологические отрывки. Кроме того, мы опираемся на записи речи еще трех информантов: мужчин 1936-го и 1939-го годов рождения (информанты B и C соответственно) и женщины 1938-го года рождения (информант D). Длина этого материала существенно меньше, чем запись, полученная от информанта A. В случае информанта B это два небольших отрывка, записанных в ходе интервью, и запись телефонного разговора, что в определенной степени позволило наблюдать речь информанта в ситуации большего (начало беседы с собирателем, не членом сообщества) и меньшего (беседа с близкой родственницей о здоровье одного из членов семьи) внимания к речи. От информанта C записаны только несколько высказываний на литературном немецком языке, служившие пояснениями к рассказам на диалекте. Запись речи информантки D довольно продолжительна, однако мы не считаем возможным использовать ее в данной статье в полном объеме в связи с особенностями языковой биографии носителя[12] и опираемся на отрывок, равный в расшифровке двум страницам текста, как пример речи, несколько отличной от речи других информантов.

Литературный немецкий язык меннонитов, как уже было отмечено, мы описываем с особым вниманием к его сегодняшней реализации в устной бытовой сфере. Будут приведены как те его специфические черты, которые с точки зрения нормы современного немецкого языка Германии могут быть расценены как аграмматичные, так и черты, определяемые его статусом как разговорной речи.

3.3. Примеры текстов

Прежде всего, чтобы дать общее представление об описываемом языковом варианте, приведем два небольших отрывка из записи речи информантов A и D. Степень «активности» языкового варианта у этих носителей различна. В первом случае это один из

---

[10] Это важно для адекватной оценки некоторых описываемых особенностей не как, условно говоря, проявления «испорченной» литературной нормы, а как обычных черт, присущих разговорной форме существования языка.

[11] Трое из информантов родились и провели жизнь в меннонитских деревнях, чствертая живет в районном центре Исилькуль.

[12] Эта женщина родилась в семье, где бытовым языком общения был литературный немецкий язык, но рано осталась без родителей и воспитывалась в семье, где говорили на нижненемецком диалекте. Кроме того, некоторое время она преподавала немецкий язык в школе, и, как кажется, представление о стандарте повлияло на ее речь, являющуюся в некоторых чертах более близкой литературному немецкому языку Германии, чем описываемый вариант в целом. Большую часть жизни информантка провела в городе (Исилькуль) и работала бухгалтером в русском коллективе. В ее повседневной жизни если не основным, то весьма активным языком был русский. Это, вероятно, и обусловило то, что в ее речи сильнее, чем у других информантов, проявляется интерференция со стороны русского языка.

основных языков в языковом репертуаре носителя: он регулярно говорит на нем на протяжении всей жизни. Во втором случае описываемый вариант не является повседневным языком информанта; речь характеризуется частыми паузами, исправлениями[13].

(A): *Dann gi**nj***[14] (= ging) *das Gem**äi**ndeleben hier über, noch* (= nach) *Margenau*[15]. *Und dann wurde gleich wieder **äi**ne Zentralschule **ou**fgebaut, in Margenau. Da wurde Deutsch unterrichtet. Russische Sprache wurde **ou**ch unterrichtet, aber das unterrichteten deutsche Männer. Deutsche Lehrer waren das. Das waren Lehrer alle met* (= mit) *Hochschulbildung. Grade so **äi**nfach wurde niemals **en*** (= ein) *Lehrer angenommen. Unsere Väter, wann* (= wenn) *die auch nur Bauer waren und Getr**äi**de bauten und Vieh hüteten und Vieh hatten, ja, das waren alles kluge ну грамотные люди были. Erst war ba*[16] (= bei) *uns – das ist noch **en** bisschen Freundschaft mit uns* (= unsere Verwandtschaft) – ***en** Jakob Epp. Das war **en** Lehrer in dieser Zentralschule in Margenau. Und wie* (= als) *in den zwanziger Jahren der NEP war, новая экономическая политика, dann fi**nj**en* (= fingen) *die Dörfer an... Die waren ganz kaputt gemacht. Alles wurde den Menschen we**chj**genommen. Und dann drehte die Regierung sich mit dem Gesicht wieder zu den Bauern. Und das do**ue**rte nichts, und dann waren unsere Mennonitenbauern... waren die wieder oben. Und in Omsk war **en** sehr großer Mennonitenver**äi**n. Da war dieser Jakob Epp, der war dort **en** Leitender.*

(D): *Sie war **ene*** (= eine) *Deutsche, wenn es auch zu Hause bi* (= bei) *ihnen wurde, soviel wie ich weiß, wurde Plattdeutsch gesprochen. Aber das war **ene** sehr gute Lehrerin. Die Schüler, die konnten auch sprechen. Und in unser Klasse war ein Schüler, das war ein Russe, der lernte nur auf Fünf, nur auf ausgezeichnet. Und er konnte eine Geschicht' oder was... er **i**bersetzte das gleiche im Russische, Hochdeutschen im Russischen. So begabt war der. Und er bekom* (= bekam) *auch eine goldene Medaille. Das war aune tausendneunhundertfünfzig* (= im Jahre neunzehnhundertfünfzig). *Jetzt wollte er in Moskau Universität*[17] *lernen. Und die schickten seine Papiere zurück. Sie dachten so: «Was kann von Sibirien gutes kommen?». Und dann waren auch die Lehrer, auch die Schüler, waren alle aufgere**chj**t* (= aufgeregt). *Das war so **en** begabter. Wenn der Lehrer... na, das konnte oder in Geschichte история, oder in Geografie, oder Mathematik, im Physik oder wo... Wenn der was erklärte und nicht alle das verstanden, dann musste der Rybolov nach vorne kommen und das so erklären, wie er das verstanden hatte. Und dann war allen verständlich. Solche Gaben hatte der. Der hatte die Gaben, das klar zu machen. Und später ist er noch en* (= in) *Novosibirsk, da ist ja Академгородок, da war er noch später... war er Direktor da, V**u**rsetzende, V**u**rstehende und ist aber jung gestorben an Krebs. Aber wann* (= wenn) *der mal hier herkam... Und en* (= in) *Dorf, hier so Kilometer dreißig von hier, waren ihre Verwandte.... Und wann es im Herbst war, dann fuhr er dahin helfen Kartoffel graben.*

Очевидно, что в каждом из отрывков наблюдаются отличные от стандарта черты, обнаруживаемые на всех уровнях. На уровне фонетики это, например, суженное произношение дифтонгов (*äinfach*, *ouch*) и делабиализация [y:] (*ibersetzte*), произне-

---

[13] Произношение, соответствующее стандартному, отображается далее в соответствии с обычными орфографическими нормами литературного немецкого языка. В случае отличного от стандартного произношения используются те буквы немецкого алфавита, которые наилучшим образом отражают характер специфических реализаций. Фонетические особенности выделены жирным шрифтом; специфические черты других уровней, а также включение диалектных единиц и единиц русского языка – подчеркиванием. В случаях, когда значение специфической единицы не очевидно, в скобках указывается соответствующая нормативная единица.

[14] Сочетание согласного и *j* обозначает в приводимых примерах палатализованный характер согласного. Используемый в этой функции в фонетической транскрипции значок «'» мы не применяем, поскольку он используется далее как обозначение редукции.

[15] Margenau – одна из старых меннонитских деревень Омской области, где находилась «центральная школа» меннонитов (Zentralschule).

[16] Звук, средний между *o* и *a*.

[17] В этом слове *s* произносится как глухой.

сение [ŋ] в определенном контексте как палатализованного [n'] (*ginj*, *finjen*). В предлоге *noch* «nach» происходит изменение гласного под влиянием диалектного аналога *no*; предлоги *met* «mit», *en* «in», *bi* «bei» могут трактоваться скорее как вставка собственно диалектного элемента, а не наличие интерференции в слове литературного языка. Встречаются и особенности произношения, указывающие на то, что в речи данного информанта это слово заимствовано из русского языка (ударность предпоследнего слога в слове *Mathematik*, глухое произнесение *s* в *Universität*). Есть примеры калькирования как диалектных конструкций, так и конструкций русского языка: и то, и другое наблюдаются, например, в указании даты *aune tausendneunhundertfünfzig* «im Jahre neunzehnhundertfünfzig». На уровне морфологии мы видим образование претерита по диалектной модели (*bekom*), колебания в формах артикля (*er ibersetzte das gleiche* ***im*** *Russische*, *Hochdeutschen* ***im*** *Russischen*) и в падежных окончаниях (*in* ***unser*** *Klasse*). И в том, и в другом случае это может быть выражением некоторой нестабильности системы падежных склонений в идиолекте информанта; в обоих приведенных выше случаях, однако, может быть прослежено и диалектное влияние[18]. Влияние русского языка в приведенных текстах прежде всего касается калькирования конструкций: например, калькирование идиоматического выражения «повернуться лицом к...» (*drehte die Regierung sich mit dem Gesicht zu den Bauern*), калькирование сложного союза «или -- или» (*das konnte* ***oder*** *in Geschichte история,* ***oder*** *in Geografie,* ***oder*** *Mathematik*) вместо использования нормативного немецкого «entweder – oder» и т. д.

Рассмотрим более подробно эти и другие особенности немецкого литературного языка, распространенного у меннонитов Омской области[19].

3.4. Фонетические особенности

Фонетические особенности, отличающие местный вариант литературного немецкого языка от литературного языка современной Германии, условно можно разделить на две группы по признаку их большей или меньшей регулярности. Кроме звука *r*, имеющего только один способ реализации, и просодических характеристик речи (интонационной специфики этого варианта, обусловленной влиянием нижненемецкого диалекта), все остальные особенности в большей или меньшей степени вариативны. Тем не менее одни из них отличаются высокой частотностью, а другие появляются в речи скорее окказионально. Начнем с регулярных признаков.

1) Реализация *r* только как переднеязычно-альвеолярного звука в отличие от литературного языка Германии, где присутствуют три варианта реализации *r*, все являющиеся нормативными. Увулярная и заднеязычная реализация *r* отсутствует также и в нижненемецком диалекте меннонитов.

2) Отсутствие вокализации *r*, в том числе в тех позициях, где в литературном языке Германии и большинстве диалектов вокализация происходит: *Brud[er]*, *Vo[r]fahren*, *di[r]* и т. п. В описываемом варианте согласный в этих позициях не ослабляется, не редуцируется и не вокализуется.

Вокализация *r* является одной из типичных черт разговорной немецкой речи, закрепившейся в определенном объеме также и в нормативном произношении [Auer 1990:

---

[18] Использование датива вместо аккузатива в примере *er ibersetzte das gleiche* ***im*** *Russische*, *Hochdeutschen* ***im*** *Russischen* может быть связно с двучленной системой артикля в нижненемецком диалекте, где форма артикля мужского и среднего рода в объектном падеже совпадает с формой старого датива. Отсутствие окончания притяжательного местоимения в дативе в примере *in* ***unser*** *Klasse* может обусловливаться частым отсутствием окончания в соответствующем местоимении в мужском и среднем роде в нижненемецком диалекте и совпадением его в дативе с формой номинатива [Jedig 1966: 78]. При этом необходимо предположить, что род определяемого существительного (*Klasse*), нормативно являющегося существительным женского рода, данный информант определяет как мужской под влиянием соответствующего слова русского языка (*класс*).

[19] В примерах специфических черт не фонетического уровня фонетические особенности речи могут быть далее не помечены.

162]. С учетом этого неясно, почему в описываемом варианте, по ряду фонетических признаков (например, различным редукциям) могущем рассматриваться скорее как разговорная речь (Umgangslautung), отсутствует свойственная разговорному стилю тенденция к вокализации *r*.

Очевидно, что вокализации не способствует свойственная описываемому языковому варианту реализация *r* как переднеязычного сонанта. Однако это не может объяснять полное ее отсутствие: так, в меннонитском нижненемецком диалекте[20], также имеющем переднеязычный *r*, вокализация в определенных позициях весьма распространена.

Как вероятный источник этой особенности можно было бы рассматривать влияние русского языка, которому не свойственно ослабление *r*. При этом, однако, не вполне понятно, почему отсутствие вокализации *r* характерно для речи представителей старшего поколения, которые усваивали этот язык в церкви, семье и школе не через посредство русского языка и для которых русский язык не являлся первым.

Возможно, отсутствие вокализации *r* можно объяснить ориентацией на орфографию, связанную с книжным освоением литературного немецкого языка (не обязательно нынешними носителями этого варианта, скорее – предыдущими поколениями; в дальнейшем эта норма могла передаваться устно).

3) Произнесение дифтонгов *ai* и *au*[21] с разной (меньшей, чем в нормативном произношении) степенью открытости.

ai

Дифтонг *ai* часто реализуется в описываемом варианте как *ɛi* (возможна также реализация *əi*): например, *Zäit, äin* и т. п.[22] При этом наблюдается высокая вариативность: от близкого к нормативному произношения до реализации дифтонга как *ɛi* с различными вариантами, расположенными между этими полюсами. В некоторых ситуациях говорящий способен (и стремится) сознательно приближать степень открытости этого дифтонга к нормативной. Например, в беседе с автором статьи речь информанта B отличалась высокой степенью «правильности», в том числе открыто произносился и данный дифтонг. Во время беседы информанту позвонила двоюродная сестра, живущая в этой же деревне и также происходящая из семьи «литературных» немцев. Разговор между ними шел на литературном немецком языке. Предмет разговора был таков, что позволил информанту отвлечься от контроля за собственной речью: обсуждалось здоровье одного из членов их семьи. Во время беседы информант перешел от нормативного произнесения этого дифтонга к суженному, более привычному для описываемого варианта.

Еще один пример различной реализации этого дифтонга в зависимости от обстоятельств коммуникации представляла речь информанта A: в молитвенном доме во время проповеди и молитвы на литературном немецком дифтонг реализовывался более открыто, чем свойственно этому информанту в обычной бытовой ситуации. Нашего материала, однако, недостаточно, чтобы оценивать, насколько регулярна и обязательна эта вариативная модель в реализации дифтонга (бытовое использование языка – использование языка в церкви). Эти примеры, как и пример информанта C, который в начале небольшой беседы произносил дифтонг в близком к нормативному варианте, а в конце стал допускать его узкие реализации, показывают, что реализация дифтонга *ai* в описываемом сообществе в определенной мере зависит от степени контроля говорящего за

---

[20] В немецкоязычном пространстве существуют так называемые «не вокализующие» диалекты. Так, *r* наиболее прочно сохраняется в алеманнских диалектах: в конце слога или слова *r* не вокализуется, сохраняясь как альвеолярный звук или перед некоторыми согласными как фрикативный. Нижненемецкий диалект меннонитов к «не вокализующим» диалектам не относится [Auer 1990: 163; Жирмунский 1956: 346].

[21] Нижнюю смычку как показатель дифтонга в транскрипции мы выпускаем для простоты написания.

[22] В нашем материале только информант D произносил этот дифтонг преимущественно нормативно.

своей речью и желания представить себя как носителя «правильного» языка. С другой стороны, вариативность реализации этого дифтонга имеет место и вне связи с вниманием говорящего к своей речи и изменением контекста. Остановимся в качестве примера на речи информанта А, которая была записана в наибольшем объеме, без изменения условий коммуникации и может поэтому считаться образцом обычной бытовой речи. Она также обнаруживает высокую степень вариативности в реализации рассматриваемого дифтонга: от нормативной до узкой.

Большая часть слов в речи информанта А произносилась с узкой реализацией дифтонга (*häißt*, *alläin*, *Äinzelhäiten*, *Gemäinde*, *Äisenbahn*, *käin*, *Geträide* и т. д.). В том числе узко произносился дифтонг в притяжательных местоимениях (*mäin*, *säin*) и в неопределенном артикле (если он реализовывался в полной, а не стяженной форме), кроме одного примера (в сочетании *in einem kleinen Haus*), числительных (*äin*, *zwäi*, *dräi*), за исключением сложного числительного *zweiundvierzig*, где дифтонг был произнесен нормативно. С нормативной реализацией дифтонга (или близкой к нормативной) всегда произносились слова *gleich*, *klein* и предлог *bei* (когда он реализовывался в полном варианте), а также некоторые существительные (*Verein*, *Leitender*, *lateinische Buchstaben*). Некоторые слова встречались и с открытой, и с закрытой реализацией дифтонга (например, *weil*)[23].

Таким образом, в описываемом варианте литературного немецкого языка наблюдается значительная вариативность в реализации дифтонга *ai*, отдельные случаи которой мотивированы сменой обстановки, изменением степени контроля за речью и т. д., а другие являются немотивированными: в речи одного и того же информанта без изменения контекста коммуникации часть слов реализуется с близким к нормативному вариантом дифтонга, часть (большая) тяготеет к его суженной реализации. В качестве возможного источника суженной реализации этого дифтонга можно предположить предшествующие процессы языкового развития и диалектное влияние.

Дифтонг *ai* современного немецкого языка образовался в результате дифтонгизации долгого *î* и расширения дифтонга *ei* [Жирмунский 1965: 144–146]. Как показывает анализ нашего материала, нет твердых соответствий между широкой или узкой реализацией дифтонга в том или ином слове и его источником в средневерхненемецком. Так, узко реализуются, с одной стороны, дифтонги в *Gemeinde* (ср.-в.-нем. *gemeinde*)[24] и *allein* (ср.-в.-нем. *alein(e)*) и, с другой стороны, в *Eisenbahn* (ср.-в.-нем. *îsen*) и *Beispiel* (ср.-в.-нем. *bîspel*). Широко (нормативно) произносятся и *klein* (ср.-в.-нем. *klein(e)*), и *gleich* (ср.-в.-нем. *gelîch(e)*).

В меннонитском диалекте Plautdietsch словам литературного немецкого языка, которые исторически содержали монофтонг, сегодня соответствуют также слова с монофтонгом, поскольку в нижненемецких диалектах отсутствовала дифтонгизация узких долгих *i*, *u*, *ü* (ср. н.-в.-нем. *Schwein*, ср.-в.-нем. *swîn*, мн. *schwien*[25]; н.-в.-нем. *Eisen*, ср. в.нем. *îsen*, мн. *iesa*). Таким образом, если диалектное влияние и имеет место, оно не сводится к прямому переносу на слово литературного языка фонетической оболочки его диалектного аналога. Дифтонг, восходящий к средневерхнемецкому *ei*, не имеет в диалекте однозначного соответствия. Это связано с тем, что речь идет об идиоме, происхождение которого сводится не к одной четко определенной форме, рассматриваемой как его непосредственный предок, но к некоторому количеству близкородственных диалектов с различными фонематическими системами [Niuewcboer 1998: 128–129]. Так

---

[23] Слова, отмеченные среди слов с узкой реализацией дифтонга, иногда могли произноситься с более открытым вариантом этого дифтонга, и, наоборот, те, которые в одном случае произносились открыто, в других случаях допускали чуть более закрытую реализацию. Таким образом, можно говорить о двух полюсах (условно «стандартном» и «нестандартном» произношении), которые сами по себе также представляют некоторый спектр реализаций.

[24] Средневерхненемецкие слова представлены по этимологическому словарю Клюге [Kluge 1967].

[25] мн. – меннонитский нижнемецкий диалект.

или иначе, важным является то, что в диалекте отсутствует дифтонг *ai*, но есть дифтонги *ɛi* (*äi* «Ei», *fräid* «Freude») и *əi* (*mäid* «müde», *wäit* «(ich) weiß», *äin* «ein», *twäi* «zwei») с открытым *ɛ* в качестве первого элемента дифтонга в первом случае и редуцированным звуком во втором. Как видно по приведенным примерам, части слов литературного немецкого языка с дифтонгом *ai* в диалекте соответствуют слова с дифтонгами *ɛi* и *əi*. Можно предположить, что, опираясь в том числе на эти соответствия, носители диалекта заменяли в литературном языке элемент *ai*, не имеющий в их диалекте точного аналога, близким диалектным дифтонгом. Этот перенятый под влиянием диалекта элемент, закрепившись в местном варианте литературного языка, не вытесняет нормативную реализацию дифтонга, а варьирует с ней.

au

Дифтонг *au* также реализуется в местном варианте литературного немецкого языка вариативно: от близкого к нормативному произношению до реализации как *ou*. Одни и те же слова могу произноситься и с тем, и с другим вариантами дифтонга, в том числе в речи одного и того же информанта (как, например, *dauerte* и *douerte* в речи информанта A). Эта особенность зафиксирована в речи всех информантов, но степень выраженности ее разная. Так, информант D в большинстве случаев произносит дифтонг скорее нормативно, можно говорить только о некоторой окраске. У информанта B также преобладает нормативная реализация, однако иногда дифтонг произносится и как *ou*[26]. Нормативно он произносит дифтонг в том числе и во время упомянутого разговора по телефону. В речи информанта D дифтонг последовательно реализовывался с меньшей степенью открытости, приближаясь к *ou*. В речи информанта A встречаются нормативные реализации дифтонга, но преобладает его ненормативное произнесение (*ouch*, *gekouft*, *tousand*, *Elternhouse*, *Mittagspouse*). При этом в некоторых словах дифтонг *ou* стягивается в монофтонг (*erlobt* «erlaubt», *getoft* «getauft»).

Как и в случае с предыдущим дифтонгом, в вариативности дифтонга *au* не удается обнаружить закономерности, обусловленной историей языка. Источником этого дифтонга являются средневерхненемецкие монофтонг *û* и дифтонг *ou* (а также сочетание *aw*) [Жирмунский 1965: 144–146]. В описываемом варианте как *ou* могут произноситься слова и с исходным монофтонгом, и с дифтонгом.

В нижненемецком диалекте дифтонг *au* отсутствует. Долгий германский *û* в диалекте остался недифтонгизированным и представлен сегодня как *y* или *u* (*düw* «Taube», *buk* «Bauch») (подробнее см. [Jedig 1966: 32]). Соответственно, на уровне отдельных слов перенесение диалектной оболочки в литературный язык здесь не имело место. Как и в случае с предыдущим дифтонгом, слова литературного немецкого языка с *au*, содержащие исторически средневерхненемецкий дифтонг *ou*, находят в диалекте несколько соответствий[27]. В их числе оказывается и дифтонг *ou* (*boum* «Baum», *droum* «Traum»). По всей видимости, в литературном немецком языке меннонитов дифтонг *ou* появился в результате замены носителями диалекта незнакомого им элемента *au* на близкий ему диалектный элемент.

4) Дифтонг литературного немецкого языка *eu* [oi] в описываемом варианте реализуется нормативно. Останавливаемся мы на нем здесь постольку, поскольку Нивебур, кратко характеризуя литературный немецкий язык меннонитов Алтайского края, отмечает как одну из его черт реализацию этого дифтонга как диалектное [ɛi] [Nieuweboer 1998: 203]. В нашем материале эта особенность встречается только в речи информанта C, где она варьирует с нормативной реализацией (*in däitscher Sprache*, но *Deutsch*).

5) В разной степени специфична в описываемом варианте реализация лабиализованных *ü* и *ö*.

Гласный *ü* (как закрытый, так и открытый) в описываемом варианте реализуется чаще всего нормативно, хотя допускает и ненормативную реализацию (например,

---

[26] В анализируемом отрезке речи информанта B зафиксировано пять нормативных реализаций и две ненормативные (*aus*, *Hauptthema*, *glaub'*, *auf*, *braucht – gloub'*, *ouch*).

[27] Им могут соответствовать слова с *ou*, *u:*, *ue*, *u*, *e:* и *äi* [Jedig 1966: 31–32].

übergeben и *ibergeben* в речи информанта В, *Stick* «Stück», *finfzig* «fünfzig» в речи информанта А). Отмечая преобладание нормативной реализации, укажем для сравнения, что Нивебур в качестве характерной черты литературного немецкого языка алтайских меннонитов приводит последовательную делабиализацию *ü* в *i* [Nieuweboer 1998: 203][28].

Гласный *ö* подвергается в описываемом варианте регулярной делабиализации и чаще всего реализуется как *e* или *oi*. Ненормативная реализация этого звука зафиксирована в речи всех информантов (кроме информанта В, в речи которого не встретилось релевантных слов).

Эта особенность напрямую соотносится с диалектным влиянием, поскольку в нижненемецком диалекте меннонитов звук *ö* отсутствует. Его замена в словах литературного языка, однако, не происходит в соответствии с диалектными звуками, присутствующими в том или ином слове (их может быть целый ряд: например, *steare* «stören», *tjenne* «können», *darpa* «Dörfer», *tjnäip* «Knöpfe»). Чаще всего происходит делабиализация *ö* и произнесение вместо него *e* (*Derfer* «Dörfer», *kennen* «können», *Getzenbilder* «Götzenbilder»). Также встречается произнесение *oi*, когда признаки огубленности и переднего ряда, сочетаемые в *ö*, реализуются отдельно как *o* и *i* соответственно (*moiglichj* «möglich», *Hoife* «Höfe», *Franzoisisch* «Französisch»).

Возможно, однако, и нормативное произнесение *ö*. Так, в речи информанта А, где в целом преобладало его делабиализованное произнесение, параллельно наблюдалась и нормативная реализация, в том числе в тех же словах, в которых в другом случае этот звук подвергался делабиализации (*Dörfer, geöffnet* и т. д.).

Особенности реализации *r*, дифтонгов *ai* и *au*, гласных *ü* и *ö* стóит рассматривать как регулярные особенности литературного языка меннонитов Омской области или, по крайней мере, его разговорно-бытовой формы. Этому их статусу не противоречит тот факт, что все они (за исключением реализации *r*) в большей или меньшей степени варьируют в речи с соответствующими нормативными реализациями. Регулярными чертами рассматриваемого варианта они могут считаться постольку, поскольку они частотны, обнаруживаются – за некоторыми оговорками – в речи всех информантов, охватывают различные категории лексики и зачастую не сводятся к прямому переносу фонетического признака с диалектного слова на соответствующее слово литературного языка (ср., например, приведенные выше *ouch* и *Derfer* и их диалектные аналоги *uk*, *darpa*), а присущи именно системе местного варианта литературного языка.

Помимо этих особенностей в описываемом варианте наблюдаются и менее регулярные фонетические черты, которые, как правило, обусловлены непосредственным окказиональным переносом на слово литературного языка элемента соответствующего диалектного слова[29]. Так, смычный согласный в приставке *ge-* иногда реализуется как спирант *j*[30]: *Die haben mal ene* (= eine) *Grammatik jehabt.* Другая особенность этого рода – свойственная диалекту спирантизация *g* и *k* в определенных позициях, переносимая на слова литературного языка (*fracht* «fragt» (мн. *froacht*), *Kriechj* «Krieg» (мн. *tjrichj*) и т. п.).

Есть фонетические особенности, связанные с переносом в литературный язык фонетических закономерностей диалекта, которые закреплены в описываемом варианте только за определенной категорией слов, но для этих слов являются обязательными.

---

[28] Эту особенность автор связывает с влиянием на литературный немецкий язык меннонитов языка «колонистов», одной из групп российских немцев, проживающей вместе с меннонитами в описываемой автором деревне.

[29] Другими словами, здесь, в отличие от предыдущей категории, невозможна ситуация, когда произносительная особенность, наблюдаемая в слове литературного языка, будет отсутствовать в соответствующем диалектном слове.

[30] Отметим, что в нашем материале эта особенность встречается только в приставках второго причастия и не затрагивает другие категории слов, к примеру, существительные на *ge-* (*Geschichte*, *Geschwister* и т. п.). Возможно, правда, отсутствие этих примеров связано только с меньшим количеством релевантных единиц в записанных текстах.

Так, формы *finje an*[31] и *ginjen* регулярно присутствует в речи информанта А при образовании претерита глаголов *anfangen* и *gehen*: например, *die Mennoniten finje doch immer gleich mit der Schule an.* Известно, что источником палатального [n'] в меннонитском нижненемецком диалекте являются сочетания *nd* и *ng* после гласных переднего ряда в ауслауте или интервокальном положении (так, *zinje* «singen», *finje* «finden») [Найдич 2003: 239]. Соответственно, в данном случае литературное *fingen* (претерит от *fangen*) предстает в речи информанта в диалектизованной форме *finje*: оно при этом не воспроизводит диалектный аналог (вторая форма этого глагола в диалекте – *fong*), но преобразуется по свойственной диалекту фонетической модели. Форма *ginjen* в результате этого процесса совпадает по реализации данного признака с претеритом диалектного глагола *gone* «gehen» – *jinje* (мн. ч).

3.5. Грамматические особенности

На уровне морфологии описываемый вариант характеризуется колебаниями в использовании падежных окончаний имен, форм артиклей и указательных местоимений. Отчасти эти колебания напрямую связаны с влиянием соответствующих форм диалекта:

(А): *Ich hab meinem Vater niemals betrunken gesehen. Ich hab meinem Vater niemals trinken sehen. Ich hab meinen Vater niemals rauchen sehen. Ich hab meinen Vater niemals gesehen, dass der was gestohlen hat und noch House* (= nach Hause) *gebracht. Ich hab dem niemals gehört, dass der über die Obrigkeit gescholten hat*[32].

В данном примере вариативность форм датива и аккузатива обусловлена влиянием двухпадежной системы нижненемецкого диалекта, в которой общий падеж (Objektkasus) в мужском и среднем роде имеет форму исконного датива.

Отличны от этого колебания в маркировке падежа, не связанные непосредственно с перенесением в литературный язык грамматической формы диалектного аналога, а проявляющие, по-видимому, некоторую нестабильность системы склонения, в большей или меньшей степени (скорее незначительной) наблюдаемую в речи разных информантов.

Свойственно рассматриваемому варианту и некоторое колебание в образовании временных форм глагола, выражающееся в присутствии в речи таких форм, как, например, *bekom* (Prät. 3 л., ед. ч. от *bekommen*) и *gemalen* (Part. II от *malen*). Эти нестандартные формы также делятся на связанные и не связанные с непосредственным влиянием диалектного аналога. Не связаны с ним форма *gemalen*, образованная говорящим с помощью суффикса второго причастия сильных глаголов вместо свойственного слабым глаголам дентального суффикса, или форма претерита глагола *können* в примере *Das ist meine erste Sprache, die ich* ***gekonnte***, возможно, ставшая результатом стремления говорящего с помощью префикса *ge-* выразить результативность действия («смог, освоил») при перечислении последовательности овладения разными языками. Претеритная форма *bekom*, прямой результат диалектной интерференции, образована по аналогии с диалектным претеритом глагола *kome*[33] – *kaum* (так приводит вторую форму этого глагола словарь Тиссена; в рассматриваемом диалекте дифтонг *au* монофтонгизировался в *o*).

На уровне синтаксиса можно выделить следующие особенности литературного немецкого языка меннонитов:

---

[31] Здесь под влиянием диалекта в глаголе отпадает и конечное *n*.

[32] Мы не останавливаемся здесь на других языковых особенностях приведенного фрагмента.

[33] Соотнесение с глаголом *kome* «kommen», а не с собственно диалектным аналогом глагола *bekommen* происходит постольку, поскольку употребительным аналогом последнего в диалекте является только глагол *tjrie* «kriegen».

1) Описываемый языковой вариант допускает наличие в предложении нескольких отрицаний, что не характерно для современной нормы стандартного немецкого языка, но в той или иной мере свойственно диалектам и повседневной речи. При этом в нем наблюдается некоторая корреляция между определенными наречиями и местоимениями и типом отрицания. Так, наречие *niemals* во всех зафиксированных с ним примерах выступало как единственное отрицание в предложении, например:

Es wird niemals zu Ende kommen; *Grade so einfach wurde niemals en Lehrer angenommen*; *Wir haben mit dem Kalmyk niemals Russisch [gesprochen].*

Местоимение *niemand*, напротив, тяготеет к сочетанию с *nicht / nich*:

***Niemand** hat es **nicht** verboten*;
*Das wollte **niemand nich**.*

Другие местоимения могут выступать и как единственное отрицание в предложении, и в сочетании с *nicht*. Например:

*Wir hatten **nix**, und die hatten auch **nix***;
*Nich das Deutsche oder den holländischen Dialekt, **nix** konnten die **nicht**, bloß Englisch.*

Также в описываемом варианте возможно двойное отрицание, сочетающее частицу *nicht* и местоимение *kein*: *Ich werd' **keinen** Namen* **nicht** *nennen.*

Двойное отрицание возможно также и в нижненемецком диалекте Plautdietsch, что, как предполагает Нивебур, поддерживается влиянием русского языка [Nieuweboer 1998: 197]. В свою очередь в литературном языке меннонитов эта особенность, по всей видимости, может обусловливаться влиянием и диалекта, и русского языка.

2) Некоторые особенности описываемого варианта определяются калькированием конструкций диалекта и русского языка. Часто они не получают статус системных характеристик, а представляют собой единичные образования, отличные от нормы. При этом калькирование диалектных конструкций вследствие структурной близости идиомов, о которых идет речь, чаще всего не приводит к аграмматичности высказывания. Результатом скорее становится обретение уже существующей конструкции литературного языка дополнительного значения. Так, например, в примере *Das Bild haben wir nich jekouft, das **haben sie** für uns gemalen* говорящий употребляет конструкцию с местоимением *sie* не в значении указателя на исполнителя действия, уже известного собеседнику и поэтому могущего быть обозначенным местоимением, а в неопределенно-личном значении. Здесь вместо нормативной конструкции литературного языка с местоимением *man* используется стандартная диалектная конструкция для выражения этого значения, конструкция с личным местоимением 3 л. мн. ч. *säi*, в постпозиции обычно представленного как *se* (приведенному примеру соответствует диалектное «*habe se*...»).

Калькирование русских конструкций, напротив, чаще приводит к появлению неправильных (и невозможных) с точки зрения системы современного немецкого языка конструкций. Так, в примере из приведенного выше текста *Und en* (= im) Dorf, *hier so.... Kilometer dreißig von hier* информант воспроизводит присущий русскому языку порядок слов для выражения примерного, неточного знания («километров тридцать отсюда») с постпозицией числительного, невозможный в немецком языке. В предложении *Wenn nur selten sprechen, dann vergisst sich das*, соблюдая свойственный сложноподчиненному предложению порядок слов (как в главной, так и в придаточной части), говорящий калькирует в придаточной части инфинитивную конструкцию русского языка («если только редко говорить, то...»). Возникшая конструкция не соответствует в данном случае нормативному свойству двусоставности немецкого предложения и является аграмматичной. Отметим также являющуюся калькой с русского языка и наблюдаемую в этом

примере конструкцию *das vergisst sich*, где возвратный глагол *sich vergessen*, могущий употребляться в немецком языке только в сочетании с одушевленным субъектом, в сочетании с *das* призван выразить (по аналогии с русским языком) несвойственное ему значение безличного пассива («это забывается»).

3) Некоторые устойчивые колебания демонстрирует порядок слов сложноподчиненного предложения[34]. При этом в предложениях одного вида (например, в дополнительных придаточных с союзом *dass*) порядок слов может быть гораздо более устойчивым, чем в придаточных другого вида. Для экономии места ограничимся иллюстрацией некоторых тенденций в изменении порядка слов на примере сложного предложения с условным придаточным.

Последнее место в придаточном предложении, как это и предполагает языковая норма, как правило, остается закрепленным за сказуемым:

Wenn das geschieht, dann bin ich en (= ein) *Kind Gottes*.

Однако если в случае сложной глагольной формы спрягаемая часть (вспомогательный глагол) занимает нормативное последнее место, то в случае составного глагольного сказуемого спрягаемая часть (в дальнейших примерах – модальный глагол) и инфинитив имеют тенденцию меняться местами, ср.:

1) *Wann* (= wenn) *Gott mir meine Sünden vergeben hat, dann brauche ich nicht mehr fluchen*;
Niemand hat dir das auch nicht verboten, wann (= wenn) *du das gemacht hast*.
2) *Wenn ich das nicht kann unterscheiden, das ist schon sehr traurig*;
Wenn wir zu Gott zurück wollen kommen, ist das niemand außer Jesum Christum, kein Buddha und kein anderer.

3.6. Лексические особенности

Из-за длительного отсутствия непосредственного контакта между литературным немецким языком меннонитов и современным немецким языком Германии лексические отличия между ними очевидным образом касаются пласта разговорной лексики (сленга и т. д.). Разумеется, специфика разговорной речи как таковой (имеются в виду такие ее особенности, как широкое употребление слов с ослабленной знаменательностью, могущих приобретать в разных контекстах разную семантику, употребление редуцированных форм и т. п.) характерна для описываемого варианта в той же мере, что и для разговорной речи Германии. Однако, насколько позволяет судить наш материал, специфической разговорной лексики (отличной от основного словаря и не индуцированной при этом русским влиянием) в описываемом варианте нет. Эта ниша отчасти заполнена привнесением в немецкую речь разговорной лексики русского языка как в результате калькирования, так и переключения кодов: например, *Wenn ich nichts liegen kann lassen, immer vom Kolchos noch was ein bisschen nach Hause schlepp', das wird ну это в привычку*. Глагол *schleppen*, соотнесенный у говорящего с русским глаголом *тащить* (в значении «тянуть», «волочить»), перенимает в данном случае и другое, разговорное значение этого русского глагола («воровать»).

На уровне основного словаря в описываемом варианте также есть некоторое количество специфических лексических элементов. В отличие от единиц, представленных в следующем разделе о присущей литературному немецкому языку меннонитов вариативности (в том числе лексической), эти элементы не варьируют в речи с нормативными соответствиями; в речи всегда представлены именно они. Источник этих особенностей в одних случаях очевиден, в других – не вполне прозрачен. Так, например:

---

[34] Порядок слов простого предложения в описываемом варианте в общем и целом нормативен (если речь не идет о калькировании той или иной конструкции русского языка).

1) Приставка и предлог *vor* всегда реализуются в описываемом варианте как *vur*[35]: V*urfahren*, *der Vursetzende* «Vorsitzende»[36], *Vurstadt*, *vur Neujahr*, *vurmittags*, *vurgestern*, *vuriges Jahr* и т. д. Эту особенность нельзя объяснить заменой элемента стандартного языка диалектной единицей, поскольку в диалекте ему соответствует *väa* [Jedig 1966: 82].

2) Союз *deswegen* представлен как *dawegen*, что является закрепившейся в литературном языке меннонитов адаптацией диалектного *doawejen*[37].

3) Указание даты (года) происходит в описываемом варианте с помощью элемента *aune* «im Jahre»: *Die Kalmyken kamen aune vierunvierzig*.

Этот элемент используется в этой функции и в меннонитском диалекте Plautdietsch: *Onze Tjast hoade wi aune zewenenfeftich*[38] «Unsere Hochzeit hatten wir im Jahre siebenundfünfzig». Нивебур отмечает эту особенность как фонетически адаптированное латинское *Anno*, заимствованное нижненемецким диалектом через литературный немецкий язык [Nieweboer 1998: 199]. Поскольку в литературном немецком меннонитов этот элемент представлен в диалектной форме, ясно, что это вторичное заимствование уже из диалекта.

Отдельно от регулярных особенностей описываемого языкового варианта отметим наличие в нем единиц, возникших под влиянием нижненемецкого диалекта и русского языка, статус которых (регулярны они или окказиональны) наш материал определить не позволяет. Скорее, однако, речь идет об окказиональных образованиях.

Так, в примере *Wann* (= wenn) *Gott mir meine Sünden vergeben hat, dann brauche ich nicht mehr fluchen, ich brauche nicht mehr schmochen* (= schmauchen, rauchen) глагол *schmochen* можно трактовать как фонетическую адаптацию диалектного *schmeätje*[39] (с переходом палатализованного согласного *tj* в соответствующий ему в верхненемецком спирант *ch* и изменением сопутствующего палатализации гласного переднего ряда). Также это может быть результатом стяжения дифтонга в нормативном глаголе *schmauchen*. В пользу диалектного влияния говорит отсутствие в произношении гласного призвука дифтонга (как это обычно бывает в описываемом варианте даже в случае стяженного произнесения дифтонга *au*), а также тот факт, что слово *schmauchen* в описываемом варианте не распространено (всегда употребляется *rauchen*), в то время как диалектное *schmeätje* для говорящего привычно.

Другой пример диалектного (окказионального) влияния на уровне лексики обнаруживается в *Das ist noch ein bisschen Freundschaft* (= Verwandtschaft) *mit uns*, где слово *Freundschaft* в результате семантического переноса обретает несвойственное ему в литературном немецком языке значение «родство», являющееся единственным значением слова *Frintschauft* в нижненемецком диалекте Plautdietsch [MLGD 2003: 82].

Влияние русского языка обнаруживается, как уже было сказано, в калькировании конструкций, в том числе калькируется структура слова, например, *Sie haben das vernannt* (= umbenannt). Вместо нормативной для данного слова в литературном немецком языке приставки *um-* говорящим используется приставка *ver-*, поскольку в одном из своих значений она соотносится с русским «пере» и выбирается поэтому для воссоздания структуры слова «переименовать». Иногда механизм появления специфического слова не волне прозрачен, при этом ясно, что частично оно обусловлено влиянием русского аналога. Так в примерах *So war hier der rechtschaffene* (= orthodoxe) *Glaube*; *Ouch in der rechtschaffenen Kirche, das ist die prawoslawische Kirche, ist alles erlobt* (= erlaubt)

---

[35] Эту особенность мы рассматривасм на уровне лексики, а не на уровне фонетики, поскольку сужение *o* в *u* привязано к конкретному элементу.

[36] Изменение корневого гласного под влиянием нижненемецкого глагола *sette* «sitzen».

[37] Слово имеет также аналогичное диалектному ударение на второй слог в отличие от ударного первого слога литературного *deswegen*.

[38] Пример из нашего полевого материала.

[39] *Schmeätje* – единственный семантический аналог нем. *rauchen* в меннонитском диалекте Plautdietsch.

исходным стимулом к выбору немецкого слова послужило русское слово «православный». Говорящий выделяет его первую часть «правый», ставит ее в соответствие в немецким «recht-» и соотносит на этой основе русское слово со словом литературного немецкого языка, начинающимся с этого же корня, – «rechtschaffen».

Под влиянием русского языка союз *wie* приобрел в описываемом варианте значение временного союза и регулярно употребляется в функции союзов *als* (выражаст однократное действие в прошлом), *seitdem* и *nachdem*: *Wie der erste Weltkriechj* (= Krieg)... *aune* (= im Jahre) *vierzehn finj* (= fing) *je der an, ja, mit Deutschland, dann wurde die Schule zugemacht*. Многократные действия в прошлом, как правило, вводятся в описываемом варианте, как и в стандартном языке, с помощью союза *wenn* или его диалектного соответствия *wann*: *Wann* (= wenn) *wir, plattdeutsche Jungen, zusammen waren, sprachen wir Plattdeutsch*. В литературном немецком языке союз *wie* также имеет временное значение[40] и используется для выражения олновременности действий прежде всего в настоящем времени, но в разговорной речи также и одновременности в прошлом. Исходя из этого использование союза *wie* в этой функции можно было бы не рассматривать как специфическую черту, отличную от разговорной нормы Германии. Тем не менее если в приведенном выше примере имеет место одновременность действий главного и придаточного предложений, то в других примерах с этим союзом действие придаточного может предшествовать действию главного: *Meine Schwester ist in Deutschland jetzt schon fünfzehn Jahre, wie die dahin kam*. Этот пример демонстрирует, что использование *wie* как союза, вводящего придаточные предложения времени, связано с влиянием русского языка, в котором союз *как* имеет аналогичную функцию[41].

3.7. Вариативность

Описываемому языковому варианту присуща широкая вариативность «коротких» слов (прежде всего служебных, но реже и коротких знаменательных). Одна и та же единица может быть представлена, во-первых, в полном или редуцированном виде (например, местоимение *es/'s*; неопределенные артикли *ein/en/'n*, *eine/ene/'ne*[42]) и, во-вторых, в нормативной или диалектной реализации (например, предлоги *in/en*, *fäa/für*, *mit/met* и т. д): *Ich weiß nicht, was fär* (= für) *eine Siedlung das war*; *Etliche Lutherische waren hier en* (= in) *Solnzewka*[43]. Иногда варьируют три реализации (нормативная, редуцированная, диалектная), как, например, в случае предлога *bei* (*bei*, *ba*[44], *bi*), союза *und* (*und*, *un*, *en*) и т. д.

Что касается чередования нормативного и диалектного (или диалектно окрашенного) вариантов слова, то наиболее часто чередуются союзы *wo/wu* (второй член пары появляется под влиянием диалектного *wua*) и *wenn/wann*, которые нередко могут быть представлены и в одном предложении:

---

[40] Так словарь немецкого языка DWDS («Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache») иллюстрирует это значение союза следующими примерами: *Wie ich zurückkomme, höre ich zwei Schüsse*; *und wie ich so ging, da sah ich auf einmal den Kranich ankommen* и т. д. (http://www.dwds.de/?kompakt=1&qu=wie)

[41] Использование союза *wie* в этом примере калькируст одну из свойственных союзу *как* конструкций: «союз, употребленный после предложения с существительным, имеющим значение времени, служит для обозначения того момента, с которого начинается счет времени, совпадая по знач. с союзом: с тех пор как (разг.) *Прошло два года, как мы познакомились*» [СУ 1935–1940, Т. 1: 1284–1287].

[42] Редуцированные формы совпадают с редуцированными же формами неопределенного артикля в диалекте.

[43] Редуцированная и диалектная реализации могут формально совпадать, так что не всегда ясно имеет место редукция стандартной формы или включение в речь диалектной единицы (например, частица *nich*).

[44] Редуцированный звук представляет собой нечто среднее между *а* и *о*.

Die Kirchenbücher, церковные книги, <u>wu</u> die alle registriert haben, wo en Kind geboren war un (= und) *alles*;
<u>Wann</u> die Zentralschule...<u>wenn</u> die geendichjt (= geendigt) *war, das war gleich fast wie en* (= cin) *Institut heute, da kamen geschulte Menschen raus.*

Wenn и его диалектный аналог *wann* варьируют и в сложном союзе *wenn auch*, имеющем уступительное значение:

Unsere Väter, <u>wann</u> die <u>auch</u> nur Bauer waren und Getreide bauten und Vieh hüteten und Vieh hatten, ja, das waren alles kluge... ну грамотные люди были.

Вариативность знаменательных слов, в том числе коротких, распространена в описываемом варианте в гораздо меньшей степени, чем вариативность служебных слов. Так, варьируют, например, нормативная и диалектная формы местоимения второго лица множественного числа *ihr/ji*: *Versteht **ihr** das, ja? / Versteht **ji**?* В случае знаменательных слов включение в речь той или иной диалектной единицы зачастую является одноразовым актом. Примеры подобного включения: *En* (= in) *der Neukolonie, da war dieses «n» schon <u>wachj</u>*[45] (замена наречия *weg* на соответствующий ему диалектный элемент *wachj*); *Das hat im Deutschen auch sehr großes <u>Wichjt</u>: «mir» oder «mich»* (вместо нормативного *Gewicht* употребляется одно из его диалектных соответствий). Диалектное слово при этом не варьирует регулярно со стандартным, как в случае приведенных выше служебных слов, когда частотность диалектной единицы может быть сопоставлена со стандартной.

В случае знаменательных слов стандартная единица часто варьирует не с собственно диалектным аналогом, а с формой, которую можно интерпретировать как редуцированную или как диалектно окрашенную. Так, существительные с конечным *e* могут произноситься как в полной, так и редуцированной форме: *Sprache / Sprach'*, *Geschichte / Geschicht'*, *Schule / Schul'*. Вторую единицу можно рассматривать и как естественную для разговорной речи редукцию, и как результат диалектного влияния: ср. соответствующие диалектные слова *Sproak*, *Jeschecht*, *Schoul*[46]. Аналогично этому и отпадение *n* в суффиксах существительных: *Menschen / Mensche* (диалектное *Mensche*). Вариативность стандартной единицы и специфической, появившейся под влиянием диалектного соответствия, регулярно имеет место в случае вспомогательного глагола *werden*: так, варьируют формы *werden* и *weren* (*d*, по всей видимости, выпадает под влиянием диалектного соответствия *woare*):

Die <u>weren</u> Ihnen den Zhurnal (= Zeitschrift) *bringen*;
Das sind alle die Getzenbilder (= Götzenbilder), *die heute in den großen Kirchen <u>weren</u> oufgestellt.*

Описанная вариативность, как это часто бывает в случае взаимодействия стандартного языка и диалекта, представляет собой случай так называемой конгруэнтной лексикализации, то есть «насыщение» единицами двух различных лексических систем общей (в силу близости идиомов) грамматической структуры [Muysken 2000]. Варьироваться в этой ситуации в принципе могут любые единицы. В нашем материале, однако, регулярно и закономерно варьируются только «не основные» (прежде всего служебные) слова. Включение диалектных знаменательных слов имеет место, но не обнаруживает какую-либо регулярность. При этом в структурном плане нет принципиального отличия между включением собственно диалектного слова или присутствием единицы, только про-

---

[45] Речь идет об отпадении конечного *-n* у глаголов в инфинитиве.

[46] В записанных нами текстах полная и редуцированная реализации слов, как правило, распределены произвольно и не связаны с контекстом (тематикой, особенностью реализации соседних единиц): *Das war alles in deutscher Sprach'! Aber Plattdeutsch, 'ne wunderbare Sprache!*

являющей диалектное влияние. С этой точки зрения как вариативность стандартного и диалектного могут рассматриваться и те примеры, приведенные в разделе фонетики, где слово литературного языка окказионально проявляет какой-либо признак соотвстствующего диалектного слова (*jekouft*, *Kriechj* и т. д.).

4. ВОСПРИЯТИЕ МЕСТНОГО ВАРИАНТА ЛИТЕРАТУРНОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА СООБЩЕСТВОМ НОСИТЕЛЕЙ

Восприятие литературного немецкого языка с точки зрения его субъективной «близости» носителю зависит от языковой компетенции того или иного члена сообщества. Те из них (меньшая часть), кто используют его как язык семейного общения или хорошо овладели им благодаря использованию в других сферах, воспринимают этот язык как «близкий» и «свой». Для тех, чья компетенция низка, этот язык скорее периферием.

Однако вне зависимости от уровня компетенции все члены языкового сообщества обязательно указывают на использование (сегодня или в прошлом) литературного немецкого в деревне и свое знакомство с этим языком. Общими для всех членов сообщества являются и представления о местном варианте литературного немецкого языка, развившиеся в сравнении его с языком Германии.

После начавшейся иммиграции российских немцев в Германию, открывшей возможность прямого контакта меннонитов с современным немецким языком Германии, в сообществе стало осознаваться своеобразие местного варианта литературного немецкого языка. Все суждения, высказываемые жителями о литературном немецком языке, неизменно касаются сравнения своего варианта с языком Германии и подкрепляются опытом последних двух десятилетий, непосредственно пережитым или воспринятым как некое «общее знание». Сопоставление и противопоставление своего варианта и языка Германии выражается и в привычном для сообщества именовании этих вариантов: свой язык называется «немецким», литературный немецкий язык Германии – «германским» (соответствует этому и именование своей группы как «немцев», а коренных немцев Германии как «германцев»).

Как собственно языковые особенности местного варианта носителями осознаются три фонетических признака: произнесение дифтонга *ai* как *ɛi*, переднеязычно-альвеолярный *r*, отсутствие вокализации *r* (последние два признака в восприятии носителей не разделены и обычно формулируются как «Мы *r* не проглатываем»). Эти особенности имеют в сообществе статус маркеров местного варианта литературного языка. Они могут сознательно варьироваться говорящим: при стремлении представить свою речь близкой к стандартному немецкому говорящий может реализовывать их в близком к нормативному варианте. Чаще и охотнее в этом случае варьируют произнесение дифтонга, *r* же обычно сохраняет привычную для данного варианта реализацию. С одной стороны, это, вероятно, может отражать какие-то психофизиологические закономерности артикуляции[47], а с другой – связано с тем, что переднеязычный характер *r* и отсутствие его вокализации ассоциируется в сообществе с «литературностью», «правильностью» языка, что обусловлено традиционным для сообщества взглядом на литературный немецкий язык через его письменную форму:

> *R у нас постоянно проскальзывает, а там его практически нет. Они не выговаривают... Не знаю, почему. Вот в письменности он же пишется* (ж., 1965 г.р., Солнцевка).

Среди представлений сообщества о местном варианте литературного немецкого языка выделяются несколько (порой противоположных) интерпретаций, базирую-

---

[47] Обуславливающие то, что для говорящего представляет бóльшую трудность изменять произношение этого звука, чем, к примеру, дифтонга *ɛi*.

щихся на сопоставлении его с языком Германии. Так, некоторые члены сообщества в большей степени, чем другие, рефлектируют наличие в повседневной речи диалектных элементов и элементов русского языка и оценивают это как «неестественность», «выдуманность» местного литературного немецкого, который из-за включения иноязычных элементов теряет свой «настоящий», «естественный» облик. В нашем материале это представление в первую очередь характерно для тех членов сообщества, которые переехали в Германию, но затем вернулись обратно.

Инф: [Литературный немецкий] *выдуманное это здесь, а там нормально говорят. Вот как русский язык мы учим в школе, мы же там все эти окончания у предложения правильно высказываем, слова. ... Так и там говорят. А тут немецкий, он не такой, он перекрученный. Тут на немецком начинают говорить, вот мы на собрание ходим, и русские слова вставляют. Или вот платское слово скажут и думают, что немецкое. Как-то было, вот пришли домой, а дети же очень восприимчивые. «Ой, – говорят, – они все вперемешку, все языки вперемешку»* (м., 1960 г. р., Солнцевка).

С другой стороны, отличия местного варианта литературного немецкого языка от языка Германии находят в сообществе и следующую интерпретацию. Они могут оцениваться как свидетельство большей архаичности местного варианта и тем самым его большей «подлинности». «Германский» же при этом воспринимается как более «модернизированный» и «испорченный» язык. Представители старшего поколения часто возводят те его единицы (обычно разговорные, сленговые), которые для них являются новыми, к влиянию английского. Это влияние зачастую и представляется основным источником «испорченности»:

Это слово «Tschüs», это не немецкое! Auf Deutsch ist das «Wiedersehen». А они этот Tschüs придумали! Это, наверно, английский (ж., 1941 г. р., Солнцевка).

Местный вариант литературного немецкого языка в противопоставлении с «германским» оценивается как «свой», «родной», отношение к нему теплое, эмоциональное:

У нас здесь было девяностолетие села, как раз когда наши все в Германию уезжали. Это было больно. ... И тогда я сочинила стихотворение. А когда вот девяностолетие было, предложили мне, чтобы я стихотворение прочитала. Я говорю: «Я не знаю... Чтобы перед этой публикой всей... Не могу». И здесь одна учительница немецкого языка, ей дали это стихотворение мое. Потом я все-таки подумала: «Как она его там читает?» Я же это из сердца, мои переживания, и теперь его кто-то читать будет! Я пошла к ней: «Как бы Вы читали?» – Вот так: «Ich liebe m[ai]n Dorf, ich liebe die H[ai]mat». Нет, говорю, я так читать не буду. Я буду читать для своих односельчан так, как мы говорим. И это будет по-домашнему, это пойдет к сердцу. ... И вот верите, когда я рассказывала, люди плакали. Это было свое (ж., 1941 г. р., Солнцевка).

«Германский» язык (или точнее наличие в речи его типичных маркеров) вызывает у членов языкового сообщества некоторое раздражение, особенно, если таким образом начинают говорить местные. Использование в селе «германского» варианта оценивается как неестественное и нелояльное по отношению к своей группе:

Инф1*: У нас в школе девочка была, несколько лет жила в Германии. Приехала сейчас и очень хорошо разговаривала по-немецки, и старалась это всем показать. И я тоже так немножко научилась и не хуже почти что ее разговаривала. В шко-*

ле я могла. Ну, я немножко картавлю, и мне это r было легко проглатывать. А сестра всегда злилась, если я начинала на немецком [48] *что-то так рассказывать, все r проглатывала.* ***Соб****: Почему она злилась?* ***Инф1****: Она просто говорит, что я притворяюсь.* ***Инф2****: Не то что притворяешься...* ***Инф1****: Выделываюсь или как...* (Инф1 – ж., 1989 г. р., Солнцевка; Инф2 – ж., 1990 г. р., Солнцевка)

Своеобразие местного варианта литературного немецкого языка стало осознаваться сообществом одновременно с процессом разделения меннонитов на две группы: переселившихся в Германию и оставшихся в России. В этой ситуации есть некоторая тенденция воспринимать себя как отдельную группу, отличную и от коренных немцев, и от российских немцев – переселенцев, которая имеет право на свой, отличный от «германского» язык.

Вот у нас так. Мы смягчаем у себя. Мы ai не говорим. ... Мы просто не в Германии живем – что мы там будем подражать! (ж., 1989 г. р., Солнцевка).

Местный вариант литературного немецкого языка, таким образом, мог бы получить символическое значение как маркер группы (немцев, живущих России). Сегодня это, однако, мало вероятно прежде всего потому, что его активных носителей в описываемом сообществе довольно мало. Остается все меньше возможностей использовать этот языковой вариант во внутригрупповом общении. Что касается его использования в общении с переселенцами и их потомками (набирающая значение функция литературного немецкого в рассматриваемом сообществе), не ясно, будут при этом сохраняться в речи местные особенности или говорящие будут стремиться приблизить свою речь к речи собеседника. Не ясно также, сохранится ли в этих условиях восприятие местного варианта как отличного от «германского», «нашего» языка. Развитию символической функции этого варианта как языка немцев России, противопоставленного «германскому» языку», препятствует также то, что он принадлежит не российским немцам в целом, а конкретной группе, российским меннонитам, у которых уже есть устойчивый маркер групповой принадлежности – диалект Plautdietsch (хотя он пока и не акцентирует противопоставление «наш» – «германский»).

5. ВЫВОДЫ

В деревнях меннонитов Омской области литературный немецкий язык использовался в первой трети XX в. в общественной (церковь, школа, администрация) и – в части сообщества – приватной (семейное общение) сферах. Сегодня этот язык употребляется в ограниченном объеме как язык церкви; преимущественной же сферой его использования является устное бытовое общение (в тех семьях, где он традиционно был семейным языком, а также в общении с гостями из Германии, в том числе детьми переселенцев, не владеющими диалектом и русским языком). Привычное его именование («литературный язык») не соответствует тому, что сегодня реализуемый в сообществе языковой вариант как по своим структурным особенностям (частые редукции, широкое включение в речь диалектных элементов и т. д.), так и по функциональной нагрузке может быть определен как обиходная речь.

Описываемый языковой вариант обладает рядом устойчивых фонетических признаков (реализация дифтонгов *ai* и *au* как *ɛi* и *ou*, реализация *ö* как *e* и *oi*, переднеязычный *r*, не подверженный вокализации ни в каких позициях), которые, за исключением отсутствия вокализации *r* (источник чего не вполне ясен), являются результатом диалектного влияния. По своему статусу в описываемом варианте они отличаются от имеющих место множественных окказиональных перенесений того или иного фонетического признака с диалектной единицы на соответствующую единицу литературного

[48] В семье информантки домашним языком служит литературный немецкий язык.

языка. В случае окказионального переноса специфический признак всегда наличествует в непосредственном диалектном аналоге слова, в то время как в первом случае он не обязательно обнаруживается в диалектном соответствии и принадлежит, таким образом, уже системе описываемого варианта литературного языка. В отличие от «окказиональных» диалектных влияний эти особенности характеризуются гораздо большей частотностью и регулярностью, но также проявляют заметную вариативность реализации и могут произноситься и в близком к стандартному варианте. Влияние нижненемецкого диалекта обнаруживается также в калькировании некоторых диалектных конструкций и – в определенных случаях – в вариативности артиклей и окончаний имен (в других случаях эта вариативность может быть не связана напрямую с влиянием диалекта). Характерной особенностью описываемого варианта является также регулярное включение в речь определенных диалектных элементов (прежде всего служебных слов – союзов и предлогов). Влияние русского языка у активных носителей литературного немецкого не затрагивает уровень фонетики, а выражается прежде всего в калькировании русских конструкций.

Оценка литературного немецкого языка с точки зрения его субъективной близости носителю в описываемом языковом сообществе различна: часть сообщества (как правило, те члены, которые обладают высокой компетенцией) определяют его как «свой», «близкий» язык, другие же – как периферийный и «чужой». Для тех и других, однако, он является неотъемлемой составляющей локального языкового ландшафта, что прежде всего связано с важной ролью в сообществе меннонитов религиозных практик, одной из традиционных сфер использования этого языкового варианта.

Контакт с современным немецким языком Германии, ставший возможным в последние два десятилетия, привел к тому, что сообщество стало осознавать свой вариант литературного немецкого языка как специфический. Возникло противопоставление местного варианта («наш») и «германского», занимающее сегодня центральное место в представлениях сообщества об описываемом языковом варианте. Некоторые из отмеченных выше особенностей получили в сообществе статус маркеров местного варианта: реализация дифтонга *ai*, специфика произнесения *r*. Эти признаки (чаще дифтонг) могут сознательно варьироваться говорящими при стремлении представить свою речь близкой к стандарту.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Девкин 1979 – *В.Д. Девкин*. Немецкая разговорная речь: Синтаксис и лексика. М., 1979.

Домашнев 1990 – *А.И. Домашнев*. Концепция национального варианта языка в трудах академика Г.В. Степанова // Res Philologica. Филологические исследования: Памяти академика Георгия Владимировича Степанова. М., 1990.

Жирмунский 1965 – *В.М. Жирмунский*. История немецкого языка. М., 1965.

Жирмунский 1976 – *В.М. Жирмунский*. Проблемы переселенческой диалектологии // Общее и германское языкознание. Л., 1976. Жирмунский 1976 – *В.М. Жирмунский*. Проблемы переселенческой диалектологии // Общее и германское языкознание. Л., 1976.

Ипатов 1978 – *А.Н. Ипатов*. Меннониты: Вопросы формирования и эволюции этноконфессиональной общности. М., 1978.

Москалюк 2003 – *Л.И. Москалюк*. Место литературного немецкого языка в системе языковых форм немецкого национального меньшинства // Вестник СПбГУ. 2003. Сер. 2. Вып. 1.

Найдич 2003 – *Л.Э. Найдич*. Об особенностях консонантизма в нижненемецком островном диалекте меннонитов. Синхрония и диахрония // Acta linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. СПб., 2003. Т. 1. Ч.1.

Соколовский 1996 – *С.В. Соколовский*. Меннониты Алтая: история, демография, ономастика. М., 1996.

Auer 1990 – *P. Auer*. Phonologie der Alltagssprache: Eine Untersuchung zur Standard / Dialekt-Variation am Beispiel der Konstanzer Stadtsprache. Berlin; New York, 1990.

Berend 1998 – *N. Berend*. Sprachliche Anpassung. Eine soziolinguistisch-dialektologische Untersuchung zum Russlanddeutschen. Tübingen, 1998.

Berend, Jedig 1991 – *N. Berend, H. Jedig*. Deutsche Mundarten in der Sowjetunion. Geschichte der Forschung und Bibliographie. Marburg, 1991.
Jedig 1966 - *H. Jedig*. Laut- und Formenbestand der niederdeutschen Mundart des Altai-Gebiets. Berlin, 1966.
Moelleken 1996 – *W.W. Moelleken*. Aus dem Leben niederdeutscher Mennoniten. Marburg, 1996.
Muysken 2000 – *P. Muysken*. Bilingual speech: A typology of code-mixing. Cambridge, 2000.
Nieuweboer 1998 – *R. Nieuweboer*. The Altai dialect of Plautdiitsch (West-Siberian Mennonite Low German). Diss. Groningen, 1998.
Ström 1928 – *A. Ström*. Deutschunterricht in mundartlicher Umgebung. Charkov, 1928.

СЛОВАРИ

СУ 1935–1940 - Толковый словарь русского языка. Т. 1–4 / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935–1940.
Kluge 1967 – *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1967.
MLGD 2003 – *J. Thiessen*. Mennonite Low German dictionary. Madison, 2003.

Сведения об авторе:

Ирина Алексеевна Бахмутова
Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб)
ibakhmutova@eu.spb.ru

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

***E. Bláhová* (red.). Řecko-staroslověnský index. Index verborum graeco-palaeoslovenicus.** Praha: Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, 2008–2010.

«Греческо-старославянский указатель», являющийся результатом многолетней работы авторитетного коллектива чешских ученых под руководством Э. Благовой, представляет собой выдающееся событие в современной палеославистике. Прежде всего, рецензируемый лексикографический труд вносит несомненный вклад в решение общей теоретической проблемы культурно-языковых контактов, поскольку демонстрирует модель греческо-славянских культурно-языковых отношений.

«Подобно культурам, языки редко бывают самодостаточными» (Сепир[1]): потребности сосуществования во времени и пространстве определяют непосредственные или опосредованные контакты культурно соположенных языков или контакты культурно воспринимающих и культурно доминирующих языков. При этом структурно-функциональные отношения между литературными языками, в отличие от структурно-функциональных отношений между разговорно-обиходными языками, всегда предстают как результат языковой рефлексии и имеют принципиально концептуальный характер. Одной из форм отношений между литературными языками является концептуально мотивированная трансляция культурно доминирующего языка в пространство создающегося или уже созданного литературного языка. При этом системно мотивированными «зонами проницаемости» являются лексика и синтаксис, задающие универсальную дистанцию между литературным языком и обиходно-разговорным языком.

Поскольку старославянский язык явился результатом перевода императивных для христианской культуры текстов с греческого языка, именно греческий язык стал для общего славянского литургического и литературного (книжного) языка культурно доминирующим языком. Соответственно, в рамках общей проблемы культурно-языковых контактов сохраняет свою безусловную актуальность проблема изучения словарного состава старославянского языка, т.е. суммы всех слов, сохранившихся в древних славянских рукописях, с точки зрения выявления корпуса лексических единиц, репрезентирующих процесс формально-семантической трансляции греческого языка.

Универсальной формой, соединяющей и сам процесс исследования и результаты исследования лексики культурно соположенных языков, являются двуязычные словари и двуязычные указатели, различающиеся наличием / отсутствием формальной фиксации значений приведенных эквивалентов. При этом особый интерес представляет словарь или указатель, ведущий исследователя от культурно доминирующего языка к культурно воспринимающему языку, поскольку только такое представление материала позволяет реконструировать сам процесс переводческой деятельности. Именно к такому лексикографическому типу относится «Греческо-старославянский указатель», целью которого, по мнению составителей, является «оценить старославянский словарный состав с точки зрения греческой лексики и, прежде всего, представить важные данные о богатстве и размере старославянской синонимии, о расширении и спецификации семантики старославянских слов под влиянием греческого языка, о словообразовании, формировании старославянских терминов и о заимствовании слов из греческого языка» (с. 18).

По избранному подходу «от греческого языка к старославянскому языку» и по способу обработки языкового материала «Греческо-старославянский указатель» является первым опытом в мировой палеославистике, поскольку традиционно словари старославянского языка, демонстрирующие лексический состав, непоследовательно регистрируют соответствующие греческие параллели и представляют их как вспомогательные данные, не дающие возможности понять во всем объеме семантические различия греческих и славянских лексем.

[1] *Э. Сепир*. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 173.

Представленный в «Греческо-старославянском указателе» материал дает возможность читателям, обращающимся к этому лексикографическому источнику, получить как собственно лингвистическую информацию, так и экстралингвистическую информацию.

Прежде всего, сама соположенность в отдельной лексикографической статье греческой лексемы и славянской лексемы, даже без формального указания на значения этих единиц, позволяет поставить и решить проблему семантического равновесия языка оригинала и языка перевода. Явленный семантический объем эквивалентных лексических единиц – моносемия / полисемия, семантическая свобода / связанность, потенциальная семантическая игра, а также явленные семантические отношения между лексемами – допустимость / недопустимость вариантности, позволяют увидеть в каждом отдельном случае либо соблюдение, либо нарушение славянскими переводчиками семантического равновесия языков.

При «обратной», по отношению к традиционной, подаче материала, наряду с семантическими параметрами эквивалентных лексических единиц, наглядными становятся и функциональные параметры собственно славянских лексем, а именно, сходство и различие словарного состава текстов разных функциональных типов, а также частота употребления отдельной лексемы в разных текстах. Фиксация осуществленного славянскими книжниками выбора единиц дает возможность делать и общие выводы о языковой компетенции славянских книжников, и, как следствие, выводы о качестве выполненных ими переводов.

Совокупность приведенного в указателе материала показывает также сложность переводческой работы книжников, синтезировавших приемы двух полюсных типов перевода – буквального (verbum de verbo) и смыслового (sensus de sensu).

Являясь безусловным новаторским лексикографическим трудом, «Греческо-старославянский указатель» непосредственно связан и с традиционными формами презентации лексического состава старославянского языка, поскольку создавался как продолжение «Словаря старославянского языка»: Slovník jazyka staroslověnského (Словарь старославянского языка) I–IV Praha 1966, 1973, 1983, 1997, сначала издавался под редакцией Й. Курца, а затем З. Гауптовой. «Словарь старославянского языка» и «Греческо-старославянский указатель» будут дополнены параллельно издаваемым «Этимологическим словарем старославянского языка». В итоге разнофункциональные лексикографические труды должны представить обширную и самую подробную обработку лексического фонда старославянского языка.

Включенность «Греческо-старославянского языка» в «метатекстовую лексикографическую цепь» дает возможность проследить этапы работы над этим трудом. Потребность в создании греческо-старославянского словаря ощущалась в палеославистике с начала XX в., когда возник интерес к изучению техники перевода старославянских и церковнославянских текстов.

В 1942 г. при Чешской академии наук и искусств была создана Комиссия по старославянскому языку под руководством Б. Гавранека, которая определила концепцию, способ обработки, объем словаря и критерии отбора памятников. Наряду со старославянскими карточками готовились и обратные греческие, латинские и древневерхненемецкие карточки. В 60-е гг. работа по выписыванию на карточки была закончена, в 70-е гг. проводилась проверка и дополнительная работа, в 90-е гг. в картотеку был включен материал найденных в монастыре св. Екатерины на Синае глаголических памятников – Синайского евхология и новой части Синайской псалтыри. Вопросом создания словаря на основе греческо-старославянской картотеки в середине 70-х годов много занимался В. Киас, по проекту которого словарные статьи двуязычного словаря должны были структурно соотноситься со статьями «Словаря старославянского языка». Следующим проектом явился проект И. Пацловой, содержавший идею семантической дифференциации греческих словарных статей при помощи латинских эквивалентов. Модификацией предшествующих проектов и новой концептуализацией явились работы Э. Благовой, которая нашла оптимальную форму соединения словаря и указателя, а также разработала принципы отбора и презентации языкового материала, позволяющие реконструировать переводческую технику.

Составленный в результате многолетней кропотливой работы нескольких поколений выдающихся чешских ученых «Греческо-старославянский указатель» бесспорно вызовет огромный интерес у специалистов разных направлений – лингвистов, занимающихся историей старославянского языка, церковнославянского языка и славянских литературных языков, текстологов, изучающих историю и типологию библейских переводов, историков и теологов, исследующих вопросы христианизации славянских земель, а также всех, кто интересуется проблемами медиевистики.

Н.Н. Запольская

Сведения об авторе:

Наталья Николаевна Запольская
Институт славяноведения РАН
zapolskaya_n@mail.ru

***Ch. Seydou*. L'épopée peule de Boûbou Ardo Galo: Héros et rebelle.** Paris: Éditions Karthala, 2010. 278 p.

Важность для исследователя-лингвиста качественного эмпирического материала – особенно по так называемым «экзотическим» языкам – сложно переоценить.

Именно такой – богатый и перспективный – лингвистический материал содержится в рецензируемом труде. Книга представляет собой собрание героико-эпических текстов (автор называет их «эпизодами», мы будем придерживаться этого же наименования) на атлантическом языке фула (Западная Африка), снабженных переводом на французский язык, комментариями и иллюстрациями.

Автор книги – крупнейший французский африканист Кристиан Сейду, исследователь языка и культуры, собиратель произведений устной словесности. Ее перу принадлежит, например, фундаментальная работа «Полидиалектный словарь глагольных корней фула» [Seydou 1998]. Представляемая же книга «Фульская эпопея о Бубу Князе Богатом: Герой и мятежник» является продолжением серии публикаций эпических текстов фульбе, в которую входят сборники, посвященные таким героям, как Силамака Белошеий и его раб-побратим Пуллори [Seydou 1972], и Хама Красный [Seydou 1976]. Рецензируемая книга является, соответственно, третьей в данной серии; она посвящена герою Бубу Князю Богатому и представляется автором как сборник эпизодов, в которых в процессе описания подвигов героя раскрывается сущность мировоззрения и самосознания фульбе, системы их ценностей и взглядов (с. 19).

Помимо собственно эпизодов, сборник содержит предисловие и введение. Предисловие знакомит читателя с народом фульбе, территорией их проживания (к югу от Сахары, от Атлантики до Голубого Нила) и местом, которое подвиги героев занимают в культуре и идеологии народа. Введение же глубже погружает читателя в мир фульбе и раскрывает сущность явления *пулааку* – этнической культуры, этносоциальных стереотипов поведения – переведем это как *фульскость* (по аналогии с *русскостью*). Понимание *фульскости* – ключ к правильному пониманию текста, поэтому автор уделяет так много внимания этому вопросу. Также Кристиан Сейду указывает на важность *слова* для фульбе: важность эта такова, что в обществе фульбе по сей день существует специальная каста гриотов-сказителей (о социальном статусе и функциях гриотов в обществах фульбе см. из новейших публикаций [Коваль 2010]). Гриот – всегда потомственный профессионал. Его задача – превратить нити слов в яркий и в то же время прочный рисунок текста, и для этого ему необходимо задействовать весь свой языковой потенциал, накопленный в опыте поколений. Только работа профессионала способна превратить легенду в настоящее произведение искусства, акцентирующее *фульскость*.

Рецензируемая книга состоит из шести независимых эпизодов. Общим в них является главный герой – Бубу Князь Богатый (Бубу Ардо Гало), совершающий разнообразные подвиги. Каждый эпизод предваряется краткой информацией об имени и месте жительства гриота, а также аккомпаниатора-лютниста. Затем следует собственно текст эпизода, расположенный на развороте так, чтобы каждой строке исходного текста на языке фула (примерно соответствующей дискурсивной единице) соответствовала строка французского перевода. Тексты сопровождаются сносками на фульской половине, проясняющими грамматически нестандартные явления в тексте (включая оговорки), а также сносками на французской половине разворота, поясняющими фразеологизмы и речевые обороты. Например, выражение «У Бубу был прекрасный белый чубарый конь-сахелец, каждая нога которого прямо стояла на двух годах» тут же имеет два комментария: конь-сахелец – это арабский конь, «конь с севера»; а нога, которая прямо стоит на годах, – традиционное указание на возраст лошади героя (с. 27). Таким образом, читателю, незнакомому с традиционным искусством слова гриотов, автор даст возможность досконально понять все значения, возникающие в тексте, как прямые, так и переносные.

В конце каждого эпизода автор приводит эксплицитные примечания, касающиеся его содержания: проясняет «мораль» текста, обращает внимание читателя на черты героя, проявившиеся в эпизоде, и их отношение к *фульскости*, приводит комментарии и иллюстрации, еще больше погружающие читателя в мир эпизода (с. 130), дает дополнительную информацию как о тексте, так и о рассказчике. Таким образом, после каждого эпизода читатель имеет возможность сразу получить отзыв автора с дополнениями и примечаниями, которые не оставят у него белых пятен в рисунке текста.

Морфология каждого эпизода в общем одинакова и напомнит русскоязычному читателю сюжет русской былины. Представление героя в нем сменяется конфликтом, затем герой получает задание и посредством подвига выполняет его. В рамках этой структуры возможны разнообразные вариации. Так, например, в первом, самом объемном, эпизоде Бубу Ардо Гало ос-

корбляет вождя народа бамбара и свой квест – уничтожить врагов вождя – получает в наказание. Подробно пересказывать все эпизоды не имеет особого смысла – стоит лишь подчеркнуть важные детали и те нюансы *фульскости*, которые проявляются в каждом из них.

Так, в первом эпизоде особое внимание гриот (Саммбуру Парита из Тайкири) уделяет женщине. Именно она является причиной конфликта, и отношения, которые истинному *пулло* (pullo – единственное число при множественном ful6e) уместно выстраивать с женщиной в разных ситуациях, описываются сказителем очень подробно. Во втором эпизоде (рассказанном Баабой Маалики Яттара из Теммбени) излагается весьма двусмысленная с точки зрения *фульскости* ситуация, с помощью которой гриот демонстрирует, что герой – это совершенно не обязательно строго положительный персонаж и что *фульскость* может подразумевать и довольно спорные качества. Третий эпизод (гриот Угу Мала Сааре) изображает Бубу Ардо Гало в традиционном амплуа преследуемого бунтаря, который на протяжении сюжета участвует в многочисленных стычках с разнообразными противниками. Здесь сказитель обращает внимание аудитории на то, как в соответствии с нормами *фульскости* герой общается с разными соперниками. Простота и общеизвестность сюжета позволяют гриоту развлечь читателя типично гриотскими приемами – например каноническим восхвалением родни Бубу Ардо Гало и его самого (с. 144). Четвертый эпизод (рассказанный гриотом Мамаду Хам-Барке Бурейма Бела из Дженне) повествует о предыстории героя, о его отходе от ислама ради отказа от обязательств, налагаемых религией. В пятом же эпизоде (гриот Угу Мала Сааре) Бубу Ардо Гало возвращается в ислам, однако продолжает отрицать законы, которые считает вторичными. В этом эпизоде, как считает автор, герой демонстрирует слушателю абсолютный архетип *фульскости* (с. 244), а сказитель – архетип сюжета: автор отмечает, что данный сюжет – один из самых репрезентативных и наиболее часто рассказываемых в этом цикле; он позволяет заострить внимание слушателя на характере героя, а не на неожиданных событиях. Шестой же сюжет (рассказанный Буукари Саммбо) замечателен тем, что фульбе знают его, как и предыдущий, с детства в разнообразных изложениях, и это позволяет гриоту раскрыть эмоциональную составляющую событий. Например, некоторые события представлены в тексте в виде диалогов, что было бы невозможно, не знай слушатели этот сюжет так хорошо (с. 254). Стоит также обратить внимание на представление героев в начале эпизода (с. 248). Если, например, в первом эпизоде гриот предпочитает эксплицитно описывать героев, то в шестом сказитель ограничивается их традиционным хвалебным представлением.

В целом рецензируемая книга имеет целый ряд неоспоримых достоинств для разных категорий исследователей. Фольклористы найдут в ней яркие, необычные образы, традиционные способы повествования, экзотические сюжеты. Культурологам книга предложит понятие *фульскости* и его досконального раскрытие как в текстах эпизодов, так и в комментариях автора. Однако эта книга представляет немалую ценность также и для исследователя-лингвиста, и на то есть несколько причин.

Во-первых, как можно понять из предваряющих эпизоды заметок и как указывает сама Кристиан Сейду, все сказители-гриоты происходят примерно из одной местности – петли реки Нигер (Мали и Нигер) – и говорят, соответственно, на одном диалекте языка фула. Принимая во внимание дисперсность языка и обилие диалектов (некоторые исследователи даже считают, что фула – это несколько языков), нельзя не оценить, что данные тексты совершенно лишены диалектного разнообразия, зачастую затрудняющего работу исследователя.

Во-вторых, очень важным качеством этих текстов является то, что они рассказаны профессиональными сказителями. Их мастерство выражается в использовании максимально богатого языка, изобилующего разнообразными грамматическими формами и примерами сложного синтаксиса, что редко можно встретить в связном тексте непрофессионального информанта. Такое изобилие делает сборник находкой для исследователя-типолога.

В-третьих, опять же из-за профессионального характера деятельности гриота его речь более традиционна и менее подвержена влиянию других языков, неологизмов и новейших перестроений языка (например, реклассификации существительных), чем речь обычных носителей. Это позволяет исследователям получить информацию по «чистому» языку, которая будет полезна в первую очередь исследователям-компаративистам.

Однако, описав качество лингвистического материала, представленного в книге, нельзя не отметить один недостаток, который может помешать исследователям полноценно этим материалом воспользоваться. Дело в том, что при построчном литературном переводе, которым снабдила свои тексты Кристиан Сейду, многие особенности структуры языка остаются скрытыми для читателей, не имеющих общего представления о грамматике и синтаксисе языка. Надо сказать, что эта проблема была успешно решена А.И. Коваль, см. [Коваль 1990]. Книга А.И. Коваль, так же как и рецензиру-

емый труд, содержит авторские тексты на языке фула, однако построчный перевод заменен в них пословным; тем самым указанная книга представляет значительную ценность и для лингвистов, не являющихся специалистами по языку фула, то есть не знакомых со структурой языка. Разумеется, морфологическая разметка текста давала бы исследователям более полное представление о языке, однако на данный момент единой системы глоссирования для языка фула еще не разработано.

Рецензируемая книга, таким образом, является собой пример сборника интереснейших текстов-эпизодов, не только любопытных с точки зрения их литературной ценности, но также являющихся хорошим источником эмпирического материала для исследований как специалистов-фуланистов, так и представителей более общих направлений, в числе которых компаративистика, грамматическая и синтаксическая типология, а также многочисленные смежные дисциплины.

Сведения об авторе:

Мария Александровна Косогорова
Институт языкознания РАН
maria.kosogorova@gmail.com

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Коваль 1990 – *А.И. Коваль.* Эпос и литература фульбе: К исследованию литературных форм младописьменного языка. М., 1990.

Коваль 2010 – *А.И. Коваль.* Ремесленники слова у фульбе (Субсахарская Африка) // Исследования по лингвистике и семиотике: Сб. статей к юбилею Вяч.Вс. Иванова. М., 2010.

Seydou 1972 – *C. Seydou.* Silâmaka et Poullôri: Récit épique peul raconté par Tinguidji. Paris, 1972.

Seydou 1976 – *C. Seydou.* La geste de Ham-Bodêdio: ou, Hama le Rouge. Paris, 1976.

Seydou 1998 – *C. Seydou.* Dictionnaire pluridialectal des racines verbales du peul. Paris, 1998.

М.А. Косогорова

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 2012

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Международный этимологический симпозиум. Брно 2011. Теория и практика в славянском диахроническом языкознании

Международный этимологический симпозиум проходил в Брно 6–8 сентября 2011 г. Начало этимологическим симпозиумам было положено в конце 1960-х гг. в Москве, они проводились в Москве, Лейпциге, Брно, Белграде, Любляне. Первый симпозиум в Брно состоялся двенадцать лет тому назад. Организатором симпозиума 2011 г. (уже пятого по счету из проходивших в Чехии) стал Этимологический отдел Института чешского языка ЧАН. В оргкомитет вошли ведущие ученые этимологического отдела Х. Карликова и И. Янышкова. Симпозиум проходил под эгидой Президента Чешской АН и при поддержке главы Южноморавского края М. Хашека. Финансовая поддержка симпозиуму оказана Грантовым фондом, а также частным спонсором – компанией В. и М. Михловски. На торжественном открытии гостей приветствовала руководитель отдела Х. Карликова, в своих выступлениях представители руководства Южноморавского края, философского факультета университета, Института чешского языка, Комитета славистов отметили специфику этимологии как особой научной дисциплины, подчеркнули значение этимологической науки в решении гуманитарных проблем, в воссоздании историко-культурного славянского контекста, расширяющего возможности исследования явлений культуры, категорий философии.

В работе симпозиума приняли участие авторы-составители этимологических словарей славянских языков из Болгарии, Польши, России, Сербии, Хорватии, Словакии, Словении, Чехии и активно работающие в области этимологии ученые из славянских стран, а также из Германии, Австрии, Румынии, Швеции. Было заслушано 44 доклада, тематика которых отражает современное состояние этимологической науки, современные тенденции и методику этимологии. Симпозиум приурочен к столетию основания Канцелярии словаря чешского языка, положившей начало Институту чешского языка.

В центре внимания исследователей остаются проблемы этимологизации трудных слов с затемненной внутренней формой. На материале разных славянских языков детально разрабатываются этимологии слов с неясными генетическими и лексико-семантическими связями. Так, в докладе Я. Влаич-Попович (Сербия) «К реконструкции праслав. **gotovъ*» праслав. **gotovъ* рассматривается как результат уходящих своими корнями в индоевропейскую эпоху (включая балтийские и славянские языки) сложных семантических, морфологических, лексических процессов, приведших к трансформации индоевропейских глагольных имен в новые глагольные категории супина и инфинитива, которые стали базой для формирования отглагольных прилагательных, в том числе и праслав. **gotovъ*. М. Белетич (Сербия) «Этимологизация "словообразовательных гапаксов" (на примере серб.-хорв. *разговетан* 'ясный, понятный')» разрабатывает новую этимологическую версию для серб.-хорв. *разговетан* на основе сложения с **ętьnъ* из **orzgo-v-ętьnъ*. Новая этимологическая версия для праслав. **tina*, реконструкция для праслав. **bugati* и **sekti* 'следить' предложены в докладе Ж.Ж. Варбот (Россия) «О возможных дополнениях и коррективах к некоторым праславянским реконструкциям и этимологиям на базе русской диалектной лексики». Происхождение болгарских лексем исследуется в докладе Т. Тодорова «Теория и практика: к этимологии болгарских слов *гъгрец*, *гъгрица*, *джаджи*, *клек*, *цинцар*». В докладе Л.В. Куркиной (Россия) «Роль этимологии в раскрытии семантики "темных" слов древнерусского языка» показано значение историко-этимологического анализа для раскрытия семантики и лексико-семантических связей некоторых др.-русск. слов (*възтраплѧти*, *оскраный*, *припряти*, *прикремы*, *придеревъ*). С привлечением большого диалектного материала в докладе Т.В. Шалаевой (Россия) «К этимологии и.-е. **lino-* (праслав. **lьnъ* 'лен; Linum usitatissimum L.')»

предложено дополнительное обоснование принадлежности праслав. **lьnъ* 'лен' к гнезду глагола **liti*. В докладе К. Лешбер (Германия) «Этимологизация ю.-слав. сленговых слов» на основе этимологизации ю.-слав. сленговых слов, которые представлены в разговорном языке, тайных языках, языке современной молодежи, делаются выводы о процессах в словообразовании, семантике, о языковых контактах, степени лингвистической креативности. М. Вайдлова (Чехия) в докладе «О взаимосвязи слов *doutnati*, *tutlati*, *tutnati*» реконструирует общую семантическую основу 'гореть, тлеть' для названных чешских глаголов.

В ряде выступлений предметом исследования стали заимствования в связи с проблемой взаимодействия языков: возможность турецкого заимствования для сербских и болгарских слов рассматривается в докладах С. Петрович (Сербия) «Серб.-хорв. *неимар* 'главный архитектор, строитель' – турцизм на славянской почве?» и Д. Борисовой (Болгария) «Два турецких заимствования в болгарском и сербохорватском – *хас*, *хасол/асал*». Проблема заимствований из финно-угорских языков на материале русской диалектной лексики получила освещение в докладе С.М. Мызникова (Россия) «Трансформационные изменения слова в свете этимологических исследований». В контексте славяно-иранских языковых контактов прослеживается общность функции и единый общий языковой источник для ряда сакральных славянских терминов (**bogъ*, **mirъ*, **rajь*, **Xъrsъ* и т. д.) в докладе В. Блажека (Чехия) «Славянская сакральная терминология в перспективе иранской этимологии». Языковые контакты на диалектном уровне в пограничной болгаро-румынской области рассмотрены на материале двувидовых глаголов Х. Дейковой (Болгария) в докладе «Контактная лингвистика и этимологическая практика». Языковые трансформации в лужицких языках, вызванные немецким влиянием, прослеживаются в докладе К. Бранкачкец (Чехия) «Языковые изменения через языковые контакты. Реакция лужицкого языка на изменения в немецком глагольном словообразовании».

Современная этимология отмечена особым вниманием к семантике как одному из важнейших резервов внутренней реконструкции. Роль табуизации в развитии новых значений на материале ст.-чеш. *topořiti* показана в докладе П. Нседлы (Чехия) «Место и функция табуированного наименования в старочешском языке». На материале семантики слав. **xudъ* ставится вопрос о принципах реконструкции праславянского значения в докладе М. Якубовича (Польша) «Значение континуантов праслав. **chudъ*». Развитие семантики *šunela*, заимствования из румынского языка, как результат сложных процессов, обусловленных употреблением слова в определенных ситуациях, показано в докладе М. Вучкович (Сербия) «Этимология и прагматика: серб. диал. *šunela* 'мир, тишина, покой'». В исследовании Я. Ваняковой (Польша) «Происхождение славянских диалектных названий растений» названия растения Plantago предстают как сложное переплетение индоевропейского наследия, заимствований из соседних языков, калькирования.

Одно из направлений современной этимологии связано с изучением лексики, организованной по тематическому и лексико-семантическому принципу. Словообразовательная структура и мотивационные характеристики наименований летучей мыши в славянских языках детально исследованы в докладе А. Шивиц-Дулар (Словения) «Славянские наименования Vespertilio». Определены основные семантические составляющие ('желание, удовольствие', 'включение в собственную сферу жизни', 'опека' и т. п.) лексического поля любви и исходные этимологические гнезда в докладе С.М. Толстой (Россия) «Этимология и семантическая типология: еще раз о любви». Выражение *соломенная вдова*, семантика и структурно близкие способы выражения этого понятия в разных языках рассматриваются в докладе Е.Л. Березович (Россия) «Семантическое калькирование или семантическая типология (к истории выражения "соломенная вдова" в различных европейских языках)». Многообразие названий некоторых растений, обусловленное их психоактивными свойствами, рассматривается на культурном фоне в докладе У. Тейссена (Австрия) «Колдовские травы, заблуждение и забвение. Культурная история и этимология названий психоактивных растений (мак, белена, конопля)». Разные лексические средства, используемые для обозначения понятия *бродяга*, рассматривает Б. Островский (Польша) в докладе «Белорусские диалектные названия *бродяги* (на фоне эквивалентной лексики других славянских языков)».

Работа над этимологизацией славянской лексики подвела к выделению слов, не поддающихся объяснению на основе регулярных процессов. Об изменениях, вызванных затемнением внутренней формы, и как следствие – о преобразованиях устойчивых сочетаний в русской лексике, связанной с обозначением лесного пчеловодства, говорилось в докладе Р. Эккерта (Германия) «Преобразование компонентов фразеологического сочетания в результате их идиоматизации». Влиянием разных факторов вызваны изменения несистемного характера. В докладе М. Фурлан (Словения) «Праслав. **lalokъ/*laloka* и **oskrъdъ* в словенской диалектной мельничной терминологии» на основе процессов диссимиляции объясняются различия в фонетическом облике

диалектных терминов мельничного производства: **laloka* > **naloka*, **oskъrda* > **oskrъba*. Контаминация как фактор, влияющий на формирование фонетического облика слова, рассматривается в докладе Й. Рейзека (Чехия) «Лексическая контаминация – определение, типология, аппликация».

Анализ вариантных текстов как средство этимологического отождествления вариантных написаний слов продемонстрирован М. Хомолковой и Ш. Шимек (Чехия) в докладе «Реконструкция формальной структуры старочешских слов как этимологическая проблема» на примере ст.-чеш. *bowyčeti/bowiczeti* и т. п.

В программу симпозиума вошли доклады по грамматической проблематике. В исследовании В. Шаура (Чехия) «Теория и практика этимологического решения спорных праславянских явлений» обосновывается необходимость историко-этимологического различения образований с суф. *-nik* и *(n)ik*. Модель образования прилагательных на *-ujь* служит ориентиром в поисках объяснения некоторых не вполне ясных старочешских прилагательных (*hoduji*, *spoluji*) в докладе К. Волековой (Чехия) «К типу ст.-чеш. прилагательных на *-uji*». При этимологизации слов существенны те функциональные изменения, которые претерпевает слово или отдельные его компоненты при переходе в класс грамматических показателей. Проблема грамматикализации лексики рассматривается в докладах Ф. Мартинек (Чехия) «Грамматикализация слова *bud'* в старочешском», Я. Гркович-Мейджор (Сербия) «Развитие формы будущего времени в старосербском языке». В историческом плане предметом специального рассмотрения стали морфологические и словообразовательные средства для выражения категории определенности / неопределенности в докладе Г. Мучковой (Словакия) «Категория определенности и неопределенности на фоне развития морфологии и словообразования языка (на примере словацкого языка)». С. Хабиянец (Хорватия) в докладе «Circulus vitiosus в диахронической лингвистике (на примере теории Паулини о природе ритмического закона)» рассматривает сложные исторические процессы в праславянской фонологии. В докладе Ю. Тойота (Швеция) «Этимология в отношении к концептуализации временного показателя *-s* для передачи прошедшего и будущего времени» высказано предположение о том, что в основе формирования древней системы грамматических времен с помощью показателя *-s* в балто-славянских языках на раннем этапе их развития лежит типологически редкая оппозиция «realis – irrealis» с тем отличием, что в балтийских языках ирреальная ситуация стала соотноситься с будущим временем, в славянских – с прошедшим (для выражения аориста).

В ряде докладов в свете этимологических данных рассматривались проблемы формирования праславянского языка и его категорий. С. Палига (Румыния) в исследовании «"Трихотомический" характер протославянского и давно дебатируемый вопрос о древнейших славянских заимствованиях в романских языках» на основании детального анализа ранних заимствований (IV–VI вв.), известных под названием Barbaricum, локализуемых на территории современной Румынии и южной Украины, предложил новое понимание этногенеза славян на основе слияния в одну этническую группу трех основных сатемных компонентов: 1) южная ветвь балто-славянского (или протославянского), 2) западноиранский, 3) северная ветвь фракийского; к более позднему времени он относит влияние со стороны германских, уральских и восточно-романских языков. Попытка дополнительной аргументации в пользу локализации прародины славян в Полесье содержится в докладе С. Стояновича «В поисках прародины славян в свете названий некоторых растений (тополь, сосна, можжевельник, вяз)».

Многие положения докладов стали предметом научного обсуждения. Активное обсуждение выступлений, обмен мнениями по затронутым вопросам способствовали более углубленному пониманию проблем этимологии.

В рамках работы симпозиума состоялось очередное рабочее заседание Этимологической комиссии при Международном комитете славистов.

Особо следует отметить высокий уровень организации и дружескую атмосферу научного сотрудничества.

Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркина

Сведения об авторах:

Жанна Жановна Варбот
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
zhannavarbot@yandex.ru

Любовь Викторовна Куркина
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
lyukurkina@rambler.ru

IV Всероссийская конференция «Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе»

18–20 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге в стенах Института лингвистических исследований РАН проходила IV Всероссийская научная конференция «Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе». Уже ставшая традиционной конференция объединила представителей академической и вузовской науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, Махачкалы, Новосибирска, Омска, Пскова, Саранска, Тулы, а также из Казахстана и Венгрии. В работе конференции приняли активное участие молодые ученые: аспиранты и преподаватели различных вузов страны.

В своем вступительном слове заведующий Словарным отделом ИЛИ РАН С.А. Мызников отметил, что XIX в. представляет собой чрезвычайно сложный и интересный этап становления и изменения словаря русского языка, формирования общенациональной литературной нормы – целую эпоху в развитии русского языка, поэтому его изучение, несмотря на то, что исследования ведутся с XIX в., т. е. уже на протяжении двух столетий, – важнейшая задача современной русистики. Грандиозный объем существующего языкового материала и его многообразный характер позволяют выбирать такие подходы, которые сегодня находятся в русле новейших направлений современной лингвистики. Одним из таких актуальных направлений исследования, которое оказалось особо выделенным на проходящей конференции, стало осмысление феномена человека через язык, выступающий не просто как средство выражения и передачи мысли, средство коммуникации, а как система, в которой оформляется концептуальный образ мира. Традиционный характер конференции, посвященной исследованию языка XIX в., свидетельствует о том, что сделано в этом направлении многое, но еще больше предстоит сделать, поэтому постоянные встречи ученых, занимающихся соответствующей проблематикой, являются важными и плодотворными.

Данное научное мероприятие тематически соотносится с проблематикой исторической лексикологии и лексикографии. Оно стало уже четвертой всероссийской конференцией, и ее регулярность позволяет объединять филологов, исследователей языка нового времени, расширять сферы их взаимодействия и сотрудничества, предоставляет возможность обмена опытом между специалистами, занимающимися изучением самых разных сторон и проблем русского языка XIX в. – того периода, который и филологически, и культурно сыграл огромную роль в становлении современного русского литературного языка.

Организаторы конференции (Институт лингвистических исследований РАН и Всероссийский музей А.С. Пушкина, Музей Г.Р. Державина и русской словесности его времени) ставят перед собой задачу координирования работы российских ученых, специалистов в области исторической лексикологии и лексикографии. Многоаспектность данной сферы с неизбежностью вызывает необходимость выбора какого-либо исследовательского направления, которое выступает как одно из приоритетных при изучении русского языка XIX в. На этот раз в качестве такого направления было выбрано антропоцентрическое, на что указывает подзаголовок темы конференции – роль личности в языковом процессе. Прочитанные доклады затрагивали важнейшие вопросы развития русского языка XIX в.

1. Русский язык XIX века в контексте истории формирования современного литературного языка.

Выполненная на материале газеты «Северная пчела» работа «Влияние газетной публицистики на литературный язык в первой половине XIX в.» И.Б. Дягилевой (Санкт-Петербург) описывает становление языка публицистики, поиск новых словоупотреблений, процесс активизации различных способов номинации в художественно-публицистических материалах и углубление процессов демократизации литературного языка, происходившее благодаря публицистике. Привлекая материал Национального корпуса русского языка, лексикографических источников XIX в. и мемуаров воспитанниц учебных заведений (институток), В.А. Ефремов (Санкт-Петербург, «Номинации женщины во второй половине XIX в.: гендерные асимметрии и способы их устранения») анализирует разнообразные способы устранения гендерных асимметрий в номинациях женщины (от *инспектрисы* до *мовешки*), устанавливая социолингвистические и культурно-речеведческие причины появления и исчезновения подобных лексем в истории русского языка XIX – начала XX в.

Важный период в складывании национального русского литературного языка нашел отражение в уникальном документе – «Записках» незаурядного псковича Л.А. Травина, предпринимателя, разносторонне одаренного, любящего свой край человека, прекрасно владевшего слогом. Л.Я. Костючук и Е.В. Волкова (Псков) в докладе «Письменный текст одного автора на рубеже XVIII–XIX веков как свидетельство о частных и общих языковых явлени-

ях (Л. Травин и его "Записки")» анализируют, как носитель языка способен точно выразить мысль, тем самым зафиксировав особое значение или же сдвиг в значении у лексической единицы. В центре внимания К.А. Роговой (Санкт-Петербург, «Национальный язык и его воздействие на художественную литературу (И.С. Тургенев, Н.С. Лесков)») оказывается корреляция между «нормативно-литературным», идущим от Пушкина и Тургенева, и «эстетическим», берущим начало от Гоголя и Лескова, типами повествования в русской прозе, а также между литературным и нелитературным (просторечие, диалекты, жаргоны) подразделениями национального языка. Высказывается мнение о том, что широкое проникновение в сферу литературного языка внелитературных единиц в качестве экспрессивно-стилистического средства не представляет угрозы его сохранению и развитию. Важное место в российской литературной действительности занимал институт цензуры и ее непосредственные представители – цензоры со своими личными убеждениями и пристрастиями. Их опосредованное и прямое воздействие на функционирование и формирование лексики в русском языке XIX в. стало объектом внимания С. А. Эзерини (Санкт-Петербург, «О влиянии цензуры на лексические процессы в русском языке XIX в.»). Автор выделил 4 фактора (экстралингвистические и лингвистические) такого воздействия.

2. Роль личности в процессе развития и нормализации русского литературного языка (культурно-антропоцентрическое направление лингвистики). Литературный язык объединяет народ в языковом плане. Личность, то есть конкретный человек, является активным творческим участником процесса коммуникации. Ей принадлежит ведущая роль в создании литературного языка. Проблема языковой личности применительно к задачам и возможностям историко-лексикологического исследования рассматривается в докладе В.Н. Калиновской (Санкт-Петербург) «Языковая личность и ее отражение в историческом словаре дифференциального типа: к постановке вопроса». Затрагивается вопрос лексикографического представления лексико-семантической динамики, в котором ярко выступает языковая личность: авторство слова (например, помета *у Герцена*), влияние на складывающиеся нормы словоупотребления (например, иллюстративный материал, справочный раздел *Норм.*, раздел *Истор.-культ. комм.*). Автор анализирует сложные слова с корнем *един-*, отражающие формирование ключевых понятий в системе национальной языковой картины мира.

На примере литературной, научной или общественной деятельности авторов XIX века участники конференции рассматривают влияние языковой личности на развитие отдельных аспектов русского литературного языка как непосредственно – через принадлежащие их перу вербальные тексты, так и опосредованно – в силу значимости фигуры выдающихся представителей XIX в. и их идей для культурного общества и сообщества в целом. Особенности языковой личности переводчика древнего текста освещены А.А. Бурыкиным (Санкт-Петербург, «"Слово о полку Игореве" в переводе В.В. Капниста (1811 г.)»), железнодорожного врача – Н. В. Скрябиной (Санкт-Петербург, «Языковая личность железнодорожного врача П.В. Цезаревского (на материале произведений 1890–1900-х гг.)»). Г.Ю. Смирнова (Санкт-Петербург, «Язык текстов Н.И. Лобачевского в истории русского литературного языка XIX в.») отмечает особенности языка текстов Н.И. Лобачевского, в первую очередь архаичность и языковой консерватизм его слога, несмотря на который, образы, подсказанные его идеями, нашли живое отражение в знаковых литературных и философских произведениях XIX и XX вв., в том числе у Ф.М. Достоевского, К.Н. Леонтьева, Н.А. Бердяева и др. На примере истории лексемы *акробатство* и ее использовании в идиолекте Н.К. Михайловского О.А. Старовойтова (Санкт-Петербург) в докладе «Н.К. Михайловский: особенности языковой личности» показывает, что точное семантическое и функционально-стилистическое описание языковой единицы, определение специфики ее употребления отдельным человеком может иметь важное значение для понимания места человеческой личности в социуме, ее интеллектуального и творческого потенциала.

Отношение общества к речевой ситуации эпохи, к проблемам публичного общения и художественной практики на протяжении XIX в. анализирует Г.В. Судаков (Вологда) в своем докладе «Речевые новации XIX века в оценках современников». Подъем национального самосознания обусловил острые дискуссии на рубеже XVIII–XIX вв. и в первой четверти XIX в. На 30–50 гг. XIX века приходится период некоторой стабилизации, закрепления норм и правил, освященных авторитетом крупных писателей. Объемом и глубиной характеристик актуальных речевых средств отличаются рефлексивы Н.В. Гоголя, у которого встречаются различные типы оценочных высказываний: оценка речевого поведения и речевых тактик персонажей; оценка значения или звучания отдельных слов, формальной и семантической структуры слова, указание на сферу употребления, стилистическая оценка уместности / неуместности употребляемого слова.

Д.А. Романов (Тула) в работе «Из наблюдений над неологией Л.Н. Толстого» указывает на необходимость рассмотрения словотворчества Л. Толстого в аспекте роли личности в ис-

тории формирования русского литературного языка. Л. Толстому не характерно ни обильное словотворчество, ни специальное обновление языка своей эпохи: как любой художник, выработавший собственный, узнаваемый идиостиль, он менял язык своего времени естественным путем -- результатами внедрения своего творчества в жизнь страны и народа.

3. Проблема узуального и окказионального в языковом развитии XIX в.

Собирательство и отражение в источниках XIX в. лексики социальных диалектов, по наблюдениям М.Н. Приемышевой (Санкт-Петербург, «О традициях представления асоциальной языковой личности в литературе XIX в.»), обусловлены интересом к ней ряда любителей и филологов-профессионалов. Автор в своем докладе привел единичные или редкие слова из лексики асоциальных групп, обнаруженные в произведениях В. Даля, П. Мельникова-Печерского и др., а также проследил традиции отражения лексики городского дна в двух литературных формах: «записках сыщиков» и описаниях «русских трущоб».

В поле зрения авторов доклада «Формирование отраслевой терминологии в трудах сибирских публицистов XIX в.» М.А. Харламовой и А.Ю. Милютиной (Омск) попали очерки сибирских публицистов, представленные в журнале «Дорожник по Сибири и Азиатской России» за 1899 г., характеризующие социально-экономическое состояние края, описывающие обычаи местного населения. Исследователи проанализировали слова и словосочетания, которые наглядно демонстрируют тенденции в развитии русского литературного языка XIX века.

Малоизученные очерки А.В. Вышеславцева, путешественника, писателя, художника и историка искусства, стали предметом исследования А.С. Щекина (Санкт-Петербург), который, отмечая в докладе «Испанизмы и латиноамериканизмы в записках А.Я. Вышеславцева о кругосветном путешествии» стилистическое своеобразие текста данного автора, сосредоточил внимание на заимствованиях из испанского языка. Именно в них проявились любознательность писателя, стремление познакомить русского читателя с жизнью народов, отдаленных от него многими тысячами километров.

Особенности процесса заимствования в разные периоды активизации англо-русских языковых контактов в течение XIX в. описываются С. Янурико м (Венгрия, «Адаптация английских заимствований в русском языке XIX в.»). Выделив общее и различное в процессах заимствования англицизмов XIX в. и наших дней, автор доклада делает вывод о роли англо-русского двуязычия представителей русской аристократии, определивших процессы заимствования, и определяет тематические группы таких заимствований.

Были также представлены стендовые доклады. Доклад О.А. Анищенко (Казахстан) «В.И. Даль и молодежный социолект XIX века» посвящен новаторству В.И. Даля в традиции собирательства и описания молодежных жаргонов (использование в литературном тексте, в «Толковом словаре живого великорусского языка», сборнике «Пословицы и поговорки русского народа»). Работа А.Л. Мугумовой (Махачкала) «Ориентализмы в языке русской художественной литературы XIX века: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов (вопросы преемственности и инноваций в процессе нормализации лексики литературного языка)» выявляет ориентализмы языка произведений М.Ю. Лермонтова, употребленные им впервые и вслед за А.С. Пушкиным, исследует динамику их отражения в толковых, прежде всего академических словарях, с учетом положения Р.А. Будагова о верифицирующей роли словарей в формировании литературной нормы языка в каждую эпоху его развития.

4. Вопросы истории слов и понятий в языке и культуре XIX в.

Рассмотрев в своем докладе «К проблеме формирования лексико-семантических и лексикографических стереотипов в интерпретации слова под влиянием языка художественной литературы (на примере слова “бурлак” в поэзии Н.А. Некрасова)» функционирование слова *бурлак* в языке XIX в., Д. В. Виноградов (Санкт-Петербург) приходит к выводу о том, что существенным сужением значения, обнаруживающимся в современных толковых словарях, данное слово обязано шаблонной трактовке этого образа в литературе и живописи (особенно Н. Некрасовым и И. Репиным) и созданию культурного стерсотипа несчастного бурлака-лямочника. Анализируя употребление терминов «проза / прозаический», «поэзия / поэтический», в докладе «Функционирование терминов поэтики в трудах А.Г. Горнфельда (к вопросу о формировании языковой личности ученого потебнианской школы)» Е.Л. Куранда (Москва) указала на важную роль А.Г. Горнфельда в становлении филологической терминологии в языке XIX в. Выполненное на материале русской романтической прозы XIX в. исследование «Номинации понятия “белый” в традиции русского романтизма: на материале прозы XIX в.» М.В. Подскребко (Санкт-Петербург) выявляет типичные для данного литературного направления способы и типы номинации понятия «белый». На материале печатных высказываний о Н.А. Некрасове М.Ю. Степина (Санкт-Петербург) прослеживает формирование объе-

ма понятия «карикатура» в русской критике 1840–1850-х гг., устанавливая в своей работе «Формирование объема понятия "карикатура" в русской критике 1840–1850-х гг. (на материале печатных высказываний о Н.А. Некрасове)» факт расширения объема понятия, в частности, сомнение в художественности. Проанализировав в докладе «Особенности употребления оттопонимических прилагательных в путевых очерках И.А. Гончарова Фрегат "Паллада"» использование И.А. Гончаровым прилагательных (редких типа *шанхайский*, *нагасакский*, *портсмутский* и др. и употребительных типа *английский*, *китайский*, *японский*, *русский*, *европейский*), Е.А. Щеглова (Санкт-Петербург) не только выявляет у них новые коннотативные значения, но также прослеживает границы индивидуального авторского употребления и общеязыковых тенденций русского языка XIX в.

В стендовом докладе О.А. Сараевой (Казахстан) «Репрезентация женственности в языке русской литературы XIX в.» подверглись анализу лексический состав номинаций женственности и синтаксическая организация их в поэтических текстах XIX в. (произведения А.С. Пушкина, Е. Боратынского, М.Ю. Лермонтова).

5. Проблема исторического взаимодействия литературного языка и языка художественной литературы.

Проблема языка художественной литературы XIX в. на протяжении долгого времени является объектом пристального внимания исследователей. В контексте непрекращающихся дискуссий о дальнейшей судьбе русского языка очень уместной представляется историческая аналогия, проводимая Л.В. Зубовой (Санкт-Петербург), которая в докладе «Критика языка в середине XIX в.: В.Г. Белинский, Ф.В. Булгарин и др.» рассматривает журнальную полемику 40–50-х годов XIX в. о языке литературы, литературной критики и публицистики. В частности, анализируется спор об употреблении церковнославянизмов, замечания о недопустимости некоторых иностранных слов. Выявляется стилистическая динамика русского языка и роль литераторов разных направлений в этом процессе. Рассматривая общие тенденции в словотворчестве поэтов XIX в., В.В. Никульцева (Москва) в работе «Словотворчество поэтов XIX в. в сопоставительном аспекте» также анализирует словотворческие эксперименты, отражающие своеобразие индивидуальных неолексиконов поэтов XIX в. (П. Вяземский, Н. Языков, Л. Мей, В. Бенедиктов, Я. Полонский, Ф. Тютчев, А. Фет и др.). Автор доказывает, что деривационные и стилистические эксперименты с поэтическим словом, начатые в середине XIX в., оказали существенное воздействие на формирование и развитие поэтики серебряного века. Переведенный на русский язык с французского «Плутарх для прекрасного пола» был дополнен текстом «Галерея знаменитых россиянок». Анализ данного произведения, проведенный в докладе «"Плутарх для прекрасного пола" как вторичный текст» В.Д. Черняк (Санкт-Петербург), устанавливает его несомненную вторичность (ключевые слова, прецедентные тексты).

Ключевые единицы выступают своеобразными координатами художественного мира автора, поэтому так важно их выделение при исследовании языка писателя. Особенно значимым представляется в этом отношении изучение тех случаев, когда ключевой характер приобретает поэтическая универсалия, подобная рассмотренной в докладе «"Все испытать душа успела…": слово *душа* как ключевая единица в поэзии Евгения Боратынского» Л.Л. Шестаковой (Москва). В создании образа души поэт использует широкую палитру языковых средств. Исследователь характеризует место существительного в индивидуальном словаре поэта, его семантику, проявления словообразовательных связей, вовлеченность в синтагматические отношения. Анализ подобных слов необходим для изучения истории художественной речи и истории национального языка.

6. Лексикографическая практика XIX в. и языковая личность лексикографов.

Доклад И.С. Куликовой и Д.В. Салминой (Санкт-Петербург; «"Настольный словарь по всем областям знания" Ф. Толля как тип авторского словаря») подводит итоги изысканий авторов в области индивидуальных жанровых и содержательных особенностей опубликованного в начале 60-х гг. XIX в. энциклопедического словаря *под редакцией Ф. Толля*, установления личности составителей словаря, обнаружения интересных биографических данных. Словарь отличается от современных энциклопедических словарей по сути: в способе отбора, компоновки и языкового оформления материала отчетливо ощущается личностное начало. Исходя из свободы точек зрения, оценок, интерпретаций и, наконец, способа выражения составителями своих мыслей, авторы доклада характеризуют словарь как авторский. Л.Е. Кругликова (Санкт-Петербург) рассматривает в своей работе «Роль языковой личности лексикографа в словарном деле (на материале "Словаря церковнославянского и русского языка" 1847 г.)» вопрос значимости языковой личности лексикографа при составлении словаря и на конкретном примере показывает, как недостаточное внимание к качеству цитаты привело к неверному выведению значения у существительного *шпынь* в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г.

и дальнейшей сомнительной интерпретации этимологии данного слова.

В стендовом докладе А.Ш. Юсуповой (Казань) «Лексикографическая практика XIX века (на примере татарско-русских и русско-татарских словарей)» дается характеристика печатных двуязычных словарей. Созданные учеными, преподавателями и миссионерами, эти двуязычные словари донесли до нас богатейший лексический материал эпохи, который отражал культурно-исторический диалог русского и татарского народов.

7. Творческой личности А.С. Пушкина и его роли в развитии русского литературного языка в рамках конференции было посвящено специальное заседание. Дата заседания (19 октября) совпала с 200-летием открытия Царскосельского лицея.

В докладе «Поэтические идиолекты А.С. Пушкина, А.И. Полежаева, М.Ю. Лермонтова: лексические стыковки и расхождения» П.Л. Васильев (Саранск) прослеживает лексические традиции и новации в языке трех писателей-современников, преемственно связанных друг с другом в своем творчестве, на материале «Словаря языка Пушкина» (1956–1961), «Частотного словаря языка М.Ю. Лермонтова» (1981), «Словаря языка А. И. Полежаева» (2001). Автор делает вывод, в частности, о постепенном формировании «метафизического» (интеллектуального) фонда лексики русского литературного языка, его освобождения от архаичных элементов.

В выступлении «Из истории метафорического употребления имен собственных в русском языке (М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин)» Р.И. Воронцова (Санкт-Петербург) рассматривается ономастическая метафора как регулярное явление семантической системы. Ее риторико-поэтический потенциал, активно эксплуатировавшийся в поэзии XVIII в., стал своего рода открытием в истории русской словесности первой четверти XIX в., в пушкинскую эпоху. Метафорическое употребление собственных имен в русском языке было характерно как для высокой, книжной, так и для разговорной речи, ономастическая метафора стала «нормой художественного выражения эпохи».

Прозаические произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова стали объектом исследования «Оценочный и характерологический потенциал западноевропеизмов, реализуемый при описании особенностей поведения героев (на материале прозы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова)» Е.В. Макеевой (Москва). Художественный текст открывает перед писателями большие возможности для реализации потенциальных оттенков значения слов, особенно если речь идет о появлении в слове оценочной коннотации или о реализации характерологических оттенков значений. Анализ лексических единиц западноевропейского происхождения, использованных для описания особенностей поведения героев, дает автору исследования возможность оценить их характерологический и оценочный потенциал.

В докладе «Стилистические опыты А.С. Пушкина» объектом для анализа В.В. Ершова (Санкт-Петербург) избирает ранние и поздние поэтические тексты писателя. Неповторимость языка Пушкина, воплощенная в литературном тексте на основе чувства соразмерности, благородной простоты, искренности и точности выражения, – эти принципы находят отражение в использовании поэтом конкретных языковых единиц, в построении предложений.

На заседании, посвященном языку А.С. Пушкина, были также представлены стендовые доклады. Оценки грамматической правильности стихотворного языка Пушкина в русской литературной критике 1-й половины XIX в. приводит в докладе «Грамматическая правильность поэзии А.С. Пушкина в зеркале русской критики» И.Б. Серебряная (Казань). В замечаниях рецензентов, сделанных по поводу отдельных пушкинских словоупотреблений, отразились языковые приоритеты эпохи, изменения в языке и противоречия между узусом и нормой. В докладе З.П. Табаковой (Казахстан) «Новаторство А.С. Пушкина и тенденции в развитии синтаксиса русского языка» выявляются особенности синтаксических построений поэта. Употребление безглагольных предложений в народной речи послужило для него достаточным основанием для признания их в языке поэзии. В творчестве А.С. Пушкина различные типы безглагольных предложений выполняют функции вводности в тему, описания обстановки, пейзажа, особенно часто – описания внешности героя. Пушкинские новации в построении синтаксических конструкций определили тенденции в функционировании их в различных сферах речи.

Важным этапом конференции, носящим конкретно-практический характер, стал традиционный круглый стол «Проблемы изучения и лексикографического описания русского языка XIX в. (Словарь русского языка XIX века)». Руководитель группы «Словаря русского языка XIX века», ведущий научный сотрудник Словарного сектора ИЛИ РАН В.Н. Калиновская познакомила участников и гостей конференции с итогами работы группы по формированию дифференциального словника словаря. Дифференциальное описание словарного состава русского языка, лежащее в основе создаваемого словаря, принципиально ново в отечественной исторической лексикографии. Его целью является представление лексико-семантической

системы русского языка в развитии, в исторической перспективе от прошлого к современности. Создание полного, научно выверенного словника для такого словаря представляется первоочередной задачей, стоящей перед его составителями, требующей специальных исследовательских разысканий в отношении отдельных слов и групп лексики. В дальнейшем это должно способствовать предупреждению ошибок исследователей в смысле субъективного и порой неверного истолкования семантической истории слова. Сообщение нашло горячий отклик у участников конференции; развернулась живая дискуссия вокруг ряда проблем, над решением которых в данный момент работает авторский коллектив, в частности жанровая и хронологическая спецификация источников словаря, состав словника и т. п.

Обсуждаемые во время круглого стола вопросы были ориентированы на лексикографическое осмысление неоднородного, многомерного, сложного и нередко противоречивого языкового материала XIX в. и реализацию результатов исследований в академических и авторских словарях.

Таким образом, и проведенная дискуссия, и сама конференция дают прекрасный повод для дальнейшего научного осмысления грандиозного культурно-языкового наследия XIX в.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе» (Санкт-Петербург, 2011).

О.А. Старовойтова

Сведения об авторе:

Ольга Альбертовна Старовойтова
Институт лингвистических исследований РАН
ostarovo7@rambler.ru

Академическая школа-семинар для молодых ученых «Современная русская лексикография»

17–20 октября 2011 г. в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) состоялась очередная академическая школа-семинар для молодых ученых «Современная русская лексикография»[1]. У школы-семинара, проводимой с 2010 г., уже сложился прочный коллектив участников из Санкт-Петербурга, Вологды, Владимира, Орла, Волгограда. В 2011 г. к участию в школе-семинаре подключились коллеги из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Костромы.

Русская лексикография переживает сейчас пору расцвета: помимо публикации многотомных толковых, исторических, авторских, топонимических, диалектных и др. словарей, разрабатываются лексикографические проекты комплексного характера. На этом фоне понятен интерес молодых лингвистов к проблемам современной русской лексикографии. Академическая школа-семинар для молодых ученых «Современная русская лексикография», проводимая в стенах Института лингвистических исследований РАН, в этом отношении становится важной лингвистической лабораторией, в которой решаются насущные вопросы лексикографической обработки и лексикографического описания различных языковых единиц.

Первый день школы-семинара приветственным словом к участникам открыл заведующий Словарным отделом ИЛИ РАН С.А. Мызников, который выразил надежду на плодотворное сотрудничество молодых ученых в рамках заседаний каждого дня.

Вступительную часть школы-семинара составили лекции опытных лексикографов: С.А. Мызников (Санкт-Петербург) в своем выступлении «Из истории русской академической лексикографии» напомнил участникам об основных этапах истории становления и развития традиций отечественной лексикографии. Лекция Л.Л. Шестаковой (Москва) «Русская авторская лексикография: у истоков научного направления» была посвящена основным проблемам лексикографического изучения творчества отдельных авторов. М.Н. Приемышева (Санкт-Петербург) выступила с докладом «Я.К. Грот и русская лексикография XIX в.», рассказав о личности и научных трудах лексикографа XIX в. Я.К. Грота (1812–1893), 200-летие которого будет отмечаться в 2012 г. Доклад М.Н. Приемышевой

[1] Изданы материалы школы-семинара (*С.А. Мызников, О.Н. Крылова* (ред.). Современная русская лексикография. 2011. СПб., 2011). Материалы школы-семинара 2010 г. см.: *С.А. Мызников, О.Н. Крылова* (ред.). Современная русская лексикография. СПб., 2010.

сопровождался посещением словарной картотеки Я.К. Грота и А.А. Шахматова, связавшим теоретическую часть школы-семинара и последующие доклады молодых ученых.

Заседание первого дня школы-семинара было посвящено аспектам диалектной и ономастической лексикографии. Открывший заседание К.А. Гейн (Екатеринбург) представил «Проект микротопонимического словаря (на материале географических названий Бабаевского района Вологодской области)» и обсудил практические проблемы сбора и лексикографической обработки топонимии. Топонимии было посвящено также выступление Т.В. Горловой (Кострома) «Географическая терминология в СРНГ и микротопонимы Нерехты». А.Д. Назарова (Орел) рассмотрела наименования синего цвета в «Словаре орловских говоров». Один из составителей «Владимирского областного словаря» Е.М. Матсапаева (Владимир) сообщила о способах номинации птенцов в говорах Владимирской области. Доклад С.А. Ганичевой (Вологда) «Языковая картина мира севернорусского крестьянина: век XVIII и век XX» основан на сопоставлении материалов двух лексикографических источников: «Словаря областных слов, употребляемых в г. Устюге Великом», который был написан в 1757 г. и в 1898 г. опубликован в журнале «Живая старина», и «Словаря вологодских говоров» (1983–2007). Проблема функционирования идиолексикона была затронута в выступлении М.И. Абрамовой (Волгоград) «Семантика и функции существительных, обозначающих предметы посуды, в устной речи жителей станицы Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области». Разработке терминологического словаря был посвящен доклад А.А. Егоровой (Кострома) «Словарь ювелирного сленга как источник изучения народно-разговорной профессиональной речи: село Краснос-на-Волге».

На заседании второго дня школы-семинара обсуждались такие актуальные темы, как неография (Е.А. Жданова и М.В. Субботина (Нижний Новгород) «Функционирование и лексикографическая фиксация слов с актуальной семантикой (на материале новообразований с элементами *квази-*, *лже-*, *псевдо-*)»), авторская лексикография (А.С. Кулева (Москва) «Культурно-исторический комментарий в статьях “Словаря языка русской поэзии”: проблемы и решения»), лексикографическая разработка отдельных языковых единиц и прочие частные вопросы лексикографии: А.В. Валентей (Волгоград) «Особенности отражения в тексте словаря отношения к представителям инокультурной среды»; О.С. Ильина (Санкт-Петербург) «Лингвокультурные типажи “студент” и “профессор”: словарная реконструкция»; И.С. Маноцкова (Волгоград) «Лексика, обозначающая ценности, как одно из средств репрезентации русской языковой картины мира»; Н.А. Румянцева (Санкт-Петербург) «Античный компонент семантики в словах-астронимах и проблемы их восприятия»; Ю.А. Юсупова (Санкт-Петербург) «Слово *язык* в современной русской речи (по материалам Национального корпуса русского языка)».

На заключительном заседании школы-семинара обсуждались вопросы исторической и этимологической лексикографии: с докладами выступили Р.В. Гайдамашко (Санкт-Петербург) «Пермская диалектная лексикография как источник новых финно-угорских этимологий», К.И. Коваленко (Санкт-Петербург) «Азбуковники как источник современных исторических словарей», А.А. Малышев (Санкт-Петербург) «Восточная лексика в глоссах “Примечаний к Санкт-Петербургским Ведомостям” (1728–1742 гг.)», Е.А. Щеглова (Санкт-Петербург) «Качественные значения оттопонимических прилагательных во “Фрегате Паллада” И.А. Гончарова: проблема лексикографического описания».

Многие доклады вызвали оживленную дискуссию и поставили перед молодыми исследователями новые вопросы.

Р. В. Гайдамашко, А. А. Малышев

Сведения об авторах:

Роман Валентинович Гайдамашко
Институт лингвистических исследований РАН
gaidamashko@gmail.com

Александр Александрович Малышев
Институт лингвистических исследований РАН
argonawt@land.ru

CONTENTS

Elena A. Grišina (Moscow). Pointing by hand as a system (based on the Multimedia Russian corpus); Vladimir V. Glebkin (Moscow). Metaphor of mechanism and Lakoff and Johnson's conceptual metaphor theory; Dimka V. Savova (Sofia). Predicative structure of utterance in Bulgarian; Kirill V. Babaev (Moscow). A reconstruction of Gur personal pronouns; Irina A. Baxmutova (St. Petersburg). Linguistic and sociolinguistic traits of Standard German spoken by German Mennonites of Omsk province, Russia; **Reviews:** Natal'ja N. Zapol'skaja (Moscow). *E. Bláhová* (red.). Řecko-staroslověnský index. Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Praha: Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, 2008–2010; Marija A. Kosogorova (Moscow). *Ch. Seydou*. L'épopée peule de Boûbou Ardo Galo: Héros et rebelle. Paris: Éditions Karthala, 2010; **Conference reviews:** Žanna Ž. Varbot, Ljubov' V. Kurkina (Moscow). International symposium on etymology. Brno 2011. Theory and practice in Slavic diachronic linguistics; Ol'ga A. Starovojtova (St. Petersburg). IV All-Russian conference «Russian language of the 19th century: Role of personality in the language process»; Roman V. Gajdamaško, Aleksandr A. Malyšev (St. Petersburg). Academic workshop for young scientists «Contemporary Russian lexicography».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В № 5 журнала «Вопросы языкознания» за 2011 г. была опубликована статья «Стихосложение последних стихотворений И. Бродского», указанная как принадлежащая М.Л. Гаспарову. К сожалению, была допущена досадная ошибка: М.Л. Гаспаров является лишь переводчиком этой работы, а ее автор – известный британский славист Джеральд Смит. Статья поступила в редакцию из домашнего архива академика Гаспарова. В 2002 г. М.Л. Гаспаров и Т.В. Скулачева переводили и редактировали книгу Дж. Смита «Взгляд извне: Статьи о русской поэзии и поэтике». М.: Языки славянской культуры, 2002, где и была напечатана эта статья на с. 481–498.

Благодарим наших внимательных читателей, заметивших эту ошибку, и приносим свои извинения Джеральду Смиту.

Сдано в набор 24.02.2012 Подписано к печати 23.04.2012 Формат 70 × 100 1/16
Офсетная печать Усл. печ.л. 13,0 Усл.кр.-отт. 8,0 тыс. Уч.-изд.л. 15,5 Бум.л. 5.0
Тираж 605 экз. Зак. 171

Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука»,
117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон (495) 637-25-16
Оригинал-макет подготовлен АИЦ «Наука» РАН
Отпечатано в ППП «Типография "Наука"», 121099 Москва, Шубинский пер., 6